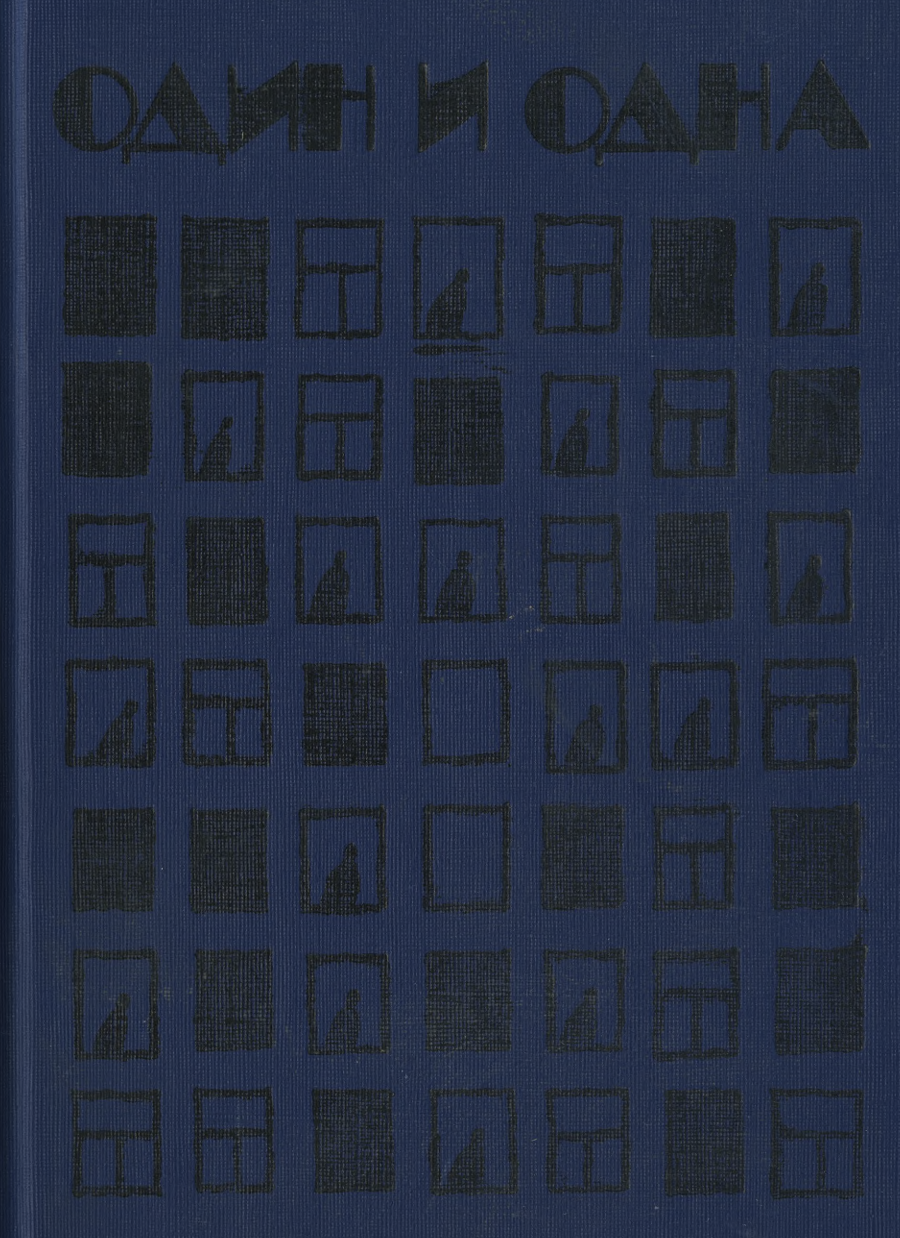
ВЛАДИМИР МАКАНИН

ОДИН И ОДНА



ОДИН И ОДНА
ВЛАДИМИР МАКАНИН

ВЛАДИМИР МАКАНИН



ОДИН И ОДНА

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1988

ББК 84Р7
М 15

М $\frac{4702010200—030}{М106(03)—88}$ 70—88

ISBN—5—270—00061—X

ББК 84Р7

ОДИН И ОДНА

Глава первая

Инженер Константин Даев совершенно случайно оказался в гаме и толчее большого вечера; происходило вроде бы нечто общественное — он не знал что. Веселились в огромном и размалеванном подвале жилого дома. Стоял ряд столиков. Но было не вполне ясно, почему веселый и разношерстный народец столь самозабвенно танцует среди скульптур и скульптурных групп (там и тут над танцующими парами возвышалась грандиозная голая женщина из гипса, то с корзиной цветов, то с веслом). Впрочем, люди — это люди, танцуют везде.

Молодая женщина внятно ответила ему:

— Нет.

Но ни слово, ни кислое выражение ее красивого лица его не смутили. Константину Даеву было уже тридцать пять лет, и он крепко стоял на земле. Суть изначальных отношений нехитра: надо только не уходить в сторону. Грубоватый и хорошо зарабатывающий старший инженер Даев не спешил. Да, он груб, но не пошл. Сейчас он ждал свою минуту и, предвкушая, уже отдыхал душой, тем более что увидел приближающуюся к молодой женщине ее подругу: не так красива, но тоже мила.

— Подруги? — спросил он, вбирая ее чуть потеплевшие глаза.

— Да...

— Но если подруги и меж собой ладите, неужели не выпьете шампанского? Вот так внезапно и с совершенно незнакомым молодым человеком? — лукаво, как ему казалось, спросил Даев. (При этом он хохотнул, и они вновь ответили: нет, не выпьем, но ответили уже проще и не столь категорично. Следовало, стало быть, еще выждать.)

Он пошел потолкаться среди народа. На столиках вино — это понятно, но нет ли где винной раздачи? Нет ли где-то укромного винного погребка, откуда и проистекает живительный ручей? Он миновал полуподвальную комнату, завешанную рисунками и белогипсовыми масками, затем другую комнату, уже без рисунков, затем тре-

тью, и четвертую, и пятую — подвал есть подвал, и комнаты могли тянуться бесконечно, но вот Даев приметил приземистый, широченный холодильник и рядом переминавшегося с ноги на ногу парня. Над ними (над холодильником и над парнем) возвышалась опять же скульптурная группа. Три гипсовые нагие женщины — богини? — стояли обнявшись, и каждая правой, свободной от объятия рукой выразительно показывала вниз, как на источник. Если дармовое вино вообще имелось, то оно где-то здесь. «Дай-ка пару бутылок!» — сказал парню Константин Даев, не отрывая глаз от богинь. Парень поколебался. Он окинул взглядом Даева без тени доброжелательности, придирчиво, если не сурово, но затем дал — лениво открыл холодильник и дал именно две бутылки.

Взяв вино, Даев возвращался к красавице — упускать ее надолго из виду не следовало. Женщины уже потанцевали и теперь просто стояли среди танцующих. Разливался вальс. Даев стоял рядом, зажимая две бутылки под мышками. Мелькнула мысль, что, не загляни он случайно в этот шумный подвал, он шел бы по городу в самый снегопад, когда снег на крышах и на карнизах, снег на шапках прохожих. Башни из бетона, фонари, махонькие старинные церкви — всё в снегу.

— Ну что, милые женщины, хорошо жить, когда тепло? — Константин Даев улыбнулся. И, словно бы прочитавшие его мысли про снег и про холод, они тоже наконец улыбнулись.

Он спросил их имена — они сказали.

Геннадий Павлович Голощеков также пришел незваным и почти случайно, однако он знал, куда пришел. Он неторопливо возвращался с работы, когда по правой стороне улицы на заснеженной стене дома разглядел несколько странное объявление, размалеванный плакат, оповещавший, что скульптор Н. (тот ли самый?) здесь, в подвале этого дома, «празднует премию и приглашает весь белый свет» — так вот было написано, броско и с вызовом, что напомнило вдруг Геннадию Павловичу времена молодости. (В те времена скульптор Н. был просто студентом Колькой, который громко шмыгал носом, воевал с преподавателями, а всем окружающим и вообще «всему белому свету» норовил сказать *нет!* С Геннадием Павловичем они друзьями не были, однако общались. И однажды попали вместе

в какую-то боевитую историю.) Сердце так откровенно зачастило, что Геннадий Павлович понял, что взволнован, досчитал до полста и только затем — уже неспешно шагая по заснеженной улице — решил, что можно будет, пожалуй, полюбопытствовать. Он, пожалуй, придет: он скромно придет, когда вечер будет в разгаре, дома же он предварительно поест, выпьет чаю и отдохнет час-полтора, и *можно даже не спешить*. Так попал он на необычную вечеринку, где хотелось взглянуть на людей своей молодости и где, увы, ничего ожидаемого он не увидел.

Народ оказался смешанный и заметно грубоватый, не их народ, Геннадий Павлович уже жалел, что пришел. Как он услышал из разговоров вокруг, Н. получил не только какие-то крупные деньги, но и, наконец-то, премию или даже сразу две премии, отчего и был в эйфории уже несколько кряду дней. Было шумно. Захмелевший, вероятно, еще с утра, Н. сидел от происходящего как бы в сторонке, в еле освещенном углу и всем подряд победоносно оттуда улыбался. Говорить он, кажется, не мог. Происходящим торжеством заправлял сегодня его брат, однако брат был значительно моложе скульптора, и потому публика, которую он зазвал и собрал, вполне соответствовала: мальчишки; двадцать пять — тридцать лет; слишком шумно играла их музыка, слишком танцевали; впрочем, был теплый приятный полумрак и горели фонарики там и тут над застольем.

К пьяненькому и счастливому Н. Геннадий Павлович подойти не решался — тот мог не узнать, не вспомнить. Пожалуй бы, он вспомнил, но, конечно, удивился бы, и даже бы шумно удивился, и даже бы, возможно, вскричал, сколько, мол, прошло лет и зим и где же Геннадий Павлович, то бишь Генка Голощеков, был все эти годы? Как где — *здесь же и был!*.. Именно от неизбежности вопросов Геннадий Павлович в последнюю минуту заколебался, идти ли сюда, и пришел заранее уж смущенный, притом придерживая за горлышко купленную бутылку вина, *чтоб не с пустыми руками*, хотя спиртное здесь, разумеется, лилось рекой. «Меня, собственно, не Н. волнует. Скульптор как скульптор. Кажется, он стал в искусстве обычным приспособленцем. Но он добр, это видно по лицу, это чувствуется, а я... я просто хочу посмотреть людей. Давно не видел»,— объяснял Геннадий Павлович самому себе, все еще волнуясь и нет-нет поправляя на горле душивший галстук.

Мастерская была огромна: большое отапливаемое помещение располагалось под восемью жилыми квартирами первого этажа. Люди званые и по большей части незваные (то есть те, кого званые попривели с собой), как ни много их было, разместились легко и свободно — комнаты отделялись лишь наполовину означенными переборками, так что, переходя из одного квартирного отсека в другой, в живописном пространстве подвала вполне можно было заблудиться. В лучших отсеках швы и трубы водоснабжения искусно декорировались, в прочих — колена труб были на виду, перед глазами меж двух рисунков (набросков) вдруг возникал кусок первозданного подвала, нагие бетонные плиты и крюки арматуры. Был и таз, в который мерно падали капли.

Геннадий Павлович, сросшийся с утонченным своим одиночеством, был теперь оглушен шумом людей и беспрестанным общим их движением: застолья по пять; восемь, десять человек были как бы разбросаны, рассредоточены и в то же время на глазах перемещались, перетекали одно в другое и были слишком живы в пространстве мертвенных бюстов и гипсовых выставленных скульптур. Возле скульптур, рассматривая их, Геннадий Павлович и простаивал. Как-никак в гостях. И как-никак искусство. И не просто же пить и есть зван всякий — не просто же так гипсовые торсы, возвышающиеся, сколько позволял подвал, подсвечивались снизу яркими лампами.

Конечно, приспособленность к вкусам публики была заметна как в групповых, так и в одиноких выставленных женских фигурах. Но напоминать о горячих спорах юности по истечении стольких лет не нужно, нельзя (можно лишь аккуратно). Предоставленный самому себе Геннадий Павлович шел от скульптуры к скульптуре и, увы, не приближался, а как бы все больше отдалялся, отчуждался от Н. Та минута ушла. Подойти же во всякую минуту и броситься этак в объятия, шумно поздравить Геннадий Павлович не умел. А спустя время и брат скульптора, с которым Геннадий Павлович, ища подхода, обменялся двумя-тремя словами и который хотел подвести к Н., оказался слишком занят людьми и распорядительской суетой. К тому же он (брат Н.) куда-то исчез. Так что вечер воспоминаний не удался, а отношения с человеком, еще не возникнув, свелись к нулю, наслаждайся, друг милый, шумным людским роем, повторял себе Геннадий Павлович, а люди вокруг и впрямь были шумны, пестры,

веселы и сравнительно с Геннадием Павловичем потрясающе молоды. Полумрак, несильное освещение отчасти скрадывали возраст, но Геннадий Павлович и в полумраке хорошо знал про свои пятьдесят с лишним лет, потому-то втиснуться в застолье и даже просто спросить, заговорить о чем-либо ему было трудно среди этих шумливых тридцатипятилетних, *практичных, хватких, они нам испортили песню,* они орали, кричали друг другу «эй, ты!», ссорились и бродили, покидая свое застолье, или, напротив, кричали и сбивались вдруг в группу. Теперь там и здесь хрипел магнитофон: слушали бардов.

Чтобы ублажить гостей уже сверх всякой меры, Н., счастливый от свалившихся на него премий и денег, пригласил, как оказалось, на торжество своих натурщиц, хотя, возможно, решилось это проще и шло не столько от загула и щедрости Н., сколько от желания самих натурщиц: хотелось погулять. Так или иначе пятнадцать не то десять милых и очаровательных, с артистической меланхолией в лице (и невероятно сбитых, крепких в нижней половине тела) молодых женщин развлекались сами и заодно развлекали других возле выставки работ, то есть в самой нарядной и прибранной части пространства мастерской. Они охотно танцевали; смеясь, вдвоем-втроем пили шампанское, а то вдруг и сами подходили к гостям, так что можно было видеть с кем-либо танцующей эту статную молодую женщину и вдруг угадать, узнать неподалеку на небольшом постаменте ее голову, ее замечательное тело, застывшее в гипсе. Нагие тела были вполне скромно и изящно сработаны, можно было без стеснения восхищаться, разглядывать и даже шумно угадывать — кто есть кто.

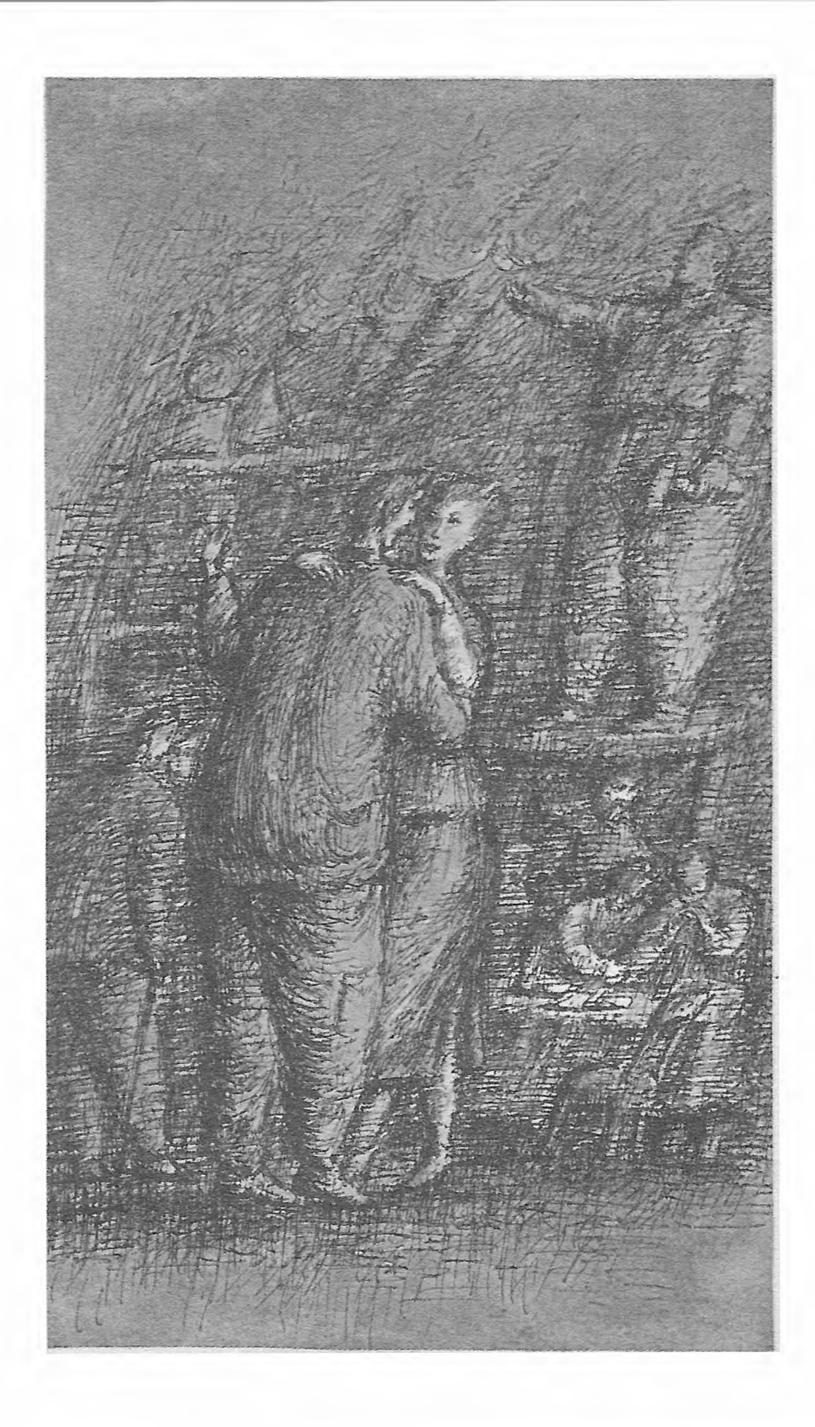
Одна из них пригласила Геннадия Павловича, возможно приметив его некоторую неприкаянность и повышенный интерес к скульптурным группам. Во время танца она же объяснила ему, почему люди, танцуя, поглядывают на ту или иную скульптуру. Он искренне удивился:

— А где вы?

Он так долго молчал, что слова у него вырвались; к тому же Геннадий Павлович смутился: не спросил ли он слишком поспешно или нечутко — но нет. Она очень спокойно ответила и еще более спокойно и, кажется, не без удовольствия показала глазами:

— Вон там...

Танцуя, они приблизились. И тут она извинилась,



засмеявшись, и сказала, что ошиблась,— да, да, скульптуры переставили. Вероятно, вчера. И почти тут же сказала уже точно, определенно:

— Вот я... Руки подняла к голове — видите?

— Ах! — сказал с восхищением Геннадий Павлович, на что она опять удовлетворенно засмеялась. Вечер тем временем набирал обороты; всюду наново слаживались компании, люди танцевали, шумели, сталкивались в своих интересах и затем вновь сосредоточивались вокруг столиков и бутылок. После столь замечательного танца с молодой женщиной Геннадий Павлович вновь был один. Он уже остыл. Он почувствовал, что утомился, устал: толпа придавила. «Что ни говори, возраст за пятьдесят,— думал он.— Редко выхожу на люди, холостячество, конечно, тоже наложило печать, *что наше, то наше*».

Мельком он еще раз увидел пьяненького, счастливого премиями Н. и подумал, как развела судьба: он не завидовал Н., но, впрочем, и не жалел его, так сильно полинявшего. Каждому свое. В известной мере Геннадий Павлович был вполне горд долей, какую имел; и если вокруг него не было сейчас торжества и шумных на торжестве людей, то это также входило в долю. Вокруг Н. не было ведь истинно дружеской компании, весь мир был ему компания, когда скульптор целовался с подходящими к нему справа, слева и не узнаваемыми им людьми; целовался, а слова сказать не мог. Теперь Н. и вовсе сидел один (был неподвижен, был и сам в огромной своей мастерской как застывший в гипсе). С полузакрытыми глазами, он, по сути, уже давно отключился от происходящего веселья. Давно сидел в одиночестве. Кругом яростно плясали. Н. что-то, впрочем, шептал... разобрать было нельзя, но, подойдя ближе, можно было считать с его тихо шлепающих губ негромко повторяемое шуршащее одно слово:

— Счастье... Счастье... Счастье... Счастье...

Скользя взглядом по возбужденным чужим лицам, Геннадий Павлович нет-нет и невольно отыскивал глазами натурщицу, которая так великодушно пригласила его потанцевать, а затем, мило попрощавшись, ушла к подруге. Она и сейчас стояла с подругой, с очень красивой натурщицей, а от той уже не отходил ни на шаг и все словно что-то доказывал крепкий, напористый мужчина лет тридцати

пяти. Угадать его было несложно: таких мужчин Геннадий Павлович привычно сторонился, не любил их, хотя и не мог отказать им в столь замечательных современных качествах, как неослабевающий напор и натиск. И называли его эти молодые женщины вполне под стать — Константином. Они стояли недалеко. Когда Геннадий Павлович сделал шаг (шажок) в их сторону, но, в сущности, остался на месте, а затем вроде как вновь шагнул к ним и вновь не сдвинулся, натурщица, с которой он танцевал, улыбнулась. В конце концов толчки танцующих пар и шастающих туда-сюда молодых людей, да, да, шумные людские потоки как бы общей своей волей и силой притолкали, прибили Геннадия Павловича к ней, и он, конечно, тоже ей улыбнулся: мол, это опять я; тогда она дружески кивнула, а Константин, перехвативший их взгляды и изо всех сил добивавшийся внимания ее красивой подруги, закричал крепким своим голосом:

— Ну вот, наконец-то нас четверо!

Ему, хищному, было сейчас важно как-то скрепить группу, придать ей устойчивость, тем самым ограничивая возможности других мужчин, таких же (возможно) хищных, как он сам. Геннадия Павловича, едва глянув, он счел человеком подходящим: старомодным, но представительным и интеллигентным, разговор поддержать умеющим, что было сейчас более или менее главным. Вчетвером и правда они как-то обособились.

Натурщицы шушукались о своем, смеялись, а Константин, придвинувшись к Геннадию Павловичу, вел мужской разговор: нас двое и их двое — кажется, все ясно? но какие красавицы, а? и ведь молодые — сейчас же позвоню своему приятелю, нет ли на сегодня свободного жилья!.. Он так пылал, так рвался в бой, что Геннадий Павлович колебался *да* и колебался *нет* — и так получилось, что, пересилив холостяцкую привычку никого в дом не пускать, Геннадий Павлович сказал о пустующей своей квартире. (От неожиданности всего этого шума, танцев и от нечаянности знакомства Геннадий Павлович как бы проговорился.) На что Константин Даев — да зови меня просто Костей! — уже через две секунды повторял, хлопая его по плечу:

— Квартира?! Да ты же клад! да ты же бесценный на нынешний вечер человек! да ты просто брильянт неграненый!..

Пятидесятилетнему с лишним человеку он (разумеется,

шутейно) говорил «ты», хлопал по плечу, пошло его поощрял, хамил, впрочем, все это предполагалось в подобном типе мужчины, так что Геннадий Павлович даже и знал их, *следующих за нами*. И грубый Даев, и простецки-милые молодые натурщицы, и этот вечер, и шумная музыка вели сами собой Геннадия Павловича к некоему узнаванию, к знанию, которое он уже преотлично знал. Быть может, шумный людской рой хотел показать (подсказать?) ему что-то новое? Но не было и не могло быть нового в Даеве, как не было и в нем, в Геннадии Павловиче, никакой новизны для этих нынешних, для мужчин и для женщин. Он видел — а они не скрывали. Толпа разбудила, но осталась толпой. (Что касается милой натурщицы, Геннадий Павлович даже и не протягивал ей свою опознавательную полурыбку: чужие.) Так что ни замысла, ни более или менее направленного его желания тут не было — случайность, просто случай. И, едва пригласив в свою квартиру, Геннадий Павлович уже вперед жалел о потерянном времени, к тому же прикидывал и не без некоторой паники соображал — чисто ли у него в доме, на их женский взгляд, опрятно ли, и (что наше, то наше) совсем уж по-холостяцки жался и в душе слегка скрипел, не исчезнут ли, мол, некоторые книги после их посещения; люди как люди.

Очень смешно и грубовато (зазывно) этот человек повторял молодым натурщицам:

— Зовите меня просто — *Кин-стин-тин*...

Он как бы воочию создал собой и своей энергией черту (границу) и отстранял за эту черту всех других, познакомившихся прежде него и теперь также пробовавших подойти или хотя бы пробиться к красивой, облюбованной им женщине. (Он стремительно оглядывался и хрипло вдруг шептал, придвинувшись совсем близко: «Мужик, уйди. Мужик, прости, но тут все забито!» — он и доверительно шептал, и в то же время с чувством своей правой хамской силы хрипел прямо ему в лицо, пока «мужик» не отходил в сторону.) На выходе, в толчее Даев также не позволил никому к ним прибиться, ни им самим раствориться в какой-либо большей компании: нас четверо, мы сами вполне компания, и, заметьте, плотная компания — нет уж, лишних не надо! Не обижай, мужик, нашего Геннадия Павловича! Четверо,

только четверо! — отбивался он от наседавших. Быстрый и на улице, Даев уверенно взял, перехватил такси, усадил всех в машину, и они поехали к Геннадию Павловичу. Тем бы все и кончилось. Однако молодые женщины были и просты, и не так уж просты, у них, как выяснилось, были свои планы (и своя жизнь). Завидев большую красную букву метрополитена, они вдруг разом отрезвели, ожили после столь бурного натиска и закричали таксисту в уши с двух сторон: стой! стой! — не ожидавший, тот затормозил, и они вмиг выскочили, выскользнули из цепких объятий Даева, так как машина стала как вкопанная и как раз у метро.

Мужчины вышли тоже; машина уехала; шел несильный снег. Даев, разумеется, и у метро вновь принялся их уламывать, и даже грустный Геннадий Павлович, смущенно следивший за всей этой современной операцией обольщения, тоже отчасти вдруг возбудился и тоже сказал несколько слов «своей» натурщице, приглашая в гости. Он приглашал, касался ее плеча — она не была красавицей, но была очень-очень мила. «Нет, нет. Невозможно»,— улыбались они. Даев зазывал, уговаривал, шептал и даже что-то откровенно сулил, но женщины, кутаясь в шубки, отказались уже определенно и наотрез. Они были натурщицы, у них были (или могли быть) утренние планы на завтра, да, да, на завтра, и, возможно, они берегли себя и свои тела не менее, чем пианисты, скажем, берегут пальцы и певцы горло.

Даев в разговоре затягивал теперь время, чтобы, увлекшиеся, они не попали в метро, но и этим их было не провести. Та, что красивая, чутко спохватилась и посмотрела на часики, после чего женщины ушли, нырнули в зев метро, а еще через минуту метрополитен закрыл свои двери. Так что гости Геннадия Павловича сами собой отпали, вечер опустел. Но в воздухе остаточно все еще клубилось обаяние этого Даева, который в последние минуты весь искрился и отпускал (вероятно, характерные для нынешних дней) гротескные сексуально-двусмысленные шутки, столь наперченные, что обе молодые женщины хохотали неудержимо, а менее красивая, что как бы предназначалась Геннадию Павловичу, даже и сгибалась от смеха, хватаясь за живот. Казалось, они забыли все на свете. Казалось, сама мужская природа в полушаге от метро звала их и зазывала. И та, что красивая, возможно, совсем случайно глянула на свои крошечные ча-

сики, минутой-полторы глянь она позже, и на метро бы им домой к себе уже не добраться, а так как жили они обе достаточно далеко, денег на такси у них могло не быть. Или поскупились бы. Минута-полторы — и они бы, конечно, пошли скоротать ночь у Геннадия Павловича дома — объяснял Даев.

Но Геннадий Павлович, которому в последние минуты почему-то делалось все больше жаль молодых и красивых женщин, был теперь, пожалуй, даже доволен. Падал неслышный снег; у входа в метро сидела сытая кошка, на кошку тоже падал этот мягкий снег, а за стеклами станции маячила поздняя уборщица в оранжевой фуфайке и со шваброй в руках. Было ощущение тихо опускающейся ночи.

У Геннадия Павловича дома Константин Даев выпил рюмку водки и, уходя, все еще негодовал; можно было подумать, что милые молоденькие натурщицы своей сдержанностью наплевали ему в самую душу.

— Да полно тебе,— успокаивал Геннадий Павлович, когда они после рюмки водки перешли на «ты».— Да полно!.. В конце концов, у них есть право на выбор: они интересные женщины, они обе совсем молодые — чем же они виноваты?!

Даев перебил: мол, женщины как женщины, мне, мол, *она* нравится; а на права интересных женщин или на права женщин неинтересных, как и на все прочие словеса, я плевать хочу!..

И ушел.

И уже на следующий день вечером Даев привез свою красавицу в дом к Геннадию Павловичу, сумев-таки и отыскать ее после работы, и каким-то образом встретиться, и уговорить. Дело было решенное, понятное. Для Геннадия Павловича, однако, оно оказалось непредвиденным и явно неожиданным, так как Даев, что называется, нагрянул часов в десять вечера; он вошел с красавицей в прихожую и, отряхивая с ее шубки снег, мигнул Геннадию Павловичу именно как о деле понятном, хотя они вовсе ни о чем не уславливались, после чего прошел с своей милой прямиком в дальнюю комнату. Геннадий Павлович так и остался стоять меж прихожей и кухней, пребывая в растерянности. Затем он отправился все же на кухню, поставил на огонь чайник и что-то приискал к позднему ужину, а те двое, не выходя, продолжали быть в его дальней комнате; дверь они закрыли. Геннадий Павлович неторопливо пил чай.

Через какое-то совсем немалое время Даев вышел: он был в халате Геннадия Павловича, он прошагал к нему на кухню, где и сказал:

— Не суетись.

— Но к столу что-то положено, хотя бы сыр, масло, чай.

Даев махнул рукой:

— Кому нужен твой чай!.. Ты, главное, не волнуйся, женщин у нас будет сколько хочешь — понял?

И вкусно закурил сигарету.

Они ушли часа в три ночи — в первом часу они ненадолго выбрались из комнаты на кухню, выпили водки, выпили и по чашечке чаю, красивая натурщица смущенно улыбалась Геннадию Павловичу, говорила очень мало и скромно; теперь было видно, что она совсем молодая. А Даев то посмеивался, то изображал друга, недавнего, но искреннего друга Геннадия Павловича, который озабочен тем, что у Геннадия Павловича есть квартира и есть много книг, но нет женщины, нет личной жизни. Он делался значителен, серьезен. (Это было забавно.) Он вдруг расспрашивал о жизни. Или же громко и даже требовательно спрашивал у своей красивой подружки, как там та, вторая натурщица, с которой танцевал Геннадий Павлович, где, мол, она и как — и что у нее за характер? А едва красавица стала объяснять, что та жива-здорова, что завтра она работает, а послезавтра выходная, как Даев вновь перебил: «Ничего, ничего — мы ему подыщем настоящую женщину. Не робей, не робей, *дедуня*!..»

Когда они уходили, этот хамоватый Даев еще и потрепал Геннадия Павловича по плечу:

— Я же вижу, дедуня, что ты мхом порос... Не беда, что-нибудь придумаем!

Они уехали.

А Геннадий Павлович, засыпая, думал так и думал этак: мысль, истончаясь, становилась уже сном и во сне снова мыслью. Грубый Даев даже в минутные приятели не годился, однако вот выставить его Геннадий Павлович почему-то не спешил, и, может быть, ему, Геннадию Павловичу, уже доставляло известное удовольствие убедиться, что во внешнем мире перемен нет и что Даев, случайно выхваченный из потока улицы, по-прежнему банален и ничтожен, как сама улица. Даев случаен, но и не случаен. И быть может,— это уж во сне, за гра-

ницей сна и совсем уж на краешке сознания подползла та притихшая мысль, что Даев с его деловитостью и суетностью поможет и впрямь найти некую милую женщину, почему же нет? — все вместе складывалось в ощущение, в котором засыпающий Геннадий Павлович чувствовал себя щедрым, гостеприимным и объяснял кому-то и как бы даже разводил во сне руками, говоря:

— Да пусть. Пусть приходят...

Они пришли и на другой день. И на третий. И только на четвертый день красивая натурщица Даеву уже словно бы надоела: возможно, она и правда капризничала, подчеркнуто хотела ухаживания, но возможно, что и заранее отношения не предполагались более чем на три дня, если они вообще как-то предполагались; так или иначе на четвертый день Даев был уже недоволен, цеплялся к словам и устроил ей сцену за десятиминутное опоздание. Геннадий Павлович только-только хотел удивиться их скорому началу романа, как уж роман кончился, и теперь надо было уже удивляться его скорому концу.

Что там ни говори, их приходы и их встречи Геннадия Павловича заботили; уходя среди ночи, эти двое ночь разбивали, он вставал, зевая, пил с ними вновь горячего чая, закрывал за ними дверь — и засыпал наново. Но сны были хорошие. Да и реальность, казалось, допускала более или менее интересные перемены — Даев груб, но не лишен ума, и можно его обтесать, привив любовь если не к книгам, то к разговорам о книгах. Почему же нет? Квартира, общение и даже род дружбы, когда после работы двое мужчин встречаются потолковать и обсудить вместе день-деньской. Пересказы книг — это своего рода магия, превращающая приятеля в ученика: они пьют чаек, покуривают, умничают, после чего Костя Даев, наслушавшийся рассказов о жизни одиноких философов, говорит: а не поразвлечься ли, мол, нам немного? — и, пристроив телефон на коленях, звонит бесчисленным своим подругам.

(Но тут уж Геннадий Павлович не попустительствует и устраивает строгий отбор: пусть Костя Даев звонит, но пусть Костя Даев знает, что в дом приглашаются достойные женщины, и отношения с ними должны быть интеллигентны. Здесь вовсе не квартира для свиданий. Женщины, со своей стороны, с удовольствием облагораживают и отношения, и быт, если не отнимать у них этой ясной

роли. Такие, как Даев, пусть знают.) Со временем одна из женщин, возможно, влюбится в Геннадия Павловича: возраст — это возраст, конечно, но зато Геннадий Павлович из тех, кто не подведет. «Так приятно опереться на кого-то в жизни!» — скажет однажды женщина и, возможно, привяжется к нему. И вот уж встречи их почти необходимость, она в нем, и он в ней — они открывают один в другом некую тайну, и вот чудак Костя Даев немного даже ревнует: неужели, мол, любовь?..

Грубоватый друг, он хлопает Геннадия Павловича по плечу — и говорит сурово:

— Геннадий Павлович, помни: женщина — только женщина, а дружба — это дружба...

На этом вот изысканном сравнении огромности дружбы и огромности любви, на необходимости, быть может, сделать из этих чувств выбор Геннадий Павлович Голощеков, человек одинокий, ни дружбы, ни любви не имеющий, сладко засыпал. Человек умный, он знал и эфемерность, и даже пародийность этих картинок. Но такова жизнь. Он успевал и посмеяться над собой, и даже отметить, что сейчас он именно грезит, играет в раскрашенные картинки, однако расслаблялся еще более и картинки себе позволял, потому что приятно же заснуть сладко.

Красивая молодая женщина надоедала Даеву все заметнее, Даев раздражался, и не прошло недели, как он, по мнению Геннадия Павловича, уже ужасно с ней разговаривал. И в отношении к самому Геннадию Павловичу, у которого в доме они с красавицей, попросту говоря, спали, он все более оказывался хамом. Даев в тот вечер ждал какого-то звонка и курил одну за одной. Когда Геннадий Павлович, прикупив продукты к выходным дням и поставив варить мясо, между прочим сказал, что мясо попалось хорошее, мяса много и что пригласить на воскресенье каких-нибудь гостей и впрямь будет не стыдно, Даев вдруг грубо спросил:

— Чего это ты разволновался?

И фыркнул:

— Может, воскресенья никакого не будет — не суетись!

И действительно, в субботу все кончилось.

Они исчезли. И больше не появлялись.

Какое-то время Геннадий Павлович в инерции одиночества все еще продолжал размышлять о несостоявшихся разговорах с Даевым, а также о том, возможны ли своеобразные отношения, где он передал бы мысли,

накопленные за многие годы, и увлек высоким знанием, ну хотя бы отчасти, этого ужасного прагматика. Тут была возможность подумать общо. (Разумеется, в параллель Геннадий Павлович ясно понимал, что некий современный проходимец, животное, которому негде было затеять похотливый романчик, использовал его жилье, ел, пил и исчез вместе с женщиной, притом что женщину эту, красивую и молоденькую, он тут же и бросил. *Куда* бегут эти даевы, куда они так спешат и так торопятся? — задавался он вопросами.) Затем размышления сошли мало-помалу на нет. Итог был взаимен. Разумеется, Даев считал, что он надул пятидесятилетнего лопуха, попользовался его жильем и в нужный миг исчез, но он не все знал и, в частности, оказался не в силах постичь заурядным своим умом, что и исчезнув он все равно вполне *обнаружился*, каждому свое, Геннадий Павлович не только его увидел — и ведь на первой же глубине отношений уже нет меж людьми вопроса и нет проблемы, кто кого надул, не об обмане же речь, и неужели столь простенькую вещь эти даевы так и не умеют, так и не успевают узнать?

Одинокие и размеренные дни вновь сомкнулись вокруг Геннадия Павловича, как смыкается вода. Жизнь идет. Геннадий Павлович привычно ходит на службу, а вечерами перед сном, как всегда, много читает. Он один, он сам по себе.

Нинель Николаевна шла с работы, когда у светофора, заканчивая переход улицы, нос к носу столкнулась с рыжеволосым мужчиной, который оказался ее бывшим однокурсником по институту. Разговорились — и бывший однокурсник (им уже за сорок!) пригласил ее заглянуть на полчаса, что ли, к нему домой: он живет рядом. Жена его также оказалась приветливой женщиной, была гостье рада и как раз наварила айвового варенья,— показывала выставленные, чтобы остыть, банку за банкой, а рыжеволосый однокурсник в тон ей прихвастывал: «Смотри, Нина, как потемнело варенье! Хороший признак: в айве окисляющегося железа больше, чем в яблоке!» Пили чай, болтали, свежесваренная айва была и точно вкусна, и так у них в доме было хорошо, уютно, что когда три дня спустя в скверном настроении, после стычки с начальником, она шла по этой же улице, ноги сами собой привели Нинель Николаевну в их дом.

Начотдела ее распекал (он это умеет), но она только бледнела, менялась в лице. Было душно, жарко. Да, Нинель Николаевна достойно промолчала и достойно же вернулась на свое место. Она спокойно убрала в стол бумаги и калькулятор, спокойно взяла сумочку, спокойно ушла, и лишь на улице ее стали душить слезы. И голова кружилась. Нинель Николаевна старалась себя отвлечь и думать о хорошей погоде, сейчас же в отпуск, в отпуск — лето всегда лето, и можно же, в конце концов, отпроситься пораньше!.. Она увидела (слева, за светофором) тот самый дом, где была три дня назад. Она, кажется, не раздумывала. А едва войдя, все-таки заплакала, уткнувшись в плечо рыжеволосого мужчины, бывшего своего однокурсника; он уложил ее на тахту, дал капель валерьянки, открыл окно, впуская больше воздуха. Он даже и разговор медлительный завел, а затем, помогая ей расстегнуть ворот блузки, когда она и впрямь стала было успокаиваться, набросился на нее нетерпеливо и алчно, как может наброситься торопящийся сорокалетний с лишним мужчина на женщину своего возраста. Они были одни в квартире, жены, разумеется, не было. Нинель Николаевна, слава богу, ударила его по лицу, еще ударила и, кажется, закричала, и даже когда она уже уходила, красная полоса так и горела на его физиономии. Боже мой! что же за люди такие?! Она сдержанна и строга. Она ведь чистюля. Неужели в ее поведении появилось с возрастом что-то такое, что дает возможность мужчине пытаться и даже надеяться на легкий успех? Или мнимая доступность проглянула в ее общем упрощенно-конторском облике? — блузка, юбка, туфли, прическа. Витрина отражала: по асфальту одновременно с Нинелью Николаевной шла женщина с ее лицом. И тут ее кольнуло: да почему же она думает про покрой юбки, про цвета одежды, почему именно эти ее мысли — первые?

В последний день Даев уже вовсю ему хамил, беспрерывно пил и каждые пять минут заводил речь о некоем своем замечательном приятеле с Алтая Олжусе, *друге истинном, а не на время*, вероятно стараясь таким разговором лишний раз щелкануть одинокого Геннадия Павловича с его книгами и умничаньем. Дружба — свята. В дружбе суть и соль. А, мол, умникам жизнь не дается и никогда не дастся, в этом ее, жизни, великая спра-

ведливость. Но еще свирепее Даев одергивал и ставил на место красивую натурщицу, с которой он к этому дню совсем не считался.

— Что вы, *жалкие*, понимаете!.. Он с поезда, его надо по-людски встретить и по-людски устроить на ночлег! — говорил он об алтайском приятеле.

— Зима,— поддакивал Геннадий Павлович.

Красавица обиженно молчала.

Квартира сделалась сильно прокурена; на столе стояли неубранные тарелки, хлеб и ссохшийся сыр. Стояли и бутылки, над которыми почти зримо витали алкогольные пары. Свою красивую молодую женщину, а также Геннадия Павловича гуляющий Даев чуть ли не силой заставлял пить, закусывать, снова пить, и потому ситуация в психологическом плане существенно не менялась: Геннадий Павлович в приятной расслабленности был сам по себе, а Даев и его молодая женщина продолжали выяснять свои отношения. (Геннадий Павлович обычно не пил или пил совсем мало, но тут, зная, что не сегодня завтра все это кончится, он себе как-то позволил и впервые за много лет пребывал в бездумном и довольно приятном гармоничном состоянии. Да, да, он совсем не думал! Голова с непривычки побаливала, но легкая боль казалась делом пустячным и, в сущности, совсем небольшой платой.)

— Не могу,— говорила молодая женщина.

Но Даев повелевал:

— Ладно, ладно, по одной еще стопке — и помчимся! Говорю же, по стопке — и помчимся на волю! Пей!..

И наливал Геннадию Павловичу:

— Пей!

И чокался с ними, на них не глядя.

Геннадий Павлович опрокидывал стопку, а затем, отчасти удивляясь самому себе, соглашался — да, да, это разумно, *это очень разумно*, выпить и куда-то пойти, поехать. Воздух — это прекрасно. Зима — это чудесно. Но эти двое (молодые!) все только спорили, и у Геннадия Павловича возникало желание пойти, может быть, одному, просто пойти одному погулять — подышать снегом.

Вдруг — и все трое они оказались уже в такси, притом что такси мчало и красивая молодая женщина очень торопила водителя. Да, да, надо ей помочь добраться!

надо поскорее! — говорил Геннадий Павлович сочувственно, так как она не просто куда-то торопилась, но опаздывала и по этой причине, вероятно, все время всхлипывала. Геннадий Павлович слушал ее, сопереживал, но вдруг переставал что-либо слышать, только смотрел на проносящиеся мимо дома — мозг был приятно затуманен. Он помнит, что за окном машины летел косой снег, что рядом сидела молодая женщина, всхлипывала и просила водителя — я, мол, тороплюсь, скорее...

— Успеется,— отвечал ей Даев. (Он сидел впереди, с водителем.)

— Меня ждут, меня очень ждут.

— Я тебя тоже вчера ждал.

Такси не то чтобы не спешило — нет, таксист поспешал, однако он часто останавливался, так как Даев то на одной, то на другой улице внезапно выходил, чтобы, как он говорил, вернуть небольшой денежный должок. Вновь они остановились. И вновь он шел отдать давний денежный долг — именно сегодня у Константина Даева были деньги и был, так сказать, день чести — день оплаты. «Рассчитываюсь со всеми в один день. Иначе когда я еще соберусь — верно?!» — и Константин Даев левой рукой хлопал по плечу таксиста, что таксисту совсем не нравилось. Но таксисту тоже было уже заплачено много и вперед, и он только криво улыбался, когда его хлопали.

Молодая женщина сидела, вжавшись в сиденье; всхлипывая, она говорила Даеву какие-то малопонятные слова, а то вдруг жаловалась Геннадию Павловичу, который от выпитого вина был совсем притихший, или таксисту, который и вовсе молчал. Впрочем, Геннадий Павлович ее утешал, нет-нет и повторяя, что *все будет хорошо*. А Даев продолжал возвращать свои долги или втискивался с разбега в заснеженную телефонную будку на углу, узнавая, намного ли опаздывает скорый из Читы с его алтайским другом Олжусом,— затем такси мчало по улицам; затем вновь стояли. Молодая женщина порывалась уйти — один раз она даже выскочила из машины и, оглядываясь вверх и вниз по улице, замахала рукой, однако другого такси так сразу не нашлось, к тому же она забыла сумочку, а когда вернулась и быстро взяла лежавшую на сиденье возле Геннадия Павловича черную сумочку, уже успел появиться из подъезда дома Даев. Он вновь усадил красивую натурщицу в машину.

Он упрекал:

— Торопишься?.. А знаешь ли, сколько я ждал тебя вчера — сколько я на тебя вчера времени потратил!

— Но поверь же, Костя, я не могу, не имею права так много опаздывать: мне это тяжело!..

— Мне тоже не всегда легко.

Придавленный хмелем и укачанный однообразием движения, Геннадий Павлович задремал. (Мелькали огни, проносились встречные машины — за окном тот же косой снежок.)

Когда он проснулся, такси мчало по каким-то совсем новым улицам, а красивая молодая женщина по-прежнему просила Даева наконец поторопиться — да пойми же, Костя, вечер, муж уже пришел от мамы, он нервничает...

— Немного подождет,— отвечал Даев, закуривая.

Их утомительному взаимному расспросу, казалось, не будет конца.

— А почему не подошла к телефону?

— Меня в отделе не было. Я выходила в магазин.

— Но я же позвонил и расспросил, я же не болван: с работы вас никого ни на одну минуту не отпускали.

— А я отпросилась!.. Я говорю правду, правду!

— Правду говорят только старики и старухи.

Она заплакала.

Геннадий Павлович вдруг переполнился к ней состраданием; проснувшийся, он стал было вмешиваться в их разговор и что-то советовать, но Даев, к ним вполоборота, с переднего сиденья двинул его неприметно кулаком в бок, притом двинул сильно, так что Геннадий Павлович ойкнул и смолк. Он только гладил молодую женщину по голове, утешая: мол, не плачь, не надо... Он мало понимал их — что Даев, что его подруга, то крикливая, то плачущая, казались ему совсем чуждыми людьми, лишенными в своих отношениях некоей изначальной доброты. Они словно бы давно сбились с пути; помочь в этом им было, вероятно, невозможно, поздно, а оттенки конкретной их ссоры были, конечно, слишком личны, почти не улавливались и проносились стремительно, как вода на перекате быстрой реки.

— Я должна, Костя, вернуться скорее — мой муж очень нервничает...

— Я вчера тоже нервничал.

Таксист молчал.

Геннадию Павловичу было нехорошо, и он уже корил

себя тем, что ведь все или почти все знал наперед и ведь уже сколько лет не хотел, сторонился, берегся, а все же угодил в этот чужой и жесткий мир отношений.

Когда подъезжали к дому, молодая женщина попросила: я здесь выйду, не надо подъезжать ближе.

Даев, однако, сказал:

— Вон к тому подъезду.

— Не надо,— она взмолилась.— Он же из окна смотрит: ждет. Ты человек или не человек? Ведь спрашивать сейчас станет — тебе меня не жалко?.. Ведь он ждет и глядит в окно.

— К подъезду езжай,— велел Даев.

— Я пойду пешком! Остановите. Я сама... Прошу...

Даев рявкнул таксисту:

— Прямо к подъезду — иначе все деньги назад!

Таксист подъехал к подъезду.

Молодая женщина вышла из машины и бочком-бочком, словно бы гнущаяся, как побитая, засеменила домой. На снегу она поскальзывалась.

Геннадию Павловичу стало невыносимо тягостно, затем ему стало грустно, а затем его мало-помалу укачало, и он опять задремал. В конце концов, Геннадий Павлович знал, с кем общается и с кем он вступил, хотя бы и на время, в человеческий контакт, так что если Даев очень скоро стал звать Геннадия Павловича полуиздевательски дедушкой, дедуней, то ведь и Геннадий Павлович считал и звал его за глаза — хамом. Отношения оценочны. (Что касается прекраснодушного желания Геннадия Павловича искренно с ним поделиться, отдать, передать и возникшего заодно ощущения, что стал-де томить накопленный багаж знаний, то и томление интеллектуальным багажом, и желание передать, поделиться, как ни благородны они по перводвижению, в сущности, отдают старением и возрастным распадом. Природа педагогики довольно понятна. Мы живем жизнь, а жизнь *живет нас.*) «Все книги да книги,— говорил, усмехаясь, хорошо зарабатывающий инженер Константин Даев, если только меж двумя рюмками у него находилось время взять с полки книгу, полистать ее и усмехнуться.— Тебе, дедуня, следует непрерывно о женщинах думать!.. Тебе уж внуков пора иметь, а ты все еще не умеешь знакомиться с женщиной в ресторане — ну, ничего, ничего, я займусь пробелами твоего высшего образования!» И смеялся: «Я таких тебе милочек поприведу...» — и обаятельно, хитро улы-

бался, отлично зная, что он здесь всего на пять-шесть дней и что никаких милочек он сюда не приведет, *то-то дедуня расстроится;* с какой стати он, Константин Даев, потащится еще раз в эту пыльную книжную нору, так уж случилось с красивой натурщицей, но ведь надо ж было где-то приткнуться, и притом сразу, иначе навсегда упустишь, таких, как она, надо брать сразу и без отлагательств, *хотя бы на крыле самолета.* Да ведь и эти мысли Даева, прагматичные и пошлые, Геннадий Павлович читал легко!

А кажется, опять тормозим, куда-то приехали...

Полудремавший Геннадий Павлович очнулся среди вспыхнувшего света и цветных огней Казанского вокзала; в толчее машин на привокзальной площади было шумно, людно, суетно, но вот в их такси втиснулся толстый, в эффектном малахае Олжус — и вновь они покатили по городу, закупив предварительно в магазине много пива.

Сначала машина долго и без всякого смысла кружила по Садовому, колесила кольцо, так как Даев и алтаец Олжус предавались воспоминаниям: оба радостно вспоминали некие былые денечки и говорили о дружбе. Пили из горлышка. Олжус замечательно открывал пиво зубами, открывал со скоростью невероятной, он как бы откусывал пробки, для себя — раз, для Даева — два, после чего оба хохотали, глухо чокались бутылками, а глоток за глотком пиво прикончив, дружно выбрасывали пустые бутылки за окно машины.

Геннадий Павлович интеллигентно осведомился:

— Простите — мне кажется, вы испортите себе зубы?

— У меня стальные.

Геннадий Павлович подумал было, что говорится о зубах в переносном смысле, как, скажем, говорится о железном здоровье, но в эту самую минуту алтаец надвинулся, приблизил лицо и, дыхнув пивным духом, обнажил сплошную сталь:

— Красиво?

Свернув с Садового, машина устремлялась теперь по улицам то к одной, то к другой группе домов: Константин Даев вновь заезжал к своим многочисленным знакомым, но на этот раз заезжал он к знакомым исключительно женского пола и с новой заботой — поселить, устроить. Поднимаясь вместе с Олжусом в ту или иную квартиру, Даев показывал его и аттестовал как прекрасного будущего жильца, называл сумму, однако раз за разом

неизменно получал отказ. Что делать: жизнь подчас непонятна. Никто из его знакомиц поселить на время его лучшего, близкого, ближайшего друга не желал, притом что некоторые удивлялись, даже и оскорблялись: с чего это он, Костя Даев, решил, что она, Валя (Ира, Женя, Лариса, Вера...), пускает жильцов? Были свои отношения, были свои и взаимные надежды, но о жильцах она, Валя, и думать не думала. Да никогда! Да ни за что на свете!.. Но ведь на улице пурга, и ведь как уютно было бы сейчас на кухоньке, где приглушенный свет лампы и милое женское воркованье за чаем! Но ведь она уже сказала — нет. Слово за слово, и некоторые из них — Лариса, Вера — начинали чуть ли не в голос кричать о том, что пурга и снегопад бывают каждую зиму и что пурга не конец света, но тогда уже Даев обижался за своего лучшего, близкого, ближайшего друга и в свою очередь кричал на них. Костя Даев уходил и пушечно хлопал дверью. Он, мол, отныне сюда — ни ногой! Раздраженный неудачами, Даев винил погоду, пургу, и, кажется, полнолуние, и женщин, а затем помалу стал сердиться на своего друга в страшном малахае: чего это ты, друг мой, не нравишься им, может, ты смотришь нескромно?!

Перед (пятым или шестым) визитом в дом Даев, уже сильно недоумевая, велел Геннадию Павловичу также вылезать из машины и на минуту подняться с ними на этаж для представительности и интеллигентного общего вида — они так и вошли втроем, постояли в прихожей и поуговаривали, но и тут Олжус получил отказ. (В пальто и в шапках они стояли в дверях и мялись. «Да посмотри лучше: хороший же мужик. Почему ты не хочешь пустить его дня на три?» — спрашивал Даев женщину лет тридцати пяти — сорока. Алтаец улыбался.)

Вновь они мчали по Садовому; заехав в тот самый магазинчик, прикупили пива, и спустя время Даев кричал водителю, хрипел ему прямо в ухо: «Жмись к обочине!..» — и вновь опорожненные бутылки летели куда-то в снег, иногда со слышным звоном. И Константин Даев размышлял вслух, мол, перебрал уже всех, но где-то здесь была знакомая (и милая) женщина — ах да, как я забыл, на Кутузовском!.. И орал водителю, хрипел: на Кутузовский проспект! давай-давай!..— а когда подъезжали и поднимались, стуча ногами, к знакомой (и милой) женщине на этаж, Константин Даев предварительно ми-

нуту-две успокаивался: менял стиль. Константин Даев объяснял сложившуюся ситуацию уже не с налета, а сначала тишел на пороге, мял шапку, стараясь говорить вежливо и глядеть не зло: Валечка, да как же так... милая, гм-м, ну, прямо неожиданность, ну, чем же плох тебе мой товарищ! Морозно же на улице, а выручить его — это все равно что выручить меня!..

Возвращаясь к такси, он теперь каждый раз как бы перекладывал неудачу на Олжуса.

— Чего улыбаешься?.. На пороге чужого дома закрывай свою пасть хотя бы немного. Твои зубы хороши для пивных бутылок, но не для моих женщин,— выговаривал Даев старому приятелю.

— Клянусь, хорошие зубы,— уверял алтаец.

Они опять в который раз оказались на Садовом; укачивало, и Геннадий Павлович уснул.

Он проснулся оттого, что машина стала,— Даев высаживал Олжуса прямо посреди улицы, посреди суровой зимы. Он пожал алтайскому приятелю руку. Он дал ему какой-то сомнительный адрес общежития и сколько-то денег. Мол, не скучай...

Олжус молча стоял возле машины.

— Прощай... Что поделаешь, если ты невезучий! Мне пора! Смени зубы! — крикнул Даев в раскрытую дверцу машины, после чего, обрубая окончательно, хрястко захлопнул дверцу.

И велел таксисту ехать дальше.

Геннадий Павлович оглянулся — человек в малахае, уменьшаясь, делаясь издали похожим на темный кокон, стоял с чемоданом посреди огромного заснеженного города; было видно, как отделяет его опустевшее Садовое кольцо и как по всей своей шири кольцо прочерчивается быстрой легкой поземкой. Обтекаемый снегом и ветром, Олжус не шевельнулся, так и остался стоять — без ночлега, с небольшим, вероятно, количеством денег.

— Жаль его — мороз нешутейный,— робко заметил Геннадий Павлович Даеву.

— Не люблю невезучих.

— Но он не замерзнет?

— Вот еще! Он в снегу спать может...

Помолчали. Даев насвистывал.

Он подвез Геннадия Павловича более или менее близко к его дому и высадил — это был финал, точка в их человеческом общении, потому что ни с красивой

натурщицей, ни тем более один Константин Даев уже не собирался навещать Геннадия Павловича. Обостренным чутьем, свойственным всем долго живущим в одиночестве, Геннадий Павлович сразу же почувствовал. Жизнь как жизнь. Дверца такси была приоткрыта.

— Всего хорошего, Константин. Будет время — милости прошу, заезжай...

Тот, из машины, засмеялся:

— Прощай, дедуня... А ведь так и не привел я тебе ни одной подружки — не успел!.. Жаль!

И махнул рукой.

Геннадий Павлович пришел домой; он долго стоял под горячим душем, и в голове заметно прояснилось, к тому же после душа он с удовольствием выпил кряду две чашки крепкого чая. Спать не хотелось. Геннадий Павлович взялся было за книгу — на столе, на полу и даже на подоконнике, кругом было насорено, накурено, грязно, и тогда Геннадий Павлович из предосторожности надел на переплет книги целлофановый чехол, завтра он все уберет и выметет, вымоет и проветрит, слава богу, финал... Но не читалось. Геннадий Павлович дважды отрывал глаза от строчек и откладывал книгу, как вдруг понял причину внутреннего непокоя: его беспокоил тот, брошенный с чемоданом на Садовом кольце и мерзнущий. Алтайский Олжус стоял перед глазами, ежился от холода и ветра.

Была полночь.

Геннадий Павлович поморщился, он колебался — ему вовсе не хотелось вновь такой вот бытовой грязи, сигаретного пепла повсюду и пустых бутылок, вдруг выкатывающихся из-под диван-кровати. (Даев входил, и они, пустые, как-то сами при звуке его шагов выкатывались.) И до такой степени хотелось поскорее, завтра же, навести в доме порядок и вернуться к своему спокойному одиночеству, что Геннадий Павлович вздохнул, заходил по комнате: ведь несомненно, что этот Олжус вновь заплюет ему жилье...

— Человек мерзнет, а я обдумываю,— сказал он вдруг с укором самому себе. И, словно бы подстегнутый упреком, шагнул к окну, глянул на заснеженный градусник: ого!

Мерзнущий человек в малахае уже, конечно, куда-то ушел или уехал в такси, но надо же знать это точно, иначе, пожалуй, ночью только и будешь о нем думать.

Вот ведь неожиданность. Геннадий Павлович почувствовал, что не сможет ни уснуть, ни еще раз спокойно выпить чаю, пока не поедет и сам не убедится, что тот, с чемоданом, не замерз.

Однако, колеблясь, он какое-то время заново доказывал самому себе необходимость и даже обязательность предстоящего ночного поиска, после чего наконец оделся и вышел. К ночи ветер прибавил. Сыпал снег. Геннадий Павлович, к счастью, поймал такси довольно быстро. И поехал.

Олжус стоял на том самом месте. И чемодан стоял рядом. В ночной полутьме, в снегу они как бы окаменели — и человек, и чемодан.

Когда подъехали ближе, Геннадий Павлович, открыв дверцу, окликнул и предложил поехать домой — не стоять же здесь ночью, а дома, мол, можно хотя бы выпить чаю и согреться, можно заночевать. Снег мешал говорить. Геннадий Павлович вышел; ежась на ветру, он еще раз пригласил, позвал и наконец пропустил человека в малахае в глубь машины. Сам сел рядом, сказал: ну вот и слава богу, едем ко мне... Машина тронулась. Еле двигая каменными замерзшими скулами, Олжус произнес:

— Нет.

Геннадий Павлович опешил:

— Почему?

— Я хочу к твоей знакомой. К женщине. У тебя есть знакомые?

Геннадий Павлович, несколько смутившись, объяснил, что знакомых, тем более таких знакомых, у него нет. Существовали давние, мол, знакомые женщины, но они уж точно меня забыли, как и я их забыл, я старый холостяк, я ведь не Костя Даев. Олжус молчал. Машина все еще ехала по Садовому, а Геннадий Павлович даже заулыбался при мысли, что он решится привести этого человека со стальными зубами к какой-нибудь стародавней приятельнице, которая и самого-то Геннадия Павловича может не пустить в дом, не сразу узнать. Машинально он полез в грудной карман, вынул записную книжку, оправдываясь, вертел в руках: вот, мол, пустая, без телефонов,— там только и есть записи очередных дел к отчету.

— Дай — сам найду,— сказал Олжус.

— Там ничего нет...— Геннадию Павловичу стало както конфузно за свою почти чистенькую книжицу, когда че-

ловек в малахае выдернул ее из рук Геннадия Павловича и теперь, не доверяя, сам вглядывался в чистые ее страницы при зыбком свете фонарей, что мелькали за стеклами такси.

Вдруг буркнул:

— А пиво?.. Почему мы едем без пива — давай повернем, поедем в тот магазин.

— В какой?

— В тот, где пиво.

— Это недалеко. Но ведь он закрыт. Уже ночь — магазин наверняка закрыт,— уверял Геннадий Павлович.

Но Олжус настаивал, что там было замечательное пиво и что они поедут именно туда,— деньги есть, значит, пиво будет. А если нет пива в магазине, они поедут в ресторан, нет в ресторане — в аэропорт. Припомнив ту улицу и тот поворот к замечательному магазину, Олжус выкрикнул название улицы таксисту, он рявкнул, почти как Костя Даев, и таксист тотчас повернул, поехал, даже поспешил — и теперь с каждой минутой таксист все больше слушал Олжуса, как и тот таксист, предыдущий, слушал Константина Даева.

У магазина они встали — Геннадий Павлович приоткрыл дверцу машины, показывая и поясняя, ну, разумеется, мол, закрыто в ночной час. Он повторил, что и в ресторанах сейчас пива нет и что дома у него, к сожалению, только чай, но ведь чай с мороза — это чудесно. Он пояснял, как он заваривает чай, когда Олжус, убедившись, что окна темны и что магазин с пивом закрыт, негромко и даже как-то нараспев, мешая родные слова с русскими, выбранил такой мороз и такой магазин. Спокойно и почти буднично он вытолкнул Геннадия Павловича из машины в приоткрытую им же дверцу, столкнул с сиденья прямо на снег. Захлопнув дверцу, сказал шоферу: поехали, мол, дальше,— и они укатили, в то время как Геннадий Павлович выбирался из сугроба и искал шапку.

Геннадий Павлович поднялся; он отряхивал снег.

Лет тридцать — тридцать пять назад он был *Геннадий Голощеков*; поначалу он лишь прекрасно учился и был из тех блестящих студентов, кто ходил на вечера поэзии и, до хрипоты споря о физиках и лириках, спорил о вечном. Была пора поэзии и поэтов, пора больших раз-

говоров, и душа Геннадия Павловича, душа молодая и еще не умевшая, казалось бы, открыться, открылась тем не менее в тех разговорах вполне да и вполне выразилась.

Традиционно пьянило слово «справедливость», но еще более Геннадия Голощекова пьянило само общение людей, новизна общения, а также вдруг открывшиеся с ней вместе горизонты и возможности искусства. Он был такой не один — их было много! Искусство, стихи, живопись, театр сделались вдруг частью пылкой их жизни, хотя искусство, стихи, живопись, театр они и не сами творили: сопричастность была огромна. Стоял зеленый шум. (Казалось, жизни не было — жизнь начиналась. Даже любовь — святое юных — была окрашена общечеловеческой сопричастностью. Расставались не вдруг, а в процессе необратимых взаимных оскорблений, а подчас, увы, лишь оттого, что *он* пылал верой в современную поэзию, а *она*, бедная, не понимала периодов развития Пикассо. Или, напротив,— именно она сама и навсегда оставляла своего дружка, оставляла с негодованием, вдруг обнаружив, что бедный малый в душе своей конформист.

Претерпела и дружба.)

Возможно, по прихоти природы Геннадий Голощеков понимал тогда и поэзию, и живопись, и открывшееся общение людей больше, чем понимали другие, отчего и стала молодость *сезоном его души*; никогда после Геннадий Павлович уж не был таким. Говорят же — свой час. И если о сезонах и о яблоках, он был сродни раннему *белому наливу*, яркому и солнечному плоду, который так скоро отходит, уступая место всем последующим яблокам вплоть до осени. Отошел — но ведь был. Так что в те дни слушали — Геннадия Голощекова, приглашали — Геннадия Голощекова, звали — Геннадия Голощекова. Жадно, хоть и бессистемно, читавший ночами, днем Геннадий Голощеков мог выразить неожиданно много, мог сказать ярко и свежо, сказать талантливо, притом совсем необязательно сказать то, что так жадно читал. Он удостаивался личных и очень лестных приглашений поэтов, скульпторов, живописцев — бывал у них дома, засиживался у них за полночь за кофе и за вином, всего лишь студент и говорун. Не раз и не два открывал он вечер поэзии в Политехническом, хоть не был ни критиком, ни даже молодым литератором, пописывающим втайне стихи. Тут не было затаенного комплекса или

недовыразившегося дарования — он именно жил, горел.

После вуза, работая научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником в весьма солидном учреждении, он и там лет семь-восемь, да, да, семь или восемь лет, не менее, держался на волне своего яркого импульсивного дара, но говорил уже в русле своей работы (и в духе времени) не об искусстве, а о вопросах экономических или правовых, защищая прогрессивные методы, защищая человека, людей, массу и воюя с замами и с директорской свитой. Он сделался видным экономистом. Статистика, планирование как таковое, системы управления, АСУ — вновь он читал ночами, вновь обобщал. Вокруг него не затихали страсти и споры. Голощекова любили — Голощекова ненавидели. Был пик. Одно за одним выдвигал он экономические новшества, улучшающие процесс работы либо быт сотрудников. Он выступал много, говорил красно и более солидными людьми (отчасти из ревности) был даже прозван *Хворостенковым*. А время шло; истый реформатор, говорун, деятель, он постепенно пришел к тому, что выдвигал планы до небес и поражал воображение, однако уже определившееся прозвище, да и само отношение сотрудников к его речам свидетельствовали, что подступала иная пора.

Он не мог не почувствовать, что его золотое время уходит; ища реальности, он все более ссылался для обоснования на примеры истории или на конкретные, еще свежие выступления Хрущева, но слушали Геннадия Голощекова все меньше и спорили все меньше, а затем уже и не спорили: планы его и прожекты скоренько и почти единогласно отводили.

Он тогда сам заметил некий присущий ему изъян: планы его превращались вдруг в фантазии, едва их начинали всерьез обсуждать. (А пока он говорил, блистая глазами и гоня вокруг себя возвышенную волну вдохновения, планы были так реальны, так заманчивы!) Однако и заметив свой изъян, Геннадий Павлович Хворостенков продолжал выступать, предлагать, вмешиваться, так что однажды на каком-то из своих планов крепко споткнулся, *ляпнулся* — предложил он что-то совсем уж не то и не так, они проголосовали; ему бы спохватиться, но он настаивал. Его вывели и из объединенного профкома, и из технаучсовета, где он гремел и блистал, молодой, энергичный. Вывели без скандала. С ним поговорил некий умудренный старичок эксперт и предложил от имени всех:

не только выйти из технаучсовета, но, может быть, вообще перейти работать куда-нибудь еще. В другой НИИ. Пусть он, Голощеков, поразмыслит. Ему дадут добротную характеристику. Человек он, несомненно, талантливый, яркий, к тому же кандидат наук, он найдет себя и во всяком другом месте, в любом, в то время как здесь, если он останется, будут долго ему помнить и поминать, как он ляпнулся (будут, пожалуй, и посмеиваться),— ни им всем, ни ему, талантливому, это не нужно, верно?

Он обиделся и уволился немедленно.

Мягко стелили, спать было жестко. В их памяти он таким и остался: говорливый, белолицый, встряхивающий чубом, всегда улыбающийся и полный идей, как полон коробок спичками. Именно что Хворостенков и именно что прогорел. Он ведь признал, что в последнее время предлагал неумно и что его как бы заносило все круче. Так что, когда итожили, порешили сурово: болтун, мол, и прогнали за дело. Тогда сделались модны такие разговоры. Хотя, возможно, не все думали так. Во всяком случае, двенадцать или четырнадцать человек, молодых сотрудников и сотрудниц, кто вдруг получил квартиру в новом доме (ведь рядовые, недавние, совсем зеленые, им бы еще ждать и ждать), никак не должны были бы вспоминать о нем плохо, грешно им, что называется, и не к чести. Именно он, Хворостенков, в пик говорливого своего взлета сказал, точнее выкрикнул: «Квартиры — рядовым сотрудникам!» — фраза из банальных, звучавшая сто раз, но в его жарком словесном потоке обновленная, несла фраза свежий заряд, так звонко и чуть ли не торжественно он ее повторял, притом так неотвязно, настырно, страстно, что им и вправду *дали*. Дали — потеснив в первой половине списка начальство, а во второй — всяких знакомцев, к строящемуся дому присосавшихся и, как водится, уже доказавших бумагами свою причастность и даже необходимость; дом вот-вот сдавался. Не сильно их потеснили, однако же на двенадцать, на четырнадцать квартир. (В числе получивших был один мой старший приятель, друг той поры, от кого я узнал о Геннадии Голощекове побольше и попространнее. А впервые о Голощекове я услышал еще в вузе, где обучался позже его и где даже восемь-десять лет спустя жил миф и оставались в ходу его яркие, колкие словечки — следы необыкновенного говоруна в стирающейся памяти поколений.)

Обида оказалась глубокой: перейдя в новый НИИ, Геннадий Павлович замкнулся, стал молчалив. Он стыдился теперь своей говорливости и дутых идей, которые, как ему казалось, лопнули мыльным пузырем, лишь забрызгав людям глаза. Товарищам, а также девушкам, что были в него влюблены, а их была целая группка, он не сказал, куда перешел работать; спрятал следы.

Он хотел забыть. Он побаивался, что в новом НИИ как-нибудь узнают о былой его активности, прослышат, а там уговорят, а там выберут, скажем, в профком или в бюро, а там пригласят выступить — и пошло, поехало. Он боялся, что молва опередила и что его уже знают. Но никто не знал. Его никуда не выбрали, не пригласили. Он жил в слишком большом городе, в огромном городе, и он как бы растворился, исчез, ушел навсегда, перебравшись, если по географии, всего-то на три километра к северу. (И вот уже с облегчением он почувствовал, что вокруг незнакомые!) В контактах по работе Геннадий Павлович теперь следил за собой, подавлял желание говорить, стараясь отвечать кратко, а по возможности обойтись словами: *да* или *нет*, или *я постараюсь*, или *это едва ли получится*,— особенно же сдерживая откровенности, как свои, так и встречные, то есть откровенности тех, кто искал его приятельства и, пусть невольно, хотел о новом сотруднике знать побольше. Но в душу, к счастью, никто не лез. И можно было жить спокойно. Тем более что здесь, в НИИ, как раз догорал свой Хворостенков, кажется, с фамилией Петянин или Петюнин; финалы схожи — Петянин был узнаваем, он был столь же фантастичен, прекрасен в идеях, а на взгляд извне столь же смешон и нелеп, так что Геннадий Павлович как бы лишний раз увидел себя со стороны и лишний раз подумал, не дошла ли молва, какое счастье, что не дошла.

В параллель сошли на нет его контакты с людьми искусства, *с именами*. Он иногда общался с ними в вечерние часы, по-домашнему, отчего приобрел тогда небольшое, но своеобразное влияние одинокого интеллектуала и философа, к которому приходят на поздний чай. Был род клуба. Геннадий Павлович уже тогда собирал книги по философии, так что был гостеприимный холостяцкий дом, квартира, где можно вечером посидеть, умно поболтать, полистать редкое издание. «Есть такой Голощеков, не бывал у него?.. Ум, эрудиция, и какой интеллект!

Человек, который почти все читает в подлиннике!..» — эта слава также сходила на нет, тем более что когда Геннадия Павловича наряду с другими умниками и высокого ранга специалистами зазывали крупно поговорить на всякого рода *круглые столы* и *открытые вечера*, приглашали повторно, приглашали письмом или устно выступить там-то и там-то, он уж никуда не ходил. «Я уже не боец»,— любил повторять он с улыбкой. Он отказывался и отшучивался, притом что, быть может, совсем не шутя боялся и здесь своего очередного хворостенковского полета к небесам и прогорания.

Люди искусства, с именами и без, хаживавшие к нему на чай, как-то сами собой перестали бывать. Он не очень жалел: он был уже закален и знал, что такое, когда от тебя отвернулись. А затем прошло лет пять, и оказалось, что потускнел не один он. Оказалось, что сверстники и приятели, немногим пережив блестящий, звездный его период, также потускнели или прогорели, после чего также отодвинулись в сторону (иные в обратном порядке — сначала были отодвинуты или отодвинулись в сторону, а уж затем потускнели, поблекли) — так или иначе они сошли. Они растворились в пространстве и во времени, а думали, что растворились в людях. Потускнев, каждый из них словно бы спешил остаться один. Как и он.

В вузе Геннадия Павловича Голощекова обожала группа студенток младшего курса, *стайка*, как говорил он. Он их, в общем, не различал. Он лишь находился в поле этой постоянной любви-обожания, этого поклонения, явно выраженной их симпатии, которая (он тогда не осознавал) значила много. Когда пришли зрелые годы, стайки, увы, не было — вокруг иные, незнакомые люди, и в медленно потянувшемся ином времени сойтись с женщиной надолго Геннадий Павлович, как оказалось, не очень-то умел. Семейная жизнь не складывалась. Его постигло несколько бытовых разочарований, даже неудач. Однажды он вдруг засомневался в своей способности жениться, то бишь жить с женщиной постоянно, долго, и тогда же он впервые подумал, что, вероятно, ему предстоит ровная одинокая жизнь, что нет друзей и нет любимой женщины, но что есть длящаяся жизнь духа и есть какая-никакая служба в НИИ, небольшая квартира, оставшаяся после рано умерших родителей, книги.

Когда сколько-то еще лет спустя я пришел к нему по

некоему книгообменному интересу, Геннадий Голощеков был в полном одиночестве. Я помнил вузовские легенды: я удивился.

В детстве своем я прежде всего помню снег, много снега.

В дни, когда умирал мой брат, я был совсем мальчик, и его смерть, страдание как таковое еще не могли тогда ни сопричастить, ни войти в меня глубоко; страдание было рядом, но было — не мое. Брат умирал в своей кроватке. Мама плакала. Стояла зима. Я испытывал лишь тупое беспокойство, пришибленность в чувствах и смутный испуг, перемежающийся даже и любопытством. И кто-то из старших ребят барака сказал, видя, что я ничего в горе понять, почувствовать не могу, только вздрагиваю и только губами трясу, когда произносят имя,— кто-то из них, из старших, сжалился и сказал, рядясь во взрослого, а может быть, и правда желая облегчить и передавая ранний опыт взрослых: *выпей*... Когда водка нашлась и принесли стакан, я, поразмыслив, с некоторою даже важностью согласился, после чего выпил вдруг и разом сразившее меня количество спиртного. Я оказался кувыркающимся в снегу: помню, что снег был глубокий. И что холод я ощущал проникающими в меня тонкими приятными иглами.

Мне стало вдруг совсем тепло и весело, когда я кувыркался в глубоком снегу. Я прыгал в сугроб, переворачивался и обеими руками взметал вверх над собой облако искристого белого снега. Шапки на мне не было. Две девочки, проходившие мимо, смеялись. Я вставал, я падал, а упавши, непременно переворачивался и подбрасывал ладонями снег кверху, тер снегом лицо, снежинки слизывал и ел их, ел, ел, и было так светло в глазах и оранжево от приставших к ресницам маленьких солнц. Если же упасть и лежать лицом вверх, небо в другой стороне было совсем синее, высокое.

Глава вторая

К тому времени, когда Геннадий Павлович Голощеков сделался молчаливым, уже не по принуждению, а естест-

венно молчаливым, жизнь определилась. Он не общался, он редко сходился с женщинами, но и сойдясь не откровенничал — он бесконечно много и уединенно читал. Чтение в конце концов поглотило его, примирило, он сделался счастлив, живя жизнью книг, и, как всякий, кто подолгу о прошлом думал, в итоге пришел к тому, что на пылкое свое прошлое оглядывался уже с улыбкой, а подчас с большим и искренним удивлением, как на жизнь другого человека, господи, чего там только не было! (И ведь именно что прогорело. А какое, казалось, пламя. Какой стоял треск.)

Правда, в памяти, хотя и тускнея от лет, жила та стайка девушек.

Из них, в него влюбленных, Геннадий Павлович никого тогда не выбрал, не сблизился, даже не отличил именем, ибо парил в облаках и был, кажется, влюблен во всех них сразу. С улыбкой рассказывал он, как ему нравилось, что они приходят заранее, за десять минут, и что садятся в первых рядах, слушая каждое хворостенковское его слово, и как, обласканный взглядами, Геннадий Голощеков тех лет любил, вероятно, свою славу, а не этих девушек; может быть, он любил саму их влюбленность в него, любил высоту их чувства и, кажется, думал, что это длится вечно.

И лишь позже, когда сдуло пену, он вспомнил, что они смеялись и что они огорчались, что у них были не какие-то, а одинаковые нарядные туфельки и что, если шли вместе, девушки ступали очень ровно, как бы и на ходу подравниваясь. Они отлично знали свое девичье обаяние, но, скромные, не могли же они выявлять, потому и шли рядом, вровень, чуть-чуть потупив глаза и, стало быть, вместо ряда прекрасных молодых глаз выявляя для начала лишь ряд туфелек; в пушкинском смелом веке сказали бы — ножек. Одна, с черными тревожными глазами, держалась обычно немного сзади, как бы соглашаясь, что с ее глазами никак нельзя даже на полшага вперед, и даже вровень, шаг в шаг, когда такие глаза, тоже нельзя — нескромно. Страх как соблазн. Быть может, именно она разыскивала Хворостенкова, когда он, замолкший, прикусивший язык, перешел в другой НИИ. (Но нет: ее, с черными глазами, он также нисколько не выделял, это уже поздняя невольная подтасовка, это уж память сейчас старается — он же никак их не разделял. Он знал их *вместе*.) Их было пять или шесть.

Так что на скучных своих лекциях (как и на вечерах знаменитых поэтов) пять или шесть красивых девичьих лиц держались вместе — красота смыкалась в строй. Казалось, они в стайке лучше защищены. Надеяться на свою и отдельную судьбу, но до известной поры быть вместе — так было проще. Они были слишком юны, каждая из них могла ночью думать и сколько угодно вздыхать о Геннадии Голощекове применительно к себе одной, но днем каждая рыбка спешила в стайку, в общую толщь воды, в спасение и укрытие общностью.

Возможно, он сумел бы и заметить, и увлечься, и оторвать от стайки, сумей сама она (любая из них) хоть как-то отделиться. Но в перерывах он общался не с ней, а с ними, он подходил не к ним, а к ровному строю красоты, красота же обезоруживала, и никого из них в отдельности он не видел. Да, была темно-русая, с подрагивающими черными глазами. (По ней было заметно, волнуется ли вся стайка за него, остроумен ли он сегодня — нервничает ли?) Истинно одухотворенное лицо было все же у другой — у беленькой, внешне спокойной и, кажется, чуть склонной к нервическому облизыванию губ.

«Но не гарем же мне нужен!» — упрекал он себя уже тогда за неумение выбрать. Строгий и целомудренный юноша, он объяснял себе, что, по-видимому, он еще не созрел, мол, все впереди — пока же он, мол, любит их всех, да, да, любит и не желает выбирать, не станет он выбирать, не хочет!.. Мысли возвратились к предстоящей полемике. Сидя на авансцене, за красным столом с графином воды и перевернутыми чистыми стаканами, Геннадий Голощеков ждал первой же возможности высказаться, иначе с минуты на минуту мог вновь выступить серьезный (и достаточно обаятельный) соперник из комитета, отчаянный полемист, которого побивать было каждый раз непросто. Но не искоса подглядывать за противником, а одолеть — творить на порыве преодоления. Чувством, которому и сам удивлялся, Геннадий Голощеков почти физически ощущал, как возникает (он знал, что она есть) та высокая духовная струна, на звук которой слушающие люди откликаются и вдруг отвечают, вздрагивают. После чего сам собой проносится живой ветер по рядам партера, ветер-вздох, ответный и единящий людские души с твоей куда лучше, крепче боя ладош, рукоплесканий и всяческих одобрительных криков из дальнего ряда.

(Но и крики бывали к месту. Голощеков запнулся, случилась пауза, и тогда дружески и негромко молодой парень выкрикнул:

— Гена, Гена, мы здесь!

Так трогательно и неожиданно вышло. Засмеялись. И сразу вокруг загудели: гууу-ууу...гу-ууу... пронеслось по рядам, давай, давай, Гена, говори дальше, Гена,— *мы все здесь.*)

Даже и туфельки их были одинаковы, словно бы и туфельки не хотели отличаться, обнаруживаться,— стайка располагалась всегда в первом или во втором ряду, справа, так что, выступавший, скользнув глазами, он первым делом видел эти светлые туфельки, светлые же стройные ножки, а затем их лица, а уж затем, отметив, что стайка в покое, оглядывал аудиторию, иногда, впрочем, совсем небольшую.

После вуза он распределился работать в одну из научно-исследовательских организаций, а спустя три года влюбленная в него стайка девушек, не вся, но большей частью, распределилась туда же, вслед за ним — «след в след», притом что столь нацеленное их трудоустройство ничем иным не объяснялось. (Одна из них, с тонким породистым лицом, уже вышла к тому времени замуж и родила мальчика. Но все равно она обожала Гену Голощекова и, совмещая с обожанием семейную жизнь, так же приходила и так же ловила каждое его острое словцо, когда он гремел, стоя теперь за зелено-бархатистым столом технаучсовета. Стесняясь своего замужества, она садилась теперь не в первый и не во второй, а в третий ряд. Если же провожали до метро, она шла только первые пятьдесят шагов, затем же сворачивала, уходила к семье, к сынишке, нет-нет и оглядываясь на Гену, а также на подруг, провожающих его, а также на группу молодых и немолодых людей технаучсовета, окружавших Геннадия Голощекова, который с ними вместе скрывался за поворотом и все говорил, говорил...)

Распределившиеся вслед за Голощековым, девушки все к этому времени прибавили в женственности и расцвели. Секс не был тогда столь загодя определяющ, и Геннадий Павлович не помнит, была ли, скажем, у кого-то из них замечательная, привлекающая издалека грудь, но, конечно, тайна и в те дни умела оставаться тайной и вдруг

обернуться бытовым очарованием; он помнит, к примеру, тот момент, когда платья стали им тесны, и вся стайка, как воробьи, загомонила о магазинах. Платье в те годы девушка так уж сразу купить не могла: ждала, выбирала, колебалась, а старое платье на ней уже ничего не ждало, только теснило. Еще помнит Геннадий Павлович третью из них, с торчащими, туго заплетенными белыми косицами, потом ее же — с длинными волосами волшебного цвета, рассыпанными по плечам, а потом вдруг с короткой стрижкой, делающей ее похожей сзади на светловолосого паренька. Но это, кажется, и все, что он помнит. Имен не помнит. Разговоров не помнит. Да, да, стоило одной из них выделиться, обнаружиться, тронуть его за рукав чуть более властно, он бы, вероятно, не устоял, предпочел, а общая их любовь рухнула бы незамедлительно — и потому-то каждая, казалось, не желала рисковать. Если обнаружит себя одна, то, занервничав, выявит себя другая, затем и третья, отчего скромная их гармония рухнет, сменившись индивидуальной разностью выделяющихся и броских причесок, платьев, резких слов, выпячиваний, обидных женских прозвищ и прочих откровений эгоистической войны; они же невольно (и неосознанно) предпочитали мир. И совсем не сразу в НИИ та, третья, вновь распустила волосы *по белым плечам*, и Геннадию Голощекову, видному экономисту, трибуну, деятелю, ее пряди, длинные и белеющие, как молочные, казались излишне вольными, смелыми. Старики там неожиданно оказались более тонкими ценителями. Старики просто сходили с ума.

Когда же он стал смешон, нелеп со своими ослепляющими идеями и когда попросили его уйти по-доброму и доброго имени ради, Геннадий Голощеков перешел на новое место совсем неслышно, тихо. Стыдившийся краха, он спрятался, зарылся в один из неброских новых НИИ, не подавая о себе ни знака, так что никто из прежних его не навестил, не нашел; молодые женщины также не нашли, он решительно не желал их видеть и сказал им, что перебирается из Москвы в Питер. Их он стыдился особенно. Только лет десять спустя они стали вновь мало-помалу возникать в памяти. (Он вдруг вспомнил и долго, неотвязно держал в себе, как та, с черными глазами, шла за ним следом по коридору общежития, хотела что-то сказать,— однако, смущенная, догнать никак не решалась. И каблуки ее туфелек стучали: так-так... так-так-так...)

Теперь, к году год, их забывающиеся лица все более обволакивались этаким светоносным чувством: поздней любовью. Возникали обрывки давних разговоров. Отдельные их слова. (Напоминало цитирование — но где книга?) К сорока годам он вспоминал тех девушек уже с сильной, ясной тоской. И лишь за пятьдесят тоска отпустила: осталась память.

Черноглазая подбегала, лишь на какую-то секунду опережая других.

— Поясните, Геннадий,— она спрашивала о свободе в стихах Ахматовой. (О свободе поэзии и как эта свобода связана с прорывами человеческого духа вообще: отобранные заранее слова теснились; жаль, от волнения она всегда запиналась.) Оттого что была с ним одна и первая, глаза ее делались огромными, а черные зрачки — испуганными. Но секунда мала, и вот уже возникали рядом подошедшие подруги из стайки, возникала тональность красоты, единый и общий фронт обожания, подходили, напирали усатые сослуживцы, и вот уже вопрос-другой-третий сыпались на Геннадия Голощекова, всеведущего и всезнающего, от живописи Шагала до комплекса строящихся пятиэтажек,— с каждым вопросом его обступали плотнее, и та, с черными глазами, оказывалась уже во втором, в третьем ряду, оттесненная и, быть может, сама испугавшаяся своего первого порыва.

Милая и добрая женщина (жена этого наглеца, этого скота!) угощала Нинель Николаевну коржиками домашними и еще свежим айвовым вареньем, а он — Нинель Николаевна почувствовала, теперь-то она помнит это — переводил глаза с болезненно отекших рук своей жены на довольно изящные руки Нинель Николаевны. Но ведь мужчина смотрит так, как смотрит мужчина,— это естественно, и что же иное должна она в том чувствовать?.. Она, кажется, ищет теперь свою, хотя бы и отдаленную, вину; не проступила ли на лице ее одинокость, известная ущербность, женщина за сорок и, мол, не замужем. Но нет; извините, но не было этого, никогда не было, и не может проступить на лице человека то, чего нет.

Когда она пришла после столкновения с начальством и расплакалась, он ведь обронил, утешая: «Жаль, Нинель, *жены нет* и не скоро будет. Она бы лучше, чем я, тебе посочувствовала», — и был тут искренний вздох, да, да,

даже вздох его был на своем месте и в нужную минуту, который, впрочем, теперь задним числом можно осмыслить...

Геннадий Павлович Голощеков, мужчина за пятьдесят, с изрядной уже сединой и с грустными глазами, поднял с заснеженного асфальта свою шапку, надел. Было холодно. И надо было добираться домой. Как-никак ночь (повторяемость бытия). Геннадий Павлович шагал по направлению к дому с малой надеждой на случайное ночное такси, но шагал не спеша, отдыхая, по-ночному уже расслабившийся, и (в тон себе) думал — как спокойно, как врачующе спокойно лежит над городом ночь. Как потухли дома, потемнели улицы. Как это, вероятно, необходимо столь шумному и большому городу. Чудо сна! На этой вот мысли о всех уснувших (и о врачующей их ночи) его едва не сбило снегоочистительной машиной, вдруг выбравшейся из переулка.

— Ч-черт! — вскрикнул он. Ушиб был возле бедра, но и в колене болело. А высунувшийся в окошко водитель (с мужественными, героическими складками лица) матюкался — улочка была безлюдная, бессвидетельная, и водитель вполне мог отвести душу. К счастью, обледенелый переход имел наклон от колеса во внешнюю сторону, иначе бы не уцелеть, думал Геннадий Павлович, а на крики водителя не реагировал никак: он и без него хорошо знал, что сам виноват. Однажды может случиться беда, философски рассудил он; он отряхивал снег.

Снегоочистительные машины — сигналя теперь Геннадию Павловичу на повороте — одна за одной тяжело выбирались из переулка на проезжую часть улицы. Отряхиваясь, Геннадий Павлович вдруг обратил внимание, что от пальто сильно несет пивом: вероятно, облил сидевший рядом Олжус или, быть может, часом раньше Даев, это ведь не имело значения — кто. На пальто были застывшие, чуть желтые льдышки смерзшегося пива, и Геннадий Павлович, приостановившийся, отдирал ногтями желтоватые комки. Пальто было совсем неплохое, теплое. С возрастом Геннадий Павлович сделался по-холостяцки бережлив и, быть может, немного скуповат. Жизнь научит! — сказал он самому себе вслух и усмехнулся. И зашагал дальше по направлению к дому. Он шагал по ночной улице. Сделалось грустно, но не оттого, что нет такси,

и даже не оттого, что едва не задавили, а оттого, что в его глазах он сам, Геннадий Павлович Голощеков, все еще стоит, присогнувшись, там, за переходом улицы, стоит и, вглядываясь в свете фонаря, старательно, озабоченно отдирает от ворса пальто замерзшие льдышки, отдирает заботливо и усердно, как и положено их отдирать старому холостяку.

На службе, где Геннадий Павлович руководил отделом, постепенно и с возрастом подступила пора, когда на должности начальника отдела его стали теснить. «На меня охотятся»,— шутит Геннадий Павлович, хотя, по сути, ему уже не до шуток. Но он шутит. Или винит раннее свое старение, мол, такова жизнь: если ты слабеешь, другие становятся сильнее.

Он — дома, он занят собственной апатией и некими общими размышлениями о человеке и о человечестве, а там, на службе, высокое начальство в очередной раз кривит рот на его отдел и на недозавершенную работу (и на его, пусть даже узаконенный, больничный лист). Что оттого, что он читает на пяти языках,— лучше б он поменьше болел! На службе некто Птышков, разумеется, молодой и энергичный, бегает, шустрит, заседает, ладно, пусть не бегает и не шустрит, *не принижай врага своего*, пусть он спокойно и солидно заседает с высоким начальством и в который раз намекает, ладно, не намекает, а прямо же и открыто он говорит, что отдел Голощекова вял, глух, что народ там работает вполсилы, а темы их вообще устарели, так что отдел пора если не упразднить, то хотя бы сократить.(И передать половину людей если не ему, Птышкову, то всякому другому, кто активен и деловит.)

Они там говорят, обсуждают, высказываются за и против, а Геннадий Павлович — дома.

Лучше всего представить, что в эту минуту он и впрямь вяло лежит на диване, почитывает книгу в подлиннике, на древнегреческом.

Штрих к портрету. На улице, где царствует Даев, Геннадий Павлович мягок, интеллигентен, малоприспособлен, однако, выйдя, так сказать, из уличной новеллы и вернувшись в свою квартиру и в свой обычный уединен-

ный миропорядок, Геннадий Павлович по-прежнему мягок, интеллигентен и добр, это верно, но плюс — он вальяжен несколько и несколько высокомерен. Едва я пришел (особенно в первую минуту), Геннадий Павлович начинает рассуждать иронично, если не насмешливо. Он немного поучает, поругивает. Не спеша, именно что вальяжный и в добротной барской куртке, проходит Геннадий Павлович мимо стеллажей своих русских и иноязычных книг — идет поставить для гостя чайник, голос же его, неторопливо удаляющийся на кухню, продолжает поучать.

Обычно он поругивает меня за практичность (хотя я непрактичен), за явную приспособленность к жизни (хотя я приспособлен весьма средне) и за отсутствие желания изучать глубоко мир книг и мыслей (и тут он не прав: желание есть — другое дело, что мало удается). Этот слой культуры поучения скорее всего мифологичен. Но поскольку Геннадий Павлович ведет речь не обо мне лично, а обо мне вообще, то я и не возражаю. Условность — это почти условленность.

Он рассказывает, что он, разумеется, знал, что контакт с Даевым, как и *вообще с вами*, надолго невозможен. Хотелось всего лишь глотнуть грубого и грязного воздуха улицы. Один глоток. И, разумеется, он понимал, что вместе с Даевым в квартиру, в его дом на несколько дней ворвется жизнь сегодняшней толпы,— ну и ничего не будет удивительного, если тот, та, те наследят, натопчут ногами, намусорят и наплюют в душу, этого следовало ожидать.

Затем вальяжность спадает; Геннадий Павлович просто и по-человечески говорит о своей одинокости: в сущности, жалуется. («Хочу до смерти общества, хочу общения с каким-нибудь старомодным университетским профессором,— говорит он невесело.— Хочу знакомства с профессорской дочкой...») Это — апатия. Вдруг ослабевший, Геннадий Павлович день за днем полеживает на диван-кровати, бездеятельный и даже мало читающий. Воскресенье. Он небрит. И — судя по щетине — был небрит вчера.

Он поясняет:

— И чтобы там был свой мир, и чтобы вокруг папы-профессора, моего ровесника, этак за пятьдесят лет, суетились и мельтешили какие-то молодые люди. А я бы поигрывал с профессором в шахматы. И острил, ты же знаешь, я умею изредка быть злоязычным... Молодые и немолодые

люди ходили бы вокруг нас, говорили друг другу всякие умные, тонкие слова, отточенные обдумыванием или вдохновенной импровизацией. И чтобы я — среди них. И бесконечность коридоров и комнат старой квартиры. И чтобы дочка профессора, молоденькая, умненькая и веселая, относилась ко мне с симпатией, да, да, просто с некоторой симпатией относилась ко мне, стареющему и не добившемуся ни чинов, ни высот. А? интересно?

Он погружается в этакую ни к чему не обязывающую задумчивость:

— ...Мне, Игорь, был бы сейчас хорош любой центр средоточия — просто некий уважаемый человек, пожилой, порядочный и с людьми вокруг, и чтобы я туда приходил просто так; как приходят свои люди, когда хочется. И, разумеется, не надо никакой дочки.

Он вздыхает:

— И чтобы вкусно готовила толстуха мамаша, чтобы женщины там и мужчины беседовали или вдруг садились в кресла, закуривали и с достоинством, не спеша говорили умные слова или хоть похожие на умные слова и мысли-перевертыши. Всякие там парадоксы, по-русски чуточку длинноватые и ненавязчивые, как в пьесах Чехова...

Помечтав, Геннадий Павлович несколько смущается и прячется за грубоватой интонацией практического будто бы вопроса:

— Ну и что, есть ли среди твоих знакомых такой профессор и его дочка, к которым ты мог бы меня свести?

— Нет.

— То-то.

Я смеюсь:

— Если бы мы с вами, Геннадий Павлович, туда вдруг попали, дочка выбрала бы и предпочла кого-то из молодых острословов — как раз из тех, кто закуривает, *садясь в кресло и не спеша.*

— Знаю: я стар.

— Вы не стары, Геннадий Павлович, вы холодны.

— Вот пусть бы и поделилась теплом — это так человечно!

Нечаянно я проговариваюсь — мол, как бы ему и в домашнем тепле, как бы и у самого старомодного профессора ему не стало одиноко.

— Что ты! Что ты! — Он даже вскрикивает. Он боится этой мысли: мысли, что он уже везде лишний, одинокий, отживший свое.

Спохватившийся, я замолкаю. Я знаю, что Геннадию Павловичу не нужна ни чья-то семья, ни чья-то дочка. Он скромен. Ему бы только сидеть, смотреть на людей. В ту, вероятно, минуту его поманила — и, возможно, осознанно — роль доктора в чеховской пьесе или повести. Роль старого, немножко неопрятного человека, умника в прошлом и добряка в настоящем. Все ходят веселые, живые, а ты сидишь в кресле (зримое отсутствие) и печально умничаешь, и даже вроде бы не живешь, а только изредка куришь. Тем более если в памяти своей ты кого-то любишь. Давняя (и неразделенная?) любовь превращает твои будни в длящуюся положительную эмоцию, тебя же самого делает чище, проще; даже кресло старинное, в котором сидишь, та любовь делает теплее, и мягче, и понятнее, вплоть до понятности некоего предназначения.

Разумеется, сидя в кресле, он хочет в неспешную паузу подать остроумные, чуточку брюзжащие реплики окружающим людям — но кто этого, Игорь, не хочет в иные свои минуты? Мне ведь и не осталось ничего иного, кроме как брюзжать... ах да, это сказал не я, а сказали мне. Сказал человек, кстати, Игорь, *чем-то очень похожий на тебя.*

Это характерно. Я моложе Геннадия Павловича на десять с лишним лет, я, как он выражается, *из следующих*, и потому люди, вокруг него живущие, хамящие, подсиживающие, делающие дела и так или иначе загоняющие и уже загнавшие его в паутину одиночества,— это все люди, похожие на меня. Когда-то личностный акцент обижал. (Я не понимал. Но я понял.) Когда-то я даже сердился, терпел, но степень (и суть) обобщения до меня однажды наконец дошла, я понял, и с того дня яд уже не попадал в кровь — мы общались *просто, как в театре.* И уже без усилий я стал прощать Геннадию Павловичу попытку найти виновных где-то рядом, как стал прощать попытку жаловаться, попытку жить, полеживая по субботам и воскресеньям на диван-кровати в отглаженных брюках, в накрахмаленной белой рубашке, словно все еще ждет он какого-то важного звонка или дела.

Подчас глубина (нынешняя) Геннадия Павловича и особенная прелесть его интеллекта как раз в том, что воспринимать мир личностно он не способен, в частности, не способен замечать, что его слова — зеркало, что личная его одинокость вылезает теперь наружу тем более, чем более он теоретичен и чем более в переменах, в бедах,

как и в самой своей одинокости, он винит кого-то *вообще*, винит *похожих на меня*. (То есть, по-видимому, всех тех, кто моложе его на десять, на пятнадцать, на двадцать, на двадцать пять лет, мужчин и женщин, что пришли вслед и вытеснили биологически его из жизни, сделав его умение пламенно говорить — смешным, а умение глубоко мыслить — ненужным.)

Я стараюсь с ним согласиться, а то и успокоить его. В конце концов прихожу я к Геннадию Павловичу крайне редко — раз в полгода, раз в год. Я ведь тоже умею смотреть на него не личностно.

Он мне — никто.

Вероятно, для его апатии обязательна прежде всего эта картинка, когда в субботние бездельные часы Геннадий Павлович, интеллигентный и умный человек, полулежит на диване в наглаженных брюках и в белой сорочке; закинув голову, он смотрит то в потолок, то на полотно на стене, изображающее рериховскую Индию размышлений, красно-синие горы, белые их пики, притом что размышления самого Геннадия Павловича скользят вовне и к горам отношения не имеют. Он (как и многие в свой час) пробовал когда-то проникнуть в их красно-синий мир, но не нашел там обещанного покоя и, увы, вообще ничего, кроме пресноты, скуки.

С полотна он переводит взгляд на календарь. Сегодня и завтра на службу не идти, дальше — понедельник, когда он вызовет врача, если апатия совсем одолеет, или зачтет его сам себе за библиотечный день, хотя начальство зачету радо не слишком. Он лежит, он едва встает, чтобы выпить чаю; он почти не ест. В понедельник, когда он будет полеживать на диване, в его отделе — в двух смежных, как длинная кишка, комнатах — из полутора десятка его сотрудников те, кто постарше, будут покуривать, кто помоложе — посмеиваться на его счет, мол, *Дублон* наш опять дома уединился, *попивает, как же иначе*, а злодей Птышков будет вбегать к высокому начальству и там фыркать:

— О каком научном контакте с их отделом может идти речь, если Голощеков опять на бюллетене...

В один из таких понедельников, едва я вошел, Геннадий Павлович стал жаловаться, что апатия — его бич, беда и что, ей-богу, его скоро выгонят с работы, и пра-

вильно сделают. Потерян некий итогово-отчетный лист, так как Геннадий Павлович взял часть материалов для авральной работы домой, а здесь его настигла апатия. Впрочем, отчитаться он успел и сумел. А вот бумагу потерял. И никак не найти.

С работы названивали, с самого утра разъяренные голоса кричали на него в трубку, он же был болен, был вял, и это было болезнью, а не было только вялостью. И когда они кричали, даже грозили, он совершенно искренно отвечал:

— Не могу найти... Да, я лежу... Да, болен.

И вот — звонок в дверь. Пришел человек, мужчина, и Геннадий Павлович как-то сразу испугался, потерял лицо, оттого только, что человек, едва войдя, прошагал в комнату и, оглядевшись, этак небрежно сел в кресло. Заговорил человек грубо, жестко. Спрос — дело нехитрое, тем более нетрудно вести себя по-хамски, если тот, к кому пришел, разбит длительной апатией, заторможен и настолько далек сейчас от дел, что уж заранее чувствует себя виновным и получающим зарплату зря.

Хамоватый мужчина ругал, а закончил просто:

— Вы поищите, поищите. Вы ведь потеряли.

— Где же я поищу?

— Да хоть в этой горе...

Хам еще и пнул ногой гору книг, каких-то бумаг и коробок из-под обуви, тоже почему-то оказавшихся посреди комнаты и украшавших общий вид (вид не столько сорный, сколько громоздкий). Он пнул ногой, затем перешагнул и прошел сам на кухню, налил себе стопку водки, выпил — затем, вернувшись и отстранив, почти оттолкнув вяло склонившегося над бумагами Геннадия Павловича, подступил к телефону.

Он позвонил, видимо, вышестоящему, а может быть, начальнику первого отдела.

— Нет, он не пьян,— сказал он,— но тут такой бардак, черт голову сломит. Завал книг. Что значит, в каком он состоянии? Я же не психиатр. Шут его знает,— скользнул он глазами по согнувшейся над бумагами фигуре Геннадия Павловича,— обычный он, но только пришибленный, дохлый...

Докладывая, он одновременно водил кистью руки — указывал Геннадию Павловичу:

— Вы все-таки ищите, ищите...

И вот мы — я и Геннадий Павлович, два взрослых

человека — лазали и искали: ползали на коленках по завалу книг и бумаг, *у холостяка, разумеется, горы книг — хоть что-то в жизни*, как сказал тот хам по телефону своему начальству, он докладывал, но он еще и рассуждал: холостяк, мол, без книг — это просто развалина или пьянь. Ползая, я время от времени извлекал бумагу — не эта ли?.. Как всякий ценитель, Геннадий Павлович, прикупая книги, с удовольствием перебирал их все вместе, раскладывал, рассматривал, читал, но так случилось, что апатия в этот раз застигла его не только посреди отчета, но и посреди перебирания книг. Так что в комнате была и гора книг, и гора отчетных бумаг.

— Не эта ли?.. — спрашивал я. И опять: — Не эта?

Тот тип, хам, в отдельные минуты все же смотрел на меня как на возможного собутыльника Геннадия Павловича, предполагая, что пили вчера и что сегодня мы бы тоже хоть понемногу выпили, но вот он пришел от начальства, и потому мы тихо умираем, но похмелиться в его присутствии не смеем. Он жестко улыбался: сидя в кресле, он покуривал и стряхивал пепел на пол: в сарае, мол, как в сарае.

Он мне очень не нравился, но, боясь Геннадию Павловичу навредить, я, гость раз в полгода, не вмешивался и тем более не шел на ссору.

Тот тип ушел.

Я спросил:

— Это и был Птышков?

— Нет.

— А кто?

— Один из них. Его человек...

Работа в НИИ не доставляла Геннадию Павловичу с его умом никаких сложностей; были похвалы, было немало поощрений, однако он и в лучшие дни не притворялся и отношения не скрывал: он считал работу свою делом незначительным. Но пришел возраст с признаками раннего старения, и Геннадий Павлович уже не устраивал ни тех, кто когда-то его хвалил, ни тех, кто сейчас был в его подчинении.

(Работа, в сущности, его уже мучит.)

Пауза.

Тот человек ушел, и вот Геннадий Павлович хотя и вялый, хотя и после определенного служебного унижения, но делается вновь по возможности вальяжен, рассудителен.

Я (ему не мешая) молчу. В эту возвратную минуту особенно видно, как потускнело былое великолепие духа. Его слова малоинтересны. Он повторяется. А одиночество и даже потеря бумаги вдруг ставятся опять в вину мне. Нет, не персонально мне, а мне вообще, мне как человеку вполне семейному, вполне работающему, вполне поладившему с жизнью, и всякие тут другие вполне, вполне, вполне, которых на деле у меня, быть может, и нет, но и оспорить которые я не могу, иначе он будет думать, что к тому же я отнимаю у него и последнее — право быть обиженным. Когда душа жалуется, дух живет. Разумеется, Геннадий Павлович достаточно умен, и, разумеется, обвиняет он, изысканно и в меру обобщенно, его *окружающих*. Но ведь этих окружающих нет: никого нет. Есть только я, раз в полгода к нему приходящий, более или менее случайный человек и случайный приятель — просто сосед по человечеству, как выразился он однажды.

(Но удивительно вот что. Я и правда уже привык чувствовать себя в его судьбе отчасти виновным; и чувствую это, едва переступаю порог.)

Помнится, речь его была ярка и колка именно за счет необщепризнанных суждений.

— Я настораживаюсь, когда беру в руки всякую книгу.

Так сказал он о необходимости веры вместе с необходимостью неверия когда-то в пору своего блистания.

Только что был тот хамоватый тип, и мы оба ползали, ища важную потерянную бумагу, но вот, непосредственно за той, следует иная минута: мы вовсе не ползаем, а сидим в креслах неподалеку от той самой неприбранной горы книг и бумаг, толкуем, рассуждаем, сидим в довольстве собой и не без значительности; Геннадий Павлович читает Сартра, бегло мне переводя. Мы не те люди, что оправдывались. Мы — другие. И гора книг — другая гора, и бумаги вокруг нас другие, так что если сейчас мы ту бумагу случайно найдем, наткнемся, то, пожалуй, и не вспомним, зачем она, в руки не возьмем — мол, бумажонка.

Сурово и одновременно доброжелательно Геннадий Павлович объясняет мне, хоть я и не просил, почему мне не следует, *не должно* писать повестей-портретов.

— Портрет ничего не может выразить, даже и того, что он портрет.

Еще:

— Портрет как всякий жанр — заблуждение. Игра с собой. Но и хуже — игра с читателем.

Еще:

— Портрет и сюжет — два глупых всеобщих мифа, за которые пишущие люди держатся, как римляне за греков.

Затем Геннадий Павлович наконец успокаивается, стихает. Он не перебарщивает. Чуткий.

Я встаю. Пора.

— И отчего эти апатии? — спрашивает уже с искренним возмущением Геннадий Павлович, прощаясь со мной.

Он вздыхает:

— Совсем замучили. По две-три недели не могу книги прочесть, не могу даже пальцем пошевелить...

Мне хочется, как это бывает в завершающемся разговоре, также пожаловаться, сказать, что я, мол, тоже не примерен и тоже по две-три недели в течение года ухожу *в бега*. Да, да, тоскую, как бродяга, и не могу жить в семье, ухожу. Да, две-три недели каждые полгода. Да, дергаюсь. Да, бывает и чаще... Но я не скажу ему — не стану соединять одно и другое, хотя, может быть, эти наши отхождения от нормы (его апатии и мои побеги) как раз соединимы. Я промолчу, так как, по мнению Геннадия Павловича, ничего подобного со мной быть не может. Тут что-то — что не в словах. По выданной мне роли у меня уже налажен контакт с людьми и с жизнью вообще, и, стало быть, я не могу здесь пожаловаться. Ни у него. Ни у нее. Меня не поймут. Он подумает, пожалуй, что ирония.

У Нинели Николаевны на работе тоже непросто; возможно, она слишком требовательна к людям, но уж такая она. Она молчит. Но молчание ее всегда чревато. Она, к примеру, терпеть не может каких бы то ни было делишек, тем паче продаж и перепродаж, а как раз сегодня сослуживица принесла на работу туфли, которые оказались ей велики. Или, напротив,— тесны; она в уголке возле шкафов жалуется на свои натертости, а заодно показывает и туфли — ее обступают, и кто-то, сослуживец, соглашается купить для своей, что ли, жены и передает уже деньги, как вдруг, сначала ими не примеченная, резко вмешивается Нинель Николаевна. Оказывается, она не

пошла на обед. Она возмущена, и даже не мещанским их дельцем, а мещанской их суетливостью вокруг, улыбками их, радостью — и ведь мужчина, мужчина купил, какое падение!.. Бацнув дверью, Нинель Николаевна уходит наконец обедать. Туфли скоренько продаются. Но на лицах сослуживцев удовольствия нет. Обряд испорчен. И, разумеется, недовольны (мягко говоря) Нинелью Николаевной особенно женщины, так как пять минут покрутиться возле туфель в обеденный перерыв на службе — милейшее ж дело, радость! Чего она к нам вяжется?.. Но ведь еще и после работы Нинель Николаевна, выйдя из проходной, пристраивается и шагает чуть сзади той самой сослуживицы на пути к автобусу.

И негромко ей говорит:

— Ну, как *дела*?

Мол, туфли, блузки, удается ли и дальше спекулировать вам, милая,— хорошую ли дают цену?

И, обгоняя, шепчет:

— Продолжайте, продолжайте — желаю успеха!

Но печальное происходит через месяц-другой, когда Нинель Николаевна вдруг понимает (*вдруг* через два месяца — для нее характерно), что женщина вовсе не перепродавала, а по необходимости и за нормальную цену принесла продать, сбыть купленные для себя туфли и что именно тесны были туфли, малы, куда ж деться. Понять — это ведь еще и простить. С прощением вместе всколыхнулась совестливость. Нинель Николаевна теперь уже и сама додумывает (и надумывает) подробности: сослуживице, мол, деньги были остро необходимы, бытовая драма, и муж, мол, попивает, и ребенок, мол, болен. И далее и все более и более привносит в тот случай Нинель Николаевна жалостливой психологии, так что в одинокости своей уже страдает, страдает подлинно и больно. В отделе давно забыты те туфли, мелочная стычка возле шкафов забыта, уже были другие, как бы сезонные стычки меж сотрудниками, и эти, другие, тоже забыты, все потонуло в текучести, в жизни, в череде служебных мелочей, а Нинель Николаевна мучается. Теперь она понимает, как глубоко она была неправа: обидела человека.

Она хотела бы загладить вину, но как? И рассказать (передоверить) некому — и вот, с накопившимися повинными словами и угрызениями, Нинель Николаевна покупает однажды билеты в театр, после чего зовет ту женщину, искренне и дрогнувшим голосом зовет ее пойти

вместе в театр, на неплохой спектакль, но та наотрез отказывается. Той и правда некогда: дети. Да она и вообще не хочет!.. И, вспомнив вдруг первопричину, та женщина вызывающе улыбается:

— А знаете, мне интересно, что вы сделаете теперь с лишним вашим билетом, дорогая Нинель Николаевна?! — смеется она, намекая с известной долей наглости, что Нинель Николаевна одинока, что пойти ей не с кем и что — о ужас! — не придется ли теперь и ей продать один из билетов с рук, как были проданы те тесные туфли.

Нинель Николаевна и точно продала билет у входа в театр, твердя себе, что пусть же наконец случившееся станет уроком; довод в пользу; вся в поту и боясь на окружавших ее оглянуться, она заставила себя продать лишний билет какой-то подскочившей девице, продала, вошла в театр, но и спектакль не радовал, ибо внутренние мучения еще не улеглись, длились.

В отделе, если по возрасту, Нинель Николаевна самая старшая, сорока-с-лишним-летняя женщина, со следами кой-какой былой красоты, строгая, строго одетая, которую они все терпеть не могут.

При виде курильщика, хотя бы и в коридоре, Нинель Николаевна издает крик, клик лебедя; мол, человек совершенен, и как же можно окружающих тебя людей травить; курить — подло, гадко; курить — все равно что открыть газ на ночь в жилой квартире!.. Она не жалует разговорчивых сотрудников, ей не по душе слишком суетные и деловые, но особенно же курильщиков преследует она, как фурия, как сама неумолимость, отчего уж давно гуляет по коридорам и по отделам НИИ нестареющая шутка, что курить вредно не потому, что можно умереть от рака, а потому, что можно умереть от свирепой Нинели. Облик (да и образ) худой и крикливой полустарухи уже как бы маячит впереди ее жизненного пути, ожидает ее, чтобы лет через пять — восемь совпасть с ней уже навсегда.

Есть у них К., молодой карьерист, недавно появившийся в отделе и всех раздражающий; однажды решили, что в запланированную уже командировку с К. заодно под видом необходимости отправят и Нинель Николаевну, именно чтобы досадить ему; и чтобы она, в свою очередь, какое-то время тоже не мозолила всем глаза, давала

курить. Вопрос был решенный. Они заранее тешились хорошо вызревшей, сладкой мыслью о предстоящем общении их с глазу на глаз в течение двадцати дней, они предвкушали, они ждали, они похохатывали загодя, а затем кто-то из них вдруг сказал, что ему молодого К., этого жуткого карьериста, жалко.

— Нет, мужики,— сказал он.— Как и вы, я этого К. не перевариваю и готов пожелать ему всех зол, но то, что мы задумали, *это уж слишком.*

— Да,— вздохнули и другие, поразмыслив.— *Это* слишком, да, да, это бесчеловечно.

Общими усилиями и с общей мукой они все вместе терпят и как-то выносят крикливую фурию, но каково будет вынести ее в одиночку, нет, нет, мужики, есть же предел!..

Когда появилась молодая и красивая женщина Валя, решено было отдать ей место какой-нибудь стареющей сослуживицы — и, конечно, совпало с желанием избавиться от Нинели. Пошли разговоры: а не перейти ли вам, уважаемая Нинель Николаевна, в другой отдел? А что-то наша Нинель Николаевна плохонька в последнее время — она не справляется с объемом работ, как вы считаете?.. Нинели Николаевне пришлось воевать и, в частности, на волне своего возмущения и гнева пришлось пойти к начальству, там она защитила себя, она именно сумела себя защитить (не более того), но тогда в отделе стали считать, что она сделала некрасивый, подлый шаг — написала донос.

Первое время Нинель Николаевну (отстоявшую свое место и ставку) их разговоры не задевали; она еще победоноснее делала поутру гимнастику, подкрашивалась, прятала, как могла, морщины. Держалась независимо и гордо. Но опять, увы, *Нина — это Нина.* Именно когда страсти улеглись, когда сослуживцы поуспокоились и даже смирились, она спустя месяц-два вдруг стала припоминать и мучиться прошедшей склокой. Ведь как-никак она жаловалась. Ведь это ей(!) кажется, что звонила она начальству в гневе и ярости и что обратилась с жалобой, а что, если она обратилась — с доносом? Ведь как смотреть — так и видеть; и разве не предала она даже возможностью этих грязных предположений свою высокую и прекрасную юность? И кому же она пожаловалась —

начальству?.. Несколько еще дней Нинель Николаевна мучила себя, упрекала, стыдила, казнила юностью, а потом открыла ночью газовые краны, домучив в одиночестве себя до того, что, мол, хватит жить. К счастью, обошлось. Два дня рвоты, две недели тяжелейшей депрессии. Она болела, и, разумеется, на службе никто ничего лишнего не узнал. (Она слишком горда, чтоб бить на жалость. Они могли б подумать, что она открыла краны из-за них — мол, угрызения совести. А угрызения были не из-за них — из-за себя.) Она просто болела, вот и все.

В те дни ее пересадили (она не спорила) за стол, что в самой глубине комнаты — как бы в нише, и еще больше стали заваливать работой.

Они уж не пытаются от нее освободиться — побаиваются и только по-прежнему над ней посмеиваются. Она их презирает и по-прежнему спуску им не дает. Строгости с дисциплиной дали и им и ей взаимные дополнительные возможности.

После того как она наглоталась газа, ее лицо несколько дней дергал тик, а сама она впала в полное безучастие.

В такси мы ехали тогда к врачу, с которым была договоренность. Дни напролет до этого Нинель Николаевна молчала. Мы ехали, потом стали у светофора, и Нинель Николаевна вдруг тихо проговорила:

— Вспомнила тот дом.

Мы стояли, пережидая поток машин, а она повторила тихо:

— Вон тот...

И показала рукой дом напротив перекрестка. Обычный московский старый дом. Она не помнила, чем или как он был связан с ее жизнью, не помнила ни событий там, ни людей. Но сам дом помнила. И, когда машина поехала дальше, она, повернув голову, долго за ним следила. Лицо было освещено; было заметно, как тик дергает левую щеку.

В каком-то смысле она несгибаемая; ее не согнуть; она сидит, загруженная однообразной и, вероятно, бесконечной обработкой смет, скучной, в сущности, работой, которую тем не менее она рьяно делает. Этим пользуются,— как заведенная пересчитывает она смету за сметой, а они

знай подбрасывают. Быть может, они, немужественные, попросту ждут, что однажды она устанет (откажется, уйдет в другой отдел, кто знает?..) Приносимая ей гора бумаг растет. Иногда скопившиеся на ее столе папки с грохотом падают.

Вечер. Час пик. Нинель Николаевна идет с работы домой, вместе с ней с работы движется весь огромный поток женщин из московских контор и организаций, статистических, экономических, строительных, госстроевских, госплановских и прочая, прочая; она одна из тех женщин с высшим техническим образованием, что заполняют всю жизнь простые и непростые бумаги, переделывают, переписывают, вычисляют, составляют сметы, отчеты, регистрируют, собирают и затем пересчитывают все наново. По сути, день кончился. Дня нет. Проделанная работа кому-то, разумеется, нужна и важна и даже присматриваема сверху начальством, однако смысл, некий главный смысл проделанной работы от Нинели Николаевны далек, и потому сейчас, по возвращении домой, в голове не остается и следа — только усталость.

Дома Нинель Николаевна сразу же окунается в свое одиночество: лицо обдает запахом пустой квартиры, бытом, тишиной, несделанными делами. Переодевшись, она машинально принимается за уборку: убирает, чистит. Пройдет там, пройдет здесь. Вдруг, вытирая пыль, с тряпкой в руках застывает и смотрит куда-то вбок — как бы не понимая, а что, собственно, она делает, зачем?.. Главный смысл дела, то бишь смысл чистоты в безлюдной квартире, и тут на миг ускользает от нее. И тогда, наскоро закончив уборку, она садится молча в угол, где есть дело, давно найденное и своей, вечной новизной ее радующее: Нинель Николаевна вяжет. Она вяжет то спицами, то крючком, модным и с современными возможностями; в параллель одним глазом она смотрит включенный телевизор. Минута проходит. Другая. Третья. Руки уже вошли в работу и в ритм — мысли Нинели Николаевны становятся далеки, туманны, не вполне контролируемы и начинают мало-помалу кружить, как смутные образы.

Да, она фантазирует.

И поскольку эти досужие выдумки одиноких вечеров занимают определенную часть ее мышления, у выдумок есть право потребовать свою долю и в живой жизни,

есть право и возможность ожить и вдруг войти, вклиниться в разговор:

— ...Появился у нас симпатичный человек. В соседнем отделе,— говорит мне Нинель Николаевна (несколько неожиданно).

— Поздравляю.

— Да, да, наконец-то!.. Знаешь — незаурядный человек, умница, и, разумеется, отношение к женщине, а какой утонченный театрал!

И добавляет:

— Оно и понятно — человек *нашего выводка.* (Упрек мне; но опять же упрек не мне лично, а мне вообще, точь-в-точь как у Геннадия Павловича, когда я к нему прихожу.)

Через год или через полгода (в следующий, скажем, мой приход) Нинель Николаевна отчасти забывает, что говорила прежде,— мечты и фантазии ее производства очень легки и достаточно взвихрены, чтобы за год-полтора, что мы не виделись, вполне рассеяться. Фантазии к тому же неопределенны неназываемы точно и, можно предположить, меняются меж собой именами, позициями, но не сутью. Так что полгода спустя фантомы могут и рассеяться, и даже вновь объявиться в своем изначальном виде — в виде чуткого ожидания:

— Ах, если бы у нас на работе, хотя бы в соседнем отделе, появился умный человек, театрал, ценитель прекрасного!

И добавляет:

— Но ведь для этого он должен быть человеком нашего выводка.

Она старше меня на чуть: нет проблемы поколений, но есть проблема старения и — кто знает — урок ухода.

Они, мол, остались достойны себя. Они такие. Даже и потесненные, сошедшие на нет, зажатые в одинокие углы, они остались, уходя, самими собой, в них не было и нет усредненности и прагматизма — в них было и есть лицо. (И опять-таки это упрек людям *вообще* — людям, из несметного числа которых ее послушать приходит один-единственный человек, я, так что и здесь упрек адресуется ближайшему соседу по человечеству.)

Время берет свое.

Когда я к ней прихожу, Нина уже очень неспешно встает со своего теплого места в углу дивана, что напротив телевизора, и так же неспешно открывает мне дверь.

Каждый год приносит лишние полсекунды промедления; и, приходи я с секундомером, ее повзросление, прибавление лет можно было бы вычислить точно. Я, предупреждает она, сегодня вялая... Это значит: она сварит кофе, выложит что-то на стол, но суетиться вокруг стола не станет. Я для нее не гость даже, потому что гостей у нее уже давно не бывает. Она пропускает меня в дверь, возвращается на диван, берет спицы и продолжает вязать. И давным-давно нет уж у нас восклицаний: наконец, пришел! Ого, кто пришел!..— ничего похожего нет, хотя прихожу я крайне редко, и она вполне могла бы обрадоваться. Сев в угол дивана, берет спицы, *я вялая*, и тогда я сам иду на кухню, где ставлю кофейник на огонь. Я ей — никто; притом что и по делу, скажем, я ей не нужен. (Тем более не по делу.) Зачем же я прихожу? Этого я не знаю. Так повелось.

Быть может, вся причина в когда-то усвоенном мной чувстве восхищения их юностью, как и в чувстве тихого тоскливого страха за их теперешнюю несудьбу, за их одиночество, а иногда — в страхе за их жизнь, хотя не исключено и то, что оба они более или менее меня переживут. (Он старше меня на десять с чем-то, она и вовсе года на три-четыре, что, как известно, слишком малая фора, чтобы наверняка знать, кто кого похоронит.)

— Как видишь, одна — что поделаешь!

Нинель Николаевна теперь иногда жалуется, чего прежде не бывало.

Она сидит, вяжет — худощавая, но с фигурой; со следами красоты и определенно с неплохой фигурой, но, конечно, без той полноты, без того лишнего жирка, который в глазах подвыпившего и, скажем, простоватого мужчины сделал бы ее привлекательной вдвойне и в известную минуту неотразимой. Так и есть: ее фигура, еще более ее красивое лицо внушают мысль, что она строга, интеллигентна и что ее надо полюбить, тогда только у нее, мол, с тобой да и у тебя с ней в таком возрасте, возможно, что-то получится. А какие глупые, грубые вокруг мужчины! Куда перевелась их чуткость, их смущенность в отношениях? Что стало с миром? С любовью? Нина замолкает, вяжет. Могла бы продолжить перечень, но зачем. И вновь видно, что слишком худощава, со следами красоты и что ее непременно надо полюбить, а уж тогда искать общения и близости.

Было время, когда подступали сорок лет и когда она

вдруг сильно занервничала, но и тогда она не поглощала торты, не пила пиво со сметаной, от которых, как ее уверяли, заметно поправляются. Она и тогда держалась на внутреннем порохе. Правда, она продолжала неуклонно ездить на юг, где само море или сами горы помогают чувственной жизни, но ее поездки на юг — почти привычка. Там иное. (Привязанность Нинели Николаевны к летним отпускам на юге крепится вовсе не на последней надежде.)

Лишь иногда она жалуется, что упустила свое время. Спрашивает:

— Я очень худая?

— Нет.

— Ты скажи на прямой мужской взгляд. А не на прописной.

Смотрит она пристально, ждет, что я скажу.

Говорит:

— В юности такая фигура вполне сошла бы. А вот сейчас такие стройные и тощие не в чести — поезд ушел, так?

Или:

— Помнишь, ты рассказывал о рыбалке своей?

— Ну.

— Ты сказал, что погода была плохая, отвратительная. Совсем не клевало... Всего-то и клюнуло два-три раза, но ты, мол, оба раза от такой погоды был сонный и не подсек...

— И что?

Мы разговариваем с перерывом примерно в полгода, но разговоры наши вполне можно подклеивать один к другому и другой к третьему, отчего они без усилия сложатся в некий непрерывающийся диалог, с некоторыми разве что повторами. (В этой легко склеивающейся, общей записи было бы ощущение, что я прихожу к ней каждый день. Удивительно.)

Но характерно, что в каждом нашем разговоре, в каждой сценке, где Нинель Николаевна жалуется, она жаловаться вовсе не хочет и потому, оказывая чувству сопротивление, в середине своих слов (а уж в конце их обязательно) она хотя бы на миг распрямится и скажет:

— Что-то я жалуюсь, а?.. Наверняка это ты заразил меня нытьем.

Мужчины сердцем ленивы либо грубы; на истинный, честный порыв ее душа откликнулась бы тут же, душа есть душа, и она, Нинель Николаевна, говорит о себе вполне ответственно, уже не считаясь с собой, но считаясь с своей жизнью; с какой стороны ни тронь, душа была переполненной и набухшей в те годы, но душу не хотели, того хотели, этого хотели и еще этого — чего угодно хотели, но не души... идиоты!

И под занавес непременная оговорка:

— Не ты ли, Игорь, как приходишь, заражаешь меня нытьем, а? Или это погода такая?

Фантазия о появлении у них на работе мужчины их выводка, умницы и театрала, как бы соревнуется с другой ее фантазией. (В будущем эта другая фантазия оттеснит первую, одержит верх. Отчасти образ, отчасти ее личная выдумка — мужчина — офицер русской армии периода кавказских войн, стройный и благородный душой, умный, образованный, к тому же чутко относящийся к женщине. Что-то срединное между поручиком Одоевским и подпоручиком Оболенским,— на миг *он* уже здесь, в нашем разговоре, точнее, он в ее сознании, в зеленовато-радужном мире ее глаз, куда спроецировался мир внешний,— там есть воздух и есть объем, Кавказ или Крым, и там движется по узкой летней тропе этот образованный офицер, эполеты его блестят уже издали, и издали же следует легкий и отточенно вежливый наклон головы, поклон. Волевым усилием Нинель Николаевна отодвигает, прячет видение — оно для лета!)

И вновь оговорка; дабы не истолковал я ее высокие помыслы как бытовую тоску по мужчине, она ищет свой гнев (как ищут под рукой оружие), находит слова — и, не смущаясь непоследовательностью, что, в сущности, очень последовательно,— нападает:

— Несмотря на все ваши успехи и вашу практичность, изнутри вы неверящие; и лишенные светлого начала — нытики!

Запись полгода спустя:

— Вы — жалкие прагматики, вы хуже, вы даже много хуже, чем прагматики, вы — специалисты!..

И еще:

— А посмотри, как вы гнетесь, как прилипаете к жизни, как подползаете друг к другу: в своем НИИ слышу ежедневно, как вы разговариваете с хоть мало-мальски влиятельными людьми, да вы же, говоря с человеком, оглядываетесь, *и на всякий случай* вас переполняет тихая дрожь, вы как слепцы, что боятся наткнуться на забор...

Нина — мягче, добрее, женственнее. Но иногда ее ум именно таков — мужской лаконичный ум, с жестким стержнем одиноких раздумий. «Человек устает и вознаграждает себя за нереализованную юность, как умеет, но чаще всего — выдумками. У меня, Игорь, тоже *свои* выдумки. Что поделаешь!» — сказала она как-то, смеясь, но смех не скрыл сути. И отнюдь не импровизация: мысль! То, что пресловутый человек их выводка или тем паче стройный двадцативосьмилетний офицер былых времен не столько ее выдумка, сколько самонаграда,— это сильно. Мол, не просто же так фантазирует, и вовсе не просто и не как попало дополняет человек блестками своей фантазии самого себя, он дополняет, как наполняет, с чувством соответствия, где и качество выдумки — степень награды.

Вечер поздний. Нинель Николаевна в теплом углу дивана — вязание не только как выход из домашнего одиночества, вязание как образ жизни. Нинель Николаевна продолжает вязать и тогда, когда телевизор договаривает последние слова, бельмо его вот-вот мигнет и уже окончательно подернется холодной синькой.

И посуда перемыта. И впереди ночь.

Нинель Николаевна встает, смотрит из-за шторы в там и там гаснущие окна. В иных окнах свет подолгу, и можно терпеливо в них вглядываться, призывая посильно воображение. Только вечером, у окна, на какой-то короткий промельк времени она позволяет себе подумать о мужчине. В конце концов, это все, что мне осталось, говорит она о себе с улыбкой (и относится к этому как к человеческой слабости).

Возможно, что совсем недалеко, да хоть в том угловом доме, живет человек их выводка, с той же тоской, с той же порядочностью в крови, чуть заждавшейся и чуть закисшей от времени. Сколько окон!.. Тьма. Тьма. Свет. Тьма. Тьма. Тьма. Свет... Жизнь уже вышла на последнюю прямую. (Времени для маневра нет.) Она бы, конечно, рискнула — она бы рискнула в любом случае и в любой,

пожалуй, подходящей ситуации, потому что скоро и жизнь, и ее женский риск будут обесценены старением, лишены смысла, разве что смешны.

Или, может, завести животное?

Она наливает оставшегося на дне кофе; с чашкой кофе в руках, с половинкой конфеты она недвижно стоит у окна. Глаза — там.

Можно подумать, что я пропагандирую браки одиноких.

Геннадий Павлович один, в квартире его наконец убрано, правда, чуть пыльно. Но пыль — обычность. На книгах, на книжных полках, на стеклах книжных полок — легкий манящий слой, так что движение пальца оставляет след. Читает Геннадий Павлович по-прежнему много, запойно, беспорядочно, двигаясь одному ему известными путями и возбуждая себя все больше и больше откровениями (и авторскими недомолвками) разных веков. Век — как автор.

Сверение своей жизни с некоей длящейся жизнью духа не самый плохой путь саморазвития, и когда-то путь вознес Геннадия Павловича в его интеллектуализме очень высоко, да и теперь, при раннем старении и апатиях, это не самые плохие дни. Конечно, у нынешней его мысли нет острия. Мысль — кружит. Он копает и копает идею *роя*, идею, которая из ведомой (поначалу) стала для него ведущей — идею необходимо совместного бытия людей. (В которой, возможно, изнанка боязни подступающего одиночества.)

Геннадий Павлович завел себе кота; прожив до года и едва-едва достигнув боевой зрелости, кот сбежал, после чего Геннадий Павлович взял себе другого, совсем малого котенка, но и тот, войдя в сок, предпочел обширные подвалы соседнего дома, где скоро погиб после трудов санэпидемстанции. Геннадий Павлович лишь разводил руками, печалился; он их всех звал Вовами. А у меня кот Вова, говорил он.

Наконец у него появился черный с белым галстушком Вова, который, убегая, исчезал на месяц-два-три, однако спустя время появлялся; кот был зрелый, сильный, хитрый

и держал, что называется, при себе и то и это: и квартиру Геннадия Павловича, где появлялся лишь на несколько дней, и подвалы, где он мог пропадать подолгу и резвиться. Кот не сжигал мосты окончательно.

Геннадий Павлович слышит за дверью мяуканье и впускает.

— Ну что, проголодался? — спрашивает он кота и кормит его. Насытившись, кот забирается на радиатор отопления и немедленно, растянувшийся, распластавшийся там, засыпает. Ни ласки, ни общения он не хочет. (Какой прок от гулены!)

Геннадий Павлович глядит в окно — сквозь клены и березки, высаженные возле дома, ему видится, что кто-то идет, а это ветер треплет ветки и листья, отчего листья приходят в круговое движение.

Кружащая игра света напоминает ему косые лучи в студенческой аудитории, которые (все более искоса) смещались, скользя с лица на лицо. Вечерней размягченностью духа Геннадий Павлович вызывает в памяти ту давнюю группку, стайку очаровательных юных женщин. что так трепетно слушали Хворостенкова, говоруна, мечтателя, чуть ли не трибуна, что садились во втором, в третьем ряду аудитории, следя влюбленными глазами, в то время как за ними следил смещающийся солнечный луч.

Уже ночь или почти ночь, а он так и не разделся, не погасил свет — лежит, глядит в потолок. Сон придет, сморит, тогда можно и раздеться.

Но по следу памяти, как-то само собой, Геннадия Павловича вдруг прихватывает ненадолго полуночное возбуждение, минут на восемь — десять, после чего иссякает, но за тянущиеся сладкие эти десять минут душа алчет, мысли куда-то летят, торопятся. Он вдруг забывается. Не вполне отдавая себе отчет, путая что-то с чем-то и страстно желая услышать хоть звук человеческого голоса, он подскакивает к телефону, хватает записную книжку, на девять десятых белую, пустую, давно забытую,— на белом поле листика глаза натыкаются на некий номер, и, боясь передумать, боясь смутиться и на полпути передумать, Геннадий Павлович торопливо звонит. И говорит женщине, лица которой сейчас даже не представляет:

— Извините. Извините, пожалуйста, за поздний звонок... Хотел вас спросить...

Женский голос грубоват:

— Ну!

— Ради бога простите... Просто хотел узнать ваше мнение о...

Тут Геннадий Павлович сбивается; и тогда (лица покрасневшего никто не видит) как с места в карьер он бросается не в свою, но в чью-то отрывистую и развязную манеру, которая сейчас (как выручалочка) ему поможет, поправит, улучшит: привет, привет, Верочка Петровна, ты, кажется, совсем меня забыла — нехорошо! — кричит в трубку он как бы с укором, басят, нажимая на слова и одновременно робея и изрядно боясь женщины, которую он видел, кажется, всего однажды. Он вдруг находит слова. Не знающий, что ей сказать, он все же знает: и каким тоном говорят в подобных случаях напористые мужчины, и как укоряют, как даже и сами зачем-то упрекают, выговаривают женщине вне всякой логики. (И ведь как-никак он уже говорит с человеком, общается!)

— О господи, да это вы, Градусов! — наконец вспоминает она. И только теперь по хрипотце в голосе Геннадий Павлович тоже сразу и ясно вспоминает ее, тот пошловатый вечер и то, как шутник Даев зачем-то в кафе представил ей малопьющего Геннадия Павловича как Градусова, *юмор у них такой...* Как живете? что теперь пьете? Ее голос — как бы спокойная проба на радость. Но Геннадий Павлович (узнавший и узнанный) сразу сникает; ему тоскливо, и он не пытается оживить всплывшее случайное знакомство — не тщится хоть как-то наладить. Сникает и она. Оказывается, он звонит просто так, без повода. Выяснившая к тому же, что звонит он от себя лично, а с своеобразно обаятельным Даевым уже не знается, женщина теряет к нему и косвенный интерес. Она уже обрывает фразы: мол, ночь. Затем круто сворачивает, а в самом конце разговора, уже осознав всю эту ночную нелепость, еще и сердится: *да вы же пожилой человек, солидный, вам не стыдно?* — женщина входит во вкус обиды: что это вы звоните на ночь глядя и говорите с женщиной в таком развязном тоне: привет, мол, крошка!

— Я так не сказал — я сказал: привет, Верочка Петровна...

— Но тон был игривый: привет, мол, крошка... Такого я не терплю!

— Да разве же я сказал — крошка?

Слова теперь скачут как попало, то нелепые, то какие-то зыбкие, шаткие слова. Наконец, выкрикнув что-то злое, она отключается, после чего и Геннадий Павлович, обессилевший от неожиданного и напряженного оправдания перед женщиной, чуть ли не с радостью бросает трубку: пообщался с людьми.

Возбуждение улеглось, Геннадий Павлович вяло валится в постель и в ночной расслабленности уже не помнит, что он говорил, что ему говорили.

Энергичная в той же поре юности, когда о поэзии были разговоры за полночь, если в общежитиях, и до утра, если у походных костров, Нинель Николаевна не оставалась, как многие, лишь задействованной в том мощном энергетическом поле; она создавала или, скажем, источала (поле — в поле) свою энергию: она хотела, чтоб люди двигались. Как-то, когда студенты вошли в аудиторию, на учебной доске огромными буквами было написано мелом: ВЫБИРАЙСЯ К ХОЛМАМ И ДОЛИНАМ — СТРАНСТВУЙ! — что было чуть искаженной цитатой, была и подпись: УИТМЕН... Но никто тогда не сомневался, что речь не о холмах и что это еще один выпад, острием своим направленный против всякого академизма и застоя, в частности, против доцента Кокина, зазывавшего в те дни студенческий люд на скучную научную конференцию; как никто не сомневался и в том, что огромные слова мелом написала *наша Нина-Нинель*, как ее, боевитую, тогда звали. Доцент Кокин, начав лекцию, нажал кнопку: учебная доска-лента пришла в движение, цитата и подпись УИТМЕН поползли вверх, исчезая за краем,— и ушла из поля зрения. Но не из памяти.

Казалось, ей просто необходимо сорвать скучную беседу, лекцию или банальные танцульки, уйти в лес, на реку, в поход на байдарках и именно там, двигаясь, говорить обо всем на свете. Нина-Нинель — серебристый скачущий шарик ртути. Образ дополнялся ее страстной приверженностью к поэзии, к современному тогда театру, к спорам до хрипа и страсти, до унижения спокойных и в особенности полуспокойных, но втайне, конечно, конформиствующих противников.

Затем, работая в НИИ, Нинель и там боролась со служебным однообразием (театры, поездки, походы с субботы на воскресенье) и уже там терпеть не могла те

возникающие молодые семьи, что вдруг застывали в вязкой, черной смоле быта. И ведь толковали свое уныние как судьбу! Они должны были двигаться: она упрекала их в застое, в личном крохотном счастье, в мирных домашних ужинах, взамен которым она предлагала движение — и весь мир.

Женщины застревали в семьях, в детях, в какой-нибудь долгой, никак не определяющейся любви, мужчины — в ученых советах, в диссертациях, в написании научных статей, одной больше, одной меньше, но особенно же те и другие (что мужчины, что женщины!) застревали в зависимых отношениях к начальству, когда дело касалось их продвижения или нового возникшего в их сознании блага — жилья. Бывало, каялись. Но, виноватясь, тем очевиднее они продолжали впадать в долгую зависимость, впадать мрачно и с ощущением тяжести либо весело и с иронической усмешкой над самим собой. Застревали в полученных или вот-вот получаемых квартирах, однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных — увязнув, какое-то время честно дергались, нервничали, рвались, пока наконец не обнаруживали, что, продолжая еще бегать, оказались на некоей довольно длинной веревке. Но длинная и сравнительно свободная сменялась скоро на менее длинную, затем на короткую, коротенькую, так что теперь они могли, как домашние сторожевые псы, бегать лишь вокруг своей конуры с все более жесткой на шее (и все более гремящей) веревкой, которая при чуть более пристальном рассмотрении оказывалась обычной нетяжелой цепью.

Чувствуя редеющие ряды, Нина впадала в гнев, в сарказм — она выучилась тогда точным и злым словам. Став талантливой в своем негодовании, она быстро теряла друзей. Когда она незапланированно вдруг выступала на собраниях, ее острого языка боялись, особенно же боялись те, кто еще вчера ее поддерживал, те, кого она звала двигаться и двигаться, петь песни, жечь у речки костры. Время шло. Споры о спектаклях, бурные, долгие, превращались раз от разу в обычные походы в театр, легко контролируемые, а подчас и оплачиваемые профкомом,— Нина-Нинель не терпела, не выносила скучающие в соседних рядах семейные рожи, урвавшие время «для искусства». Высмеивала их. А время шло.

Именно что боясь ее колкого взгляда и жалящего языка, все эти люди, бывшие с ней, но постепенно ушедшие и все более, по ее мнению, застывавшие в темной

смоле густеющего быта, в вязкой, топкой подначальственной деятельности,— эти люди, мужчины и женщины, сойдясь однажды в жилищной комиссии, вдруг переглянулись; было лето, в помещении — жара, и точно известно, что собравшиеся сетовали на духоту и вдруг меж собой переглянулись (в этот миг в тишине только вентилятор шумел) и, проголосовав,— дали ей квартиру. Быть может, они просто и вполне прозаически не хотели отныне надоевших ее попреков, но, быть может, подумали более тонко — сама, мол, теперь застрянь, увязни, оцепеней, притихни. (Мол, придет же кто-то к тебе поздним вечером. Кто-нибудь да осядет в теплом твоем жилье. Дом есть дом...) Но она отказалась. Дважды горделивая Нинель отказывалась от квартиры в пользу грустных матерей-одиночек, однако в третий раз те люди, что собирались в летнюю жару, улучив момент, когда матерей-одиночек (а также ушедших из семьи крикливых гениев — мужской вариант!) на близко обозримом расстоянии не было, проголосовали вновь, дали Нине-Нинели квартиру — и на руки ордер. И, чтоб не успела в чью-то пользу раздумать, быстренько-быстренько помогли с перепропиской, а даже и с переездом. Уже деятели, уже состоявшиеся уважаемые люди, лысые и с ранними брюшками, они быстро, шустро, бегом-бегом таскали ее нехитрую мебель, так что казалось, что слова не зря и что вспомнили они наконец, вняли и стали *двигаться*, пусть даже последний раз в жизни.

Ряды редели, но ведь милые сверстники, выводок тех лет кое-где оставался, и Нина чувствовала, что страсти еще кипят, люди говорят, люди не выдохлись; ей бы поискать для утоления духа (для обретения) небольшой, как бы семейный клуб на дому, полусалон, пестрый и говорливый или, напротив, тихий, сдержанный и ее достойный,— она же сменила место работы. Она перешла в другой НИИ. Хотелось новизны; и, быть может, хотелось забыть, как ее укротили, как ловко, умно заткнули ей рот двухкомнатной квартирой (сделали ее себе должной). Увидев на новой своей работе много молодых людей, она было обрадовалась, но ждал холодный душ: молодые люди были лишь внешне молодыми, и уже не Нина, а Нинель Николаевна вдруг увидела рядом всех этих *следующих* — прагматиков и приспособленцев. Она была потрясена. Что мужчины, что женщины. К тому же были они многолики — с множеством лиц. («Я ни звука о времени, ни полслова

о поступках, событиях, фактах ваших, но я хотя бы о том, что вы люди, что вы перестали двигаться!» «Но мы же движемся на работу и с работы, уважаемая Нинель Николаевна!..» И точно. Время уходило. А на работу и с работы они двигались прекрасно.) Уже и в помыслах не держа извиняться или там смущенно переглядываться, все они, что мужчины, что женщины, в открытую и со страстью занимались, как ей казалось, устройством дел, делишек, личной суетой. Воззови она здесь поспорить о спектакле или выбраться к *холмам и долинам*, они в лучшем случае подняли бы ее на смех.

— Боже мой! — вырвалось у Нинели Николаевны: на миг ей показалось, что это конец света.

Не смирившаяся, она еще и еще искала, но везде и всюду были эти новые, эти следующие, а прежние люди, ее сверстники, выводок времени, как там ни назови, странным образом все куда-то подевались. Они вдруг поумирали, хотя еще не были старыми, поразъехались, хотя умели сидеть на месте, а иные, что еще больнее, линяли: сильно и разом постарев, они отчасти уже подмазывались к этим, к новым. Была пустота. Должно быть, в каких-то НИИ все-таки работали, в каких-то квартирах жили, и, стало быть, их можно было найти — Нинель Николаевна не из тех, кто теряет надежду. Но тем сильнее (в пустоте поиска) возникала ностальгия по былому времени, больше и больше оформляясь в ожидание некоей особенной (и неожиданной!) встречи с человеком своего выводка.

Заодно и вне прямой логики, но, вероятно, в некоторой связи с несложившейся личной жизнью Нинель Николаевна в те ностальгические минуты стала любить не только свое, но и более давнее прошлое, особенно же времена Пушкина и Чаадаева, эпоху блестящих, сверхобразованных конногвардейцев.

Осевшая наконец в одном из НИИ, Нинель Николаевна вела замкнутый образ жизни; презирая следующих всех без разбора за мелочность, суету, банальность и за живучесть — да, да, за живучесть и приспосабливаемость! — она много, интенсивно, честно работала, сведя всякое с ними иное общение к нулю и лишь изредка взрываясь, если откуда-то тянуло никотинным духом: былой походнице, курение ей было ненавистно и непереносимо не только отравлением воздуха, но и маской, маскарадом, когда они,

жалкие, манипулируя сигаретой и заставляя двигаться руки, губы, мимикой придавали весомость банальным мыслям, значительность своему суетному, но не двигающемуся бытию.

Когда они решили, что самосохранения ради она донесла на них начальству, подозрение перевернуло ей душу именно потому, что они, хотя и негодовали, смотрели на жалобу-донос житейски нормально; и не без некоторого даже одобрения и пошленького восторга судили: Нинель-то оказалась умна. Мол, сумела отстоять свое теплое местечко — мол, изощрилась, ловкая, и нашла ход!.. Им не пришло в голову, что ей больно как раз оттого, что, хотя бы и на миг единый, они оказались в роли праведников, а она — доносчицей. Тогда же без колебаний она обвинила не их, а себя, и жить стало настолько непереносимо, что в тот же день, как пошли о ней разговоры, точнее, в ту же ночь у себя дома, Нинель Николаевна открыла газовые краны и за полночи надышалась так, что едва не погибла.

Нинель Николаевна рассказывала мне будто бы свой сон, где она, нагая — для снов это обычно — движется по какому-то лабиринту комнат и квартир, коммунальных или отдельных, но между собой как-то соединенных, сблокированных, и ищет там людей; не спеши с этим убогим, однозначным Фрейдом! — говорила она, хоть я и не спешил. Именно людей она ходит там и ищет, *не мужчин, а людей, отметь себе.* В квартирах и комнатах пестро: то обычный, родной наш интерьер с собраниями сочинений и с нестильной, но вполне практичной мебелью, то модерн в меру, то вдруг помещение, совсем уж смело оформленное под некие серебристые отсеки. Оттуда она вступала в жилье художника с поэзией беспорядка, вход в следующее помещение закрыт кисеей, а в следующее задернут постреливающей бамбуковой занавесью, после чего вдруг белизна так называемой арабской спальни,— да не спеши ты с подсознательным! — отмахивалась она, хоть и с этим я не спешил, молчал,— затем на ее пути и вовсе комната фотолюбителя или вдруг комната с чучелами птиц, но в каждой квартире, независимо от ее вида и колорита, всюду накрыты столы, *придите и поешьте, мальчики,* да, да, столы накрыты и кого-то ждут, и еда, мясо, рыба, закуски, заливное, горы апельсинов, яблок, но нигде людей — людей нет, и Нинель Николаевна, нагая, все ходит и ходит,

движется, выходит из одной комнаты и входит в другую, а людей нет. Столы ломятся, а еда нетронута. Книги пылятся на стеллажах. Висят картины, гравюры. Всюду даже подметено. На полу ковровые дорожки. И, конечно, повсюду телефонные аппараты, старомодные, современные, модерновые, трубка одного настенного телефона снята, и слышатся гудки: пи-пи-пи-пи. В одной из комнат журнальный низенький столик с кофейником, с тремя маленькими чашками. Кофе источает над чашкой белесое облачко пара. Людей нет.

— Уверяю тебя — я ищу выводок своего времени. Людей выводка, — говорила она, истолковывая сон и смеясь.

Я кивал; я не говорил ей, что в очередном своем нагом сне ей было бы лучше поискать — это будет вернее! — пушкинско-одоевских кавалергардов (с дуэльным пистолетом в руках и с томиком Вольтера в изголовье). Я не говорил ей, и не потому, что сдерживал иронию или сдерживал себя.

Несомненно (для меня), перекликался ее сновиденческий проход по квартирам и комнатам с вполне реальным хождением Геннадия Павловича по многокомнатному подвалу скульптора Н., отмечавшего получение премии: там было много зарисовок и скульптур, изображавших нагих женщин, и Геннадий Павлович переходил от одной из них к другой, рассматривая.

И если мою жену Аню более всего поражало, что Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не поженились, когда мы их познакомили (и ведь оба одиноки, Игорь, и ведь такие чудесные люди!),— меня удивляло, что они друг друга *не узнали*. Они не узнали, кто есть кто. Проплыли мимо. Как те две рыбы, что по-над дном так и не коснулись, проплывая рядом. Или же коснулись чутко, еле слышно, но приняли одна другую за куст водорослей, а соприкосновение алых и схожих родовых плавников — за колыхнувшийся ворс жестких донных растений.

И, если упрощать, мог быть рассказ-детектив, где два умных наших разведчика в поисках друг друга, бродят день за днем по чужой территории.

Или, скажем, шпион и шпион-связной — оба они в долгом, хитросплетенном сюжете уже и не день за днем,

а год за годом ездят по чужим городам в поисках условленной встречи. Тягость предчувствий необязательна. Минуя провалы (утонченные западни контрразведки), они вновь и вновь переезжают, отбиваются, стреляют, продираясь сквозь ночь, жесткие ночлеги, скверное питание, а также — что подчас опаснее — через мирную манящую жизнь с ее чаем и добрым разговором поутру. Но вот наконец финал, когда он и его *связной* все-таки встречаются и протягивают друг другу парольные две половинки одной и той же серебряной стерлядки, а те не сходятся. Две половинки одной и той же опознавательной вещицы почему-то на изломе не сходятся — не совпадают, и, стало быть, контакта нет. Оба (от неожиданности тем более) отталкиваются, втайне пугаются друг друга — враг врага?— и на всякий случай спешно расходятся. Каждый вновь и, быть может, навсегда прячет свою полурыбку в потаенный карман, где от времени она, вероятно, и стерлась, так как в кармане иногда были ключи, и металлические деньги, и брелок из никеля. Линия излома у них не сошлась. Почему? — а вот просто так не сошлась она, не совпала. А вот так.

Можно, конечно, представить, как век ее выводка кончился и время опустело и как остались лишь узнаваемые интерьеры. Из квартиры в квартиру и из комнаты в комнату — паласы и ковровые дорожки на полу. Люстры под старину. Торшеры. Ковры узбекские. Ковры бухарские. Сервизы. Гжель. Календари на стенах (с временами года и с морскими заливами на восходе солнца). Акварели с разнотравьем и копнами сена. Диваны. Уютные или неуютные, но красивые кресла. Потолки в комнатах низкие. Потолки высокие. Мерцающий кафель в ванных комнатах. В одной ванной комнате вода течет тонкой струйкой, не вполне закрыли и ушли.

Из всех загробных сюжетов самый пронзительный — сюжет неузнавания *там*.

Душа умершей наконец рядом с тобой — но она ли? Сложить свои рыбки, но ведь могут они не сойтись, хотя ни злые обстоятельства, ни люди теперь не мешают, хотя вокруг теперь все условия: белые кучерявые облака, райские кущи! И музыка: поют ангелы. Быть может, и вовсе утерял, утратил, и вот теперь (в раю!) она ждет, а он

только то и делает, что роется в карманах, ищет свою полустерлядку, как ищут скомкавшийся автобусный билет. Год ищет. Век ищет. Два века ищет. *Там* времени много. Он стоит *там* среди белых облаков и ищет, уже уставший, обмякший, и только руки все снуют из кармана в карман. Из брюк в пиджак. В грудные карманы. В нагрудные, во внутренние. Но найти он не может. Неузнавание. *Она векам принадлежала. Апостол небесных ворот.*

Глава третья

Аня сказала: если твоему Голощекову несильно за пятьдесят и если, мол, он и правда такой неплохой человек, как ты нахваливаешь, давай познакомим его с моей подругой Ольгой. Я ответил машинально — давай. (Существуют, вероятно, некие ступеньки, вехи биологической зрелости, по которым или, вернее, через которые шагает всякая семья, в частности через попытку кого-то на ком-то женить.)

Аня и я — порознь — сговорились со своими протеже на день и час, а затем приготовили достаточно выпивки и не самой заурядной еды, а также продумали, как водится, дополнительные оттенки, вроде желания посмотреть цветные слайды, ежели беседа не пойдет. Затем ждали. Затем вдруг оба заволновались, во всяком случае, заволновалась Аня, потому что стол был уже накрыт, а ее Ольга, как выяснилось, к нам не придет. Почему?.. А потому. Аня еще и еще уговаривала по телефону: они шептались, что-то выясняли, просили друг у друга прощения, ссорились, поплакали вместе, и все равно та отказалась. Сработала застенчивость одинокой женщины, известное неумение себя пересилить. (Дело житейское и понятное, но в ту первую минуту я назвал это непорядочностью и даже кричал, вспыливший, что в конце концов какое счастье, что своему, можно сказать, чтимому старшему товарищу я не подсунул это убожество, которое сходит с рельсов только оттого, что рядом с ней посадят поужинать человека в брюках.) Но вот сколько-то покричав и понервничав, отойдя на расстояние от никак не помогшего нам телефона, мы с женой сели за приготовленный красивый стол и молча посмотрели друг на друга: что делать?

Ведь Геннадий Павлович, которого долгими и изыскан-

ными словесными приготовлениями я насилу выманил на эту встречу из дома, судя по времени, шел уже к метро, чтобы ехать к нам. «Хороший же человек — что мы теперь ему скажем?»— повторял я Ане, повторял самому себе и мало-помалу пришел к мысли о замене.

Я подумал о Нине почти сразу, но колебался — во-первых, Нинель Николаевна не очень контактна, а при случае сурова, жестка и может высмеять нас, и нашу затею, и заодно неповинного Геннадия Павловича; во-вторых, она совсем на чуть постарше меня, может обидеться (хотел подтасовать жизнь); я никогда никуда ее не звал и даже не представлял, как и какими словами стану ее, горделивую, уговаривать. Правда, и Геннадия Павловича я никогда никуда не звал, а ведь он согласился, что придало мне вдруг смелости.

И тогда я позвонил. Я пригласил. Я сказал, что с нами поужинает некий мой старший приятель, весьма интеллигентный человек. И она только переспросила его имя. И согласилась.

И пришла.

Разговор был самый общий, неловкости не возникло, а после ужина мы чуть ли не как старые, добрые друзья отправились вместе в другую комнату смотреть слайды; взрослые люди, и почему бы нам не восхищаться живописью Испании XVII и XVIII веков. Мы все, вероятно, очень старались. За кофе Геннадий Павлович говорил замечательно, но я уже почувствовал, что он несколько трусит: вечер кончался. Однако и тут, не оставляя их сразу за порогом дома с глазу на глаз, Аня и я пошли проводить до самого «Парка культуры» — погода стояла чудесная. Когда, вполне надышавшиеся воздухом, мы вчетвером вошли в метро, выяснилось, что Геннадию Павловичу в одну сторону, а Нине в другую. «До свидания. Спасибо за вечер»,— Нинель Николаевна, строгая и одновременно суховато-благодарная, пошла к своему поезду, а Аня, чья интуиция сработала скорее моей, стала шептать упустившему момент Геннадию Павловичу: проводите, мол, проводите Нину, как же иначе! «Быть может, ей вовсе этого не хочется»,— выдавил из себя Геннадий Павлович, робея, что ли (или не желая), играть столь уже обязывающую и понятную роль, в то время как Аня ему на ухо жарко шептала: «Хочется, хочется, ей хочется!» — и вдруг подтолкнула его в спину, не сильно, но достаточно подтолкнула, нарушив равновесие его неопреде-

ленного покоя. И он пошел. Нинель Николаевна вошла в эту минуту в вагон метропоезда. Но вагон еще не закрыл двери. И можно было бы вбежать, если поторопиться. Геннадий Павлович, однако, шел медленно: он, кажется, собрался изобразить, что он-де хотел, он-де, может быть, очень хотел, но чуть-чуть не успел. Он шел достаточно медленно, но и двери вагона не закрывались. С метропоездом случилась какая-то заминка, и Геннадий Павлович приближался. Нет, нет, двери не закрылись перед самым его носом — он вошел в вагон, и вот тут они сразу шумно закрылись, именно в ту секунду, словно его и ждали, к тому же отрезав, исключив всякий путь назад. «Не судьба ли?» — шепнула мне Аня, вдруг прижавшись.

Иронизируя над несколько вялым кавалером, Нинель Николаевна, когда подошли к дому, процитировала ему стихи *о провожающем*, а Геннадий Павлович, знаток, возразил или же искаженный ею стих поправил. Так что зацепка возникла сама собой, Нинель Николаевна настаивала: у нее, мол, нет ни горы книг, ни замечательных собраний сочинений, но какие-то томики есть, и среди них автор, о котором спор. Чтобы выяснить, Геннадий Павлович поднялся к ней на этаж и засиделся там до утра (в прямом смысле слова — сел и сидел в кресле до солнца). Какая-то строчка Евтушенко или Окуджавы, пришедшая опять же по поводу, вдруг словно бы уколола, ужалила, и вмиг они заговорили о событиях и людях их молодости, их бурного студенческого бытия, а вечерний, главный их сюжет — сюжет знакомства мужчины и женщины, так или иначе клонящий к близости и к постели, стал ненужен. Огромной волной их отшвырнуло в юность. Нинель особенно хорошо читала Вознесенского, Геннадий Павлович предпочитал прославленную гражданскую лирику Евтушенко, оба, впрочем, знали и то, и то, а с взаимной подсказки и поддержки, как вдруг выяснилось, они знали не просто много стихов — бесконечно много. В стихах удержались те дни — их дни, отдельные из которых уже срослись столько же со стихами, сколько и с человеческими судьбами, перейдя в особое сверкающее качество — в качество легенды; текла река времени.

Какое там знакомство и какая постель, когда они чуть ли не оказались в родстве — они именно что забыли, с чем шли сюда, забыли, что мужчина и женщина и что не новички же в вечерних делах. Как старики впадают в детство, они впали в юность, и, совсем как юные, точнее,

как юные люди своего времени, они не поторопились в первую ночь с объятиями, но взахлеб говорили и говорили, пока за окнами не стала заря.

И самое *чуть* что-то не сошлось.

Они оба примолкли: оба как бы приостановились на некоей черте, ожидая уже не раскрытия души, но сверхдоверия или иного, неявного знака приобщенности к тем дням, однако *чуть* так и продолжало оставаться меж ними. Они вдруг не захотели делиться личным дальше. Они промедлили.

А следом уже вторглась реальность: Геннадий Павлович поднялся с кресла, выпил холодной воды, после чего как-то сразу оказалось, что они оба — проболтавшие ночь напролет взрослые люди, что это смешно, несолидно. Они тут же и обменялись колкостями по какой-то пустячной причине, не всерьез, а именно из пустяка, а в сущности, оттого, что при свете раннего утра оказались лицом к лицу двое чужих. Мужчина и женщина — немолодые и от бессонной ночи пожухшие.

Нинель Николаевна провожала, едва сдерживая недовольство. Сникшие, они на лестничной клетке все же спохватились, вежливо и отчасти церемонно повторяли — до свидания, познакомиться было интересно! до свидания! — но чужой голос уже царапал слух, раздражал; оба торопились замкнуться на себя, уйти он — она остаться.

К тому же они испугались быть смешными. И каждый — опасливо — постарался приуменьшить, принизить само свидание, занизив впечатление друг от друга; во всяком случае, когда с утра я позвонил, чтобы узнать, как добрались званые гости домой, каждый из них рассказал как попроще. (Смущение души.) Тогда я сути не понял. Геннадий Павлович рассказал, что после ночного бдения у Нины он явился на работу с совершенно разламывающейся головой. «Мне никогда не было так плохо,— он ворчал (посмеивался над собой и над вчерашним свиданием длиной в ночь),— в обеденный перерыв, Игорь, я впервые в жизни уснул сидя. Сонный я упал. И когда сослуживцы меня подняли, я все еще был в легком обмороке». Ворчал он на невыносимую скуку той ночи и на утомительную женщину, которая все цеплялась к словам, а чаю не предложила, ни даже водки; ворчал, ни словом, однако, не обмолвившись об их обоюдном многочасовом прорыве в прекрасную юность. Характерно, что в первом, свежем пересказе Нинель Николаевна тоже промолчала

о помянутых стихах и людях прошлого, со своей стороны также оставшись не слишком довольной Геннадием Павловичем, который, «кажется, очень много о себе понимает», который «вошел в дом и — представь себе! — не снял даже плащ, так и просидел до утра в плаще в кресле. Я ему предлагала кофе, предлагала к столу пересесть — он только важничал. Очень странный!..»

Тем не менее они вновь увиделись — уже по собственной инициативе. Как бы вспомнив, что они взрослые люди, и несколько устыдившись того юношеского говорливого вспыха (быть может, втайне желая растопить, расплавить то самое *чуть*), на этот раз они встретились вполне солидно, вдвоем поужинали, привычно поговорили о работе, поделились соображениями о женско-мужском одиночестве, и, как я понял после, оба рискнули: в тот вечер дошло до близости.

Кажется, они встретились еще однажды или дважды.

А затем разошлись, и на этот раз окончательно. Не было никакой драмы. Ни ссоры. Случилось самое простое и самое худшее: они так и не узнали друг друга.

Уверенные, что их роман как-никак развивается, мы с Аней ставили себе это в заслугу. Иногда среди ночи мы тихими голосами обсуждали то, как мы их друг другу преподнесли, как ловко и умно обставили первую встречу и вообще как удачно они подходят: оба порядочны и с этакой благородной непрактической начинкой; оба симпатичны, одиноки; он чуток, а она как раз жаждет чуткости — в их случае важнее, мол, совпадение, а не пресловутый диссонанс. Крепя их мыслью, мы заодно же, как водится, крепили свою семью. Особенно радела за них Аня; она, кажется, полагала, что такие разговоры являются прекрасной семейной терапией, мало-помалу исцеляющей меня от иногда случающихся побегов из дому.

— Давай, Игорь, куда-нибудь выберемся вместе с ними — на природу! или в театр?!

Аня настаивала:

— А то пригласи их к нам еще — им побыть в семье полезно. И на природе им вместе побыть полезно.

Самая молодая из нас, она нас учила.

Нинель Николаевна объяснила просто: он ей неинтересен.

Геннадий Павлович сказал о ней примерно в тех же

словах, но кое-что добавил, передав содержание их ссоры, что случилась вечером у Геннадия Павловича дома. Геннадий Павлович готовил закуску и чай — а говорили они с Нинелью Николаевной вновь о былой юности. (Разве он не рассказывал?.. Первый раз они говорили о былом еще в ту ночь, когда он провожал ее домой и сидел до утра в ее кресле, теперь был второй раз — неудачный. В этот вечер все слова казались неудачными. Вероятно — признак, знак расхождения, когда каждый, отторгаясь, уже сам по себе.) Да, о юности. Из юности им обоим вспомнился именно случай с Чичиусовым, был такой говорун, что даже Геннадия Голощекова перехлестывал,— ты его, Игорь, уже не застал: ты не помнишь. О Чичиусове в студенческой среде тогда много спорили, он больше других хотел и призывал выступить против одной подлянки, горячо, жарко говорил, сам рвался в бой, а когда подлянка все-таки случилась и дошло до дела, сказался больным. «Но, может быть, он и правда заболел? — почему-то вдруг предположил Геннадий Павлович.— Болеют же люди!» — после чего Нинель Николаевна яростно, совсем как в былые дни, напала — сначала на полузабытого Чичиусова, затем на Геннадия Павловича. Вот и все.

Геннадий Павлович пояснил мне, что курьез в том, что в те времена, когда о поступке или, правильнее, о непоступке Чичиусова много и яростно спорили, он, Геннадий Голощеков, был из самых к нему суровых, из непримиримых. И осуждал его. Так что была определенная исчерпанность ситуации в том, что Геннадий Павлович не от всепрощающего влияния времени, а именно нечаянно, нечаянно и даже улыбнувшись сказал вдруг о возможной болезни Чичиусова, после чего Нинель Николаевна набросилась гневно, страстно, никак не желая и сейчас верить в болезнь и тем самым прощать или щадить труса. Вот и все. Геннадий Павлович стал объясняться, оправдываться, и за разговором как-то не сразу пошел он на кухню за чайником — чайник и правда сильно выкипел, но, ей-богу, половина емкости еще была, и заварить чай в заварочнике этим кипятком было можно. Но леди сказала — нет. Гневная леди вдруг возгордилась. Когда Геннадий Павлович принес чайник с кухни и попросил: завари, мол, Нина, пожалуйста, она ответила, что заваривать чай каплей воды не станет, пусть чайник будет полным и что это за забывчивость, что за склероз в пятьдесят с лишним лет. Так и сказала, хотя по-

чему, собственно, чай, заваренный из половины чайника, хуже или горше, чем заваренный из полного. Да, да, вероятно, она метила в ту забывчивость и в ту память, прощающую подлецов. Она еще раз повторила, что в пятьдесят, мол, с лишним лет еще рановато забывать на огне чайник.

После чего они и разошлись. Нет, нет, он поставил, разумеется, заново на огонь чайник, они перекусили и пили молча чай. И тихо, корректно расстались. (Когда я сообщил Ане, что наши крестники разошлись, она заплакала. Затем Аню залихорадило:

— Езжай к ней, езжай к ней немедленно — в первые дни помирить нетрудно, пока еще не остыло!

Я поехал.

Возможно, Ане казалось, что избавить их от одиночества теперь уже наш долг, обязанность и как бы нравственная гарантия, что нам тоже в свой час кто-то поможет.)

Я спросил Нинель Николаевну, поехав к ней в тот же день,— неужели все дело и вся ссора в том, что Геннадий Павлович, мой старший приятель и чтимый человек, пожалел отступника Чичиусова? — а Нинель Николаевна поправила меня: *Чимиусова*... Да, они говорили о разном, но вдруг речь зашла о нем — о Чимиусове, о его крайне непорядочной, трусливой выходке на том давнем памятном обсуждении. Не стану я тебе, Игорь, объяснять, что и как тогда обсуждалось (если сам не помнишь — значит, и дело покажется далеким, никакие объяснения не прозвучат). Да, двадцать пять лет назад, даже больше, а что? разве за истечением лет подлость перестает быть подлостью?.. И потому, когда твой милейший и весьма интеллектуальный Геннадий Павлович стал его, Чимиусова, пусть даже косвенно оправдывать, я ему прямо процитировала выражение нашей молодости, что интеллект и конформизм — *две вещи несовместные, Сальери!*.. Вот, собственно, и все.

— Как все?

Она пожала плечами — разве этого мало?

— Но ведь Геннадий Павлович не Чимиусов. Он как раз противоположность ему. Кстати сказать, вы с Геннадием Павловичем учились в разных вузах и в разное время — откуда вы оба этого мифологического человека знали?

— В наше время, Игорь, люди общались.

— Но вы даже его фамилию плохо помните. Геннадий Павлович явно произносил — *Чичиусов...*

На что Нинель Николаевна совершенно спокойно заметила, что ни буква, ни даже вся фамилия не имеют определяющего значения: это повод. В сущности, это лишь маленькая зарубка, отметка, чуткая и небольшая отметина, однако достаточно означившая, что их юность была разной. Это причина и не причина. (А если учесть, что в тот их вечер Геннадий Павлович именно что случайно и беседы ради предположил, а не болен ли был и впрямь проклятый Чичиусов-Чимиусов, то он и она тем заметнее казались похожими на не узнавших друг друга. Скол не пришелся на скол.) Да, сказала Нинель Николаевна, я ведь, Игорь, не спорю — он вполне порядочный, вполне интеллигентный человек. Он очень мило вел себя, когда я вспылила. Он очень сдержанно, корректно отправился на кухню, заварил чай: очень был заботлив. Мы выпили с ним чай. Мы помолчали. И расстались.

Мог быть рассказ о том, как некая семья — я и Аня? — затеяли сводить некую пару. Стараясь изо всех сил, они эту женщину и этого мужчину сводят, уговаривают, зазывают вместе в гости, вывозят на природу и, наконец, налаживают их совместную жизнь, зато своя семейная жизнь от израсходованных, что ли, сил и нервов начинает с той самой поры мало-помалу катиться под уклон и в конце концов рушится.

И теперь уже эти двое — то я, то Аня — приходят раз в полгода во вновь возникшую крепкую семью просто посидеть, поговорить; порознь, конечно, приходят. Скажем, я прихожу иногда вечером к Геннадию Павловичу и Нинели Николаевне, и они наливают мне стопку водки, кофе, дают советы. Погреться у чужого огонька, разве плохо?

Мы не уговорили их выехать на природу, но уговорили поехать с нами вместе на ВДНХ поесть шашлыков, и тотчас Аня придумала себе какую-то особую за их одинокие судьбы ответственность, занервничала, заволновалась, что передалось и мне; наконец двинулись — и, помню, нам обоим все казалось, что машина едет по проспекту слишком медленно, не едет — ползет. «Шашлыка хочу! И вина хочу поскорее!» — восклицала Аня. И я, должно



быть, ненатурально ей вторил: «Ах, шашлычка бы! ах, горяченького!»

А те двое молчали. И таксист молчал.

По правой стороне выставки в тот час в одном из павильонов томились и мычали в голос коровы — они были раздуты молоком. (Ждали своих телят либо дойки.) Мы подошли ближе. Их почему-то не спешили доить. Но в одну клеть теленок уже проник, сосал, зрители вокруг шумно его поощряли, и Аня с ними вместе тоже восторженно вскрикивала, что не видела сосущего вымя теленка ровно сто лет... Я, как мне казалось, был в разговоре более тонок. Впереди стояли кони, лошади — их гривы издали сливались, и для Нинели Николаевны, любительницы юга и моря, я вслух сравнил полосицу грив с полосой морского прибоя, когда отдельные белые гривы, редкие среди множества вороных, вкрапливали свой белый цвет и как бы образовывали накат вспененной волны. Не хватало звука. Это верно — не хватало лишь шума волны и (под волной) скрежета гравия, но их, возможно, мог заменить шорох многих сотен шагов, так как люди рядом с нами, а также впереди, сзади, сбоку шли и шаркали по асфальту,— так говорил я, лепил образ, очень стараясь, а Нинель Николаевна вежливо кивала: да, да, пожалуй, похоже. Геннадий Павлович и вовсе молчал. Им было скучно с нами.

Но мы старались, мы очень *для и ради* них старались.

— Ну а быки? — говорил я.— Каковы красавцы!

— Идемте же к шашлыкам,— тянула вперед Аня, нервничая и считая, что я становлюсь однообразен.

— Погоди, а быки?..

Я уже эстетствовал: я обращал внимание, что быки со своим гиперсексуальным величием даже не смотрят на железного быка, который на постаменте. Скульптура проигрывала! Железный был, конечно, поярче игрой своих металлических мышц, побогаче своей товарной нарисованностью, однако живые быки были живые. (С раскорякой ног. С тупым чудовищным взглядом, в котором уже не существовало похоти, а только могучее несдерживаемое желание, как желание лететь и крушить у пары железных ядер, когда ядра в стволе и запал поднесен.)

— Идемте к шашлыкам. Есть хочу! — тянула, торопила нас Аня, вероятно опасаясь, что Нинель Николаевна и

Геннадий Павлович, сдержанные и суховатые, почувствуют себя чужими в этой шаркающей по асфальту толпе.

Мы перешли к южным павильонам.

Все четверо невольно прибавили ходу и подошли наконец к шашлыкам на свежем воздухе. Запах дурманил. Мы глотали слюну. Фрукты не продавались сегодня, однако мясо на прокопченных гнущихся шампурах было замечательное, нежное, пахучее, чуть обработанное уксусом и луком (и вино оказалось рядом, в розлив, притом двух хороших сортов). А когда мы вчетвером разместились за столиком под витриной, точнее, в самой глубине огромной витрины, среди там и тут свешивающихся за стеклом ярких, красно-желтых плодов, изобилие уже настолько нас окружило, что казалось, мы в стареньком и давным-давно обещанном нам раю.

Кстати же, в репродукторе прогремело:

— Атом для мира! — И грянула музыка Шостаковича.

Толпа ликовала, ела, пила, вскрикивала. Дети были с цветными шарами.

Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не произнесли, кажется, ни слова, подавленные огромной людской массой и этой для них, домоседов, невиданной обжираловкой на воздухе. Всюду люди — и всюду жующие рты. Мы именно жрали шашлыки, мы их повторили, а затем запили вином, а затем опять жрали. Бумажные тарелки из-под шашлыков бросали уже не в урну, она была переполнена, а в бак, но и бак, что в двадцати шагах, был весь набит этими бумажными тарелками, а вокруг снова и снова горело мясо, стелился духовитый дым, шумно хватали и несли шашлыки, пили, ели, деньги никто не считал, и возбуждение уже охватило — было это заразительно, зрелищно, не без размаха, хотя Нинель Николаевна, вероятно, уже подумала (отметила про себя), что в иную мечту есть вход и что это и есть ликование людей со скромными духовными запросами.

Неподалеку забили фонтаны, так что ветерок сносил на нас микроскопический моросящий дождец — женщины, преувеличенно вскрикивая, со смехом поправляли прически, пугались. Игра микропузырьков влаги на солнце была ярка, радужна, и, быть может, она-то и подсказала ассоциативно о шампанском, когда среди этой оседающей, тихой влажности Аня вдруг разыгралась и стала неуемной:

— Хочу шампанского!..

Мы уже были сыты и пьяны, но в ней пробудился бес, что бывало чрезвычайно редко: кажется, ей хотелось побеситься как раз на глазах сдержанной пары. (Кажется, она всерьез хотела, чтобы им, сдержанным, понравилась семейная жизнь, которая-де вовсе не скучна и не пресна. И вообще, как видится это сейчас, встреча вчетвером нет-нет и всколыхивалась со стороны Ани такой вот наглядной педагогикой.) Помню ее лицо. И в ее руке — огромный цветной детский шар. Аня не понимала, что для наших гостей ее действия наивны, чужды простоватой эстетикой. В том-то и минута, что, когда в Аню вселялся бес, она делалась неудержимой.

— Хочу шампанского! — вновь требовала она.

А когда я еще раз добыл шампанского, она требовала, чтобы я открыл по-гусарски, иначе она и пить его не станет.

— Хочу шампанского и чтобы ты открыл его, как гусар! Хочу по-гусарски! — требовала Аня и была той девицей, была неумолимой, капризной, непреклонной. И даже топала ногой. И закусывала губку.

— Мамаша, вы, однако, разыгрались!

— Хочу!

— Мама-ааша,— пробовал я урезонить, подсмеиваясь. — Прошу вас, уймитесь...

— Хочу как гусар. Хочу как гусар!.. Открой вино, как гусар!

Я уже взывал к логике. Я терпеливо ей говорил, где, мол, я возьму палаш,— мол, я рад постараться, я что угодно и где угодно, хоть по-драгунски; мне уж за сорок, и мне все сгодится, но где же я возьму в нынешнее время и в нынешнюю минуту палаш, на что она кричала — где хочешь!

Я отправился в шашлычную, вошел, но не обычным путем, а с заднего хода и попросил у них на недолгое время нож потяжелее, чтобы будто бы разрубить мясо. Нож, разумеется, не давали, говорили, мол, сами тебе разрубим, если уж так надо, затем нож все-таки принесли, однако легковатый, негодящийся, после чего с криками возмущения меня вытолкали — правда, направили на задний двор в какой-то алюминиево-полосатый сарайчик, вросший в землю, как погреб, где я опять просил «тяжелый нож». В сарайчике тоже упорствовали. Не хотели, жались, нож-де такой — штука редкая и ценная, за деньги, мол, такой не достанешь, а в загулявшей толпе, от одного

к другому, красавец нож мог кануть, как брошенный в реку,— но им-то, шашлычникам, без ножа каково?.. Но все-таки выдали, вложили мне в руки, как короткий меч, и даже ни часы в залог не взяли, ни документа, *часы стоили дешевле ножа*, пробившийся обратным путем через толпу, я наконец появился у наших с этим темным тяжелым ножом и под требовательным взглядом Ани ссек серебристую башку с бутылки шампанского, как это делали торопящиеся гусары. Осколков и правда не случилось ни одного, и наблюдавшие зрелищем остались довольны, удар был целен, един — пенная струя, разом открытая в мир, ударила прямо в четыре наших стакана.

Возле игральных автоматов Аня вновь развеселилась — отчасти ее выручало то, что она как-никак моложе меня на десять лет, а наших гостей и более чем на десять.

Геннадий Павлович и Нинель Николаевна лишь присутствовали рядом с нами, они с улыбкой кивали, соглашались и, вероятно, уже изрядно мучились от стараний этой семейки сводить людей: при всем неинтересе друг к другу они иногда обменивались ироничными взглядами.

Когда расходились с шашлыков, и у него, и у нее были вежливые лица гостей, которые жалеют о потраченном времени. Таков финал. Геннадий Павлович и Нинель Николаевна виделись тогда в последий раз.

Нинель Николаевна обожает лето; с годами привычка превратила сезонное обожание в страсть, в страсть сильную и уже не меняющуюся. Когда впереди вьется горная тропка и вокруг божественная легкая жара (и даже необязательно жара, а стойкое сухое тепло начала сентября, тропа под ногой тверда, и важно, очень важно присутствие южного солнца!), Нинель Николаевна ступает неторопливо, ступает, смежив глаза, ей хорошо, и ей ничего не надо. Сорок с лишним лет, главные события ее женской жизни позади, но тем более ей хорошо: ей прекрасно! Тело через легкую одежду купается в солнце. Тело тихо-тихо живет. Жизнь представляется замедлившей ход и кажется вообще остановившейся (и тем острее длящейся через этот сладкий миг недвижности. Дление благодати).

Ни сослуживцев, ни вообще *тех* людей с их склоками — как хорошо! И как понятно, что все лучшее для нее теперь собрано в лете, в южном солнце и в этом неспешном шаге по

тропе в никуда. Она устала от той жизни, и, уж конечно, она готова биться насмерть, если пытаются не дать ей отпуск в августе — сентябре: она прямиком в таком случае идет браниться к начальнику в кабинет, так как женщина она искренняя, прямая, ни льстить, ни упрашивать в разговоре не умеющая. Ей отвратительно сочетать брань в кабинете, *в который она все-таки пришла*, с отстаиванием своих зыбких прав — но что поделать?

Так что Нинель Николаевна вся как есть заключена в полноте этого летнего дня, когда день огромен, солнечен, с синим небом и когда неспешные шаги по тропе с прибитой пылью создают ощущение остановившегося времени. С другой стороны, полнота жизни — полнота краткости, и потому лето для Нинели Николаевны длится только один месяц, август или сентябрь, она отлично знает, что *только месяц* и что именно в силу его краткости она сейчас так расслаблена и растворена, она в нирване, в бесчеловечности многих и многих месяцев и лет — в вечности. Если же о внешнем, то по тропе для курортников движется и иногда что-то сама себе шепчет женщина, несколько уже подсушенная, подвяленная возрастом, да, да, иной раз она разговаривает. В городе она бы непременно устыдилась своего отчужденного шепота, характерного (да и заметного встречным людям) движения губ, но здесь — не стыдно. Разговоры с самой собой, как и тропа с пылью, и возле тропы древняя скамеечка для отдыха, и гора вдали, и небо, и из набежавших недолгих облаков стреляющий луч — кирпичики огромного и главного здания ее жизни: лета.

Притом что ей не нужны курортные мужчины, не нужны их слова или спешные покупки кислого вина, их страстишки и домогательства — она, быть может, излишне требовательна и утонченна, но ведь южные романы так грубы. Ей довольно и мечты. (Ведь немолода. И что же портить суетой единственный, лучший в году месяц.) Она идет по узкой тропе — и вот впереди, когда она смеживает, сощуривает на солнце глаза, появляется шагах в ста, как бы в мареве, мужчина в белой армейской фуражке, в форме офицера российской армии времен кавказских войн — он идет той тропой, что забирает влево и чуть выше, так что Нинель Николаевна и он проходят друг от друга в некотором отдалении. Его лицо уже различимо: оно не слишком красиво, но приятно и благородно; небольшие русые усы, выражение глаз усталое, но

сдержанное и никогда не жалующееся (быть может, он перенес ранение). Шаг сильный, мужской. Он улыбнулся, и тогда Нинель Николаевна (ей чуточку жарко) снимает шляпу, ту, крымскую, широкополую, которую она носила лет десять назад, которая так шла ей и которую так стремительно однажды утащил ветер, а затем море. Офицер на секунду вежливо приостановился. Приветливо ему махнув, Нинель Николаевна, сдержанная, идет по тропе дальше.

Желание Ани выпить шампанского по-гусарски, что было, разумеется, более грубым и прямым заигрыванием с прошлым веком, весьма рассердило Нинель Николаевну и вызвало впоследствии ряд насмешек: какая профанация!.. и какое безвкусие!

Нинель Николаевна живет весь долгий год как часть года, так что год является добавлением к лету, а не наоборот. Как-то она сказала: «Я бы умерла, если бы весь год длился непрерывающийся август...» — и засмеялась, имея в виду, что счастье в таком случае стало бы запредельным и для одного человека непереносимым.

Летом она именно отдыхает, а не мелькает там и тут, как те, кто в отпускной месяц вырвался на свободу и кто задыхается от любви и спешки настолько, что сам не вполне понимает, где спешка и где любовь. О, да, да, у них тоже один месяц. А у Нинели Николаевны круглый год своя отдельная квартира (и своя отдельная жизнь, увы, тоже круглый год), во всяком случае, ей нет нужды спешить с романами и с романчиками, хватаясь за умных и неумных, за высоких и за маленьких, за худых и за толстых, как хватаются некоторые бедняжки с ищущими глазами. Им по горло надоел муж, надоели углы своего жилья, семейная стряпня, стирка, хлопоты и заботы, от которых на юге надо отвлечься и забыться. Она их не осуждает. Но и не станет в ряд. Да, горделива. Она хотела бы, если уж отпуск, юг и горы, романа покрасивее, поумнее, позначительнее, но, ежели таких романов нет, других — не надо. Она тверда в своем, как тверд человек, которому спешить некуда, а мелочиться незачем. Вероятно, написано на лице. Но бывало — особенно прежде,— кто-то из курортных торопыг или красивеньких местных ухарей

впопыхах все-таки набегал на нее, налетал, распушал перья и после цыплят табака и возлияний, когда она наотрез уже отказывала и когда случайный этот, распушившийся знакомец в невольной, вдруг прорывающейся досаде шипел: «Зачем же ты на юг ездишь?» — ее ужасно коробило, о господи, что за люди, она только пожимала плечами, сдерживая гнев; но если он спрашивал еще, она решительно, резко отвечала: «Зачем? — я скажу вам, зачем я приехала: *отдыхать...*» Подобное выяснение возникало, разумеется, уже после третьей или даже четвертой попытки, когда интеллигентность его испарялась, а раздражение потраченных впустую дней и денег сдавливало горло досадой. Знакомец исчезал, мелькая уже где-то поодаль и не всегда здороваясь. А Нинель Николаевна немножко грустила — нет, не о людях нынешних, с ними все ясно, а, как ни странно, о неудавшемся романе.

О шашлыках на воздухе:

— Игорь, извини. Вполне понимаю, что вы с Аней хотели тогда нас обоих несколько развеять и развеселить — но все же как это было тоскливо, натужно, с претензией!

Я пожимаю плечами: бывает, мол.

Она продолжает:

— Аня, разумеется, молодая — с нее не спросишь. Но ведь у тебя временами есть вкус...

Молчу.

Нинель Николаевна разводит руками:

— Ну, что делать, Игорь, ну, прости меня — я такая.

Когда-то давно, когда мы с Аней и с дочкой переезжали в нынешнюю нашу квартиру, я заметил, да и Аня заметила, что на стене в одной из комнат нового жилья — трещина. Неопасная с точки зрения крепости дома, трещина все же была, бросалась в глаза, и Аня мне сказала: «Смотри!» — а я засмеялся: «Заклеим обоями!» — и действительно, после ремонта ее не стало видно. Но там, под обоями, невидная и запрятанная, она стала расширяться, ветвиться, и одной из своих боковых ветвей, небольшой трещинкой, прошла незримо меж Аней и мной. И начались мои уходы из дома.

Да, редко. (Сейчас еще реже.)

В бегах я хожу по всякого рода сомнительным, подчас

молодежным компаниям, в которых я и лишний, и чужой. Но подолгу я у них не задерживаюсь, ни у кого, почти ни у кого — день-другой, и я должен идти, *бежать дальше,* я именно в бегах и, как только место пребывания начинает пахнуть оседлостью, томлюсь.

Возраст, увы, не двадцать лет. Возвращаюсь я всегда больным, разбитым, позволившим себе много спиртного или ночных бдений — иногда просто побитым или обобранным, иногда намерзшимся и всегда уставшим так, что готов упасть, рухнуть. Здоровья нет. Раньше я каялся. Теперь, набегавшийся, я не каюсь — и лишь хочу поскорее тепла, уюта, погружения в семейную жизнь, которую, как вдруг оказывается, я очень ценю и люблю.

Иногда при возвращении Аня встречала меня ссорой, даже не пускала в дверь, мол, убирайся!— и неопределенное время я киснул на лестничной клетке или бродил вокруг дома, перед повторной попыткой позвонить в родную дверь. Иногда же — это не зависело ни от длительности моего отсутствия, ни от пришедшего или не пришедшего гонорара за повесть и ни от чего вообще, просто от ее настроения — она пускала меня в дверь сразу, просто и на удивление спокойно. «Ну что — пришел?» — «Пришел»,— я проходил в свою комнату, шаг от шага прямя спину и расправляясь в плечах, а Аня, прерываясь в домашних хлопотах, говорила Маше: «Погоди — отца покормлю»,— и все шло своим чередом и целый долгий период я жил стабильно, иногда до года.

И, разумеется, нам было не провести Нинель Николаевну с ее чутьем на искренность — нам было не провести ее ни семейным приемом со слайдами испанской живописи после кофе, ни поездкой на шашлыки, ни шампанским, распитым по-гусарски. Она чувствовала опыт семьи, но за опытом некий затаенный изъян. «Шашлыки ваши в тот день отдавали самодовольством средненьких, да и желанием предстать в лучшем виде, но еще более отдавали знаешь чем?— не обидишься? — потугами на счастье, которое есть, *но которого нет...*»— сказала Нинель Николаевна позже, много позже, когда случайно зашла о том речь.

Помню, как в детстве сосед пришел забрать небольшой денежный долг, а мамы не было. К тому же я знал,

что денег сейчас в доме нет. Мне было лет восемь. Мы сидели молча, двое в комнате, сосед нервничал — ждал. Потом он сказал: «Да что ж за чертова муха — совсем замучила!..» — он выразился куда крепче, чем *замучила*, и тут я увидел эту единственную в комнате муху. Я смутился, густо покраснел, словно жил чистюлей. Я скрутил газету и стал муху гонять. Потом сосед тоже взял газету, и вдвоем, после некоторой сутолоки, мы ее убили.

И вновь сосед долго сидел нога на ногу, ждал. Мама не приходила, и я знал, что она не придет. Окна синели от сумерек. Сосед покряхтел и наконец ушел.

Он вернулся — позвал меня пить чай с сахарином. У него над столом туда и сюда носились мухи. Потрепав меня по чубчику, сосед доверительно мне объяснил:

— Понимаешь, в чем штука — когда мух десять, они совсем не злят.

Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, окончательно разойдясь, а даже и забыв уже друг о друге, живут своей отдельной жизнью. Они все более отъединяются от людей, стареют, порастают мхом. И, когда порознь я все же иногда их вижу — раз в полгода,— мне уже непонятно, где тот поход, и тот шлейф шашлычного дыма над закопченными шампурами, и та чудесная погода, и солнце, бьющее в бумажные тарелочки, и вино, и мычащие коровы, вздыбливающиеся кони с черными (редко — белыми) гривами.

Нинель Николаевна и Геннадий Павлович уже разделились в моем сознании. Он — там, а она — там. Два чрезвычайно отдаленных островка. Кругом них вода. Много воды. Если смотреть издали, они похожи, но издали всякие два островка похожи. Похожесть сама по себе еще не соединяет, как и не разъединяет. Но вдруг словно бы мощная арка, мощный мост над водой связывает на миг их обоих в моих глазах — мост залит светом и весь виден. И наиболее крепкой, несущей аркой моста является их обоюдная преданность своему времени и непрощение тем, кто их вытеснил, кто пришел в жизнь следом.

За потерю той бумаги и слишком выразительный душевный покой Геннадия Павловича едва не лишили долж-

ности завотделом, количество его сотрудников сократилось до десяти, *следующая ступенька вниз* — его едва не понизили до заведования сектором, должности у них совсем ничтожной, что означало бы к тому же подчинение Птышкову. Драмы нет — обычный естественный отбор; будни с правотой сильного и с неправотой слабеющего.

Не видел, но по описанию Геннадия Павловича вполне себе представляю,— молодо сверкнув глазами, Птышков оглянулся (на этого расслабленного Голощёкова) и говорит негромко, но предрекающе: «Ладно, ладно... Я дождусь своего часа».

А Геннадий Павлович продолжает читать книги и пребывать в своих нестареющих мыслях: ничего не произошло. (Ничто не происходит.) Задумавшегося, его опять едва не сбило машиной на перекрестке, но ведь и это никак нельзя счесть новым. Нет, нет, он не боится смерти, но не хочет столь глупой смерти — всего же более он не хочет быть калекой, кто будет за мной ухаживать, ты, что ли, Игорь?

Да, да, Игорь, именно в чтении я восстанавливаю связь с моей юностью — каким образом? а очень просто — словами, *слова, слова, слова,* Игорь, не фразы, а как раз отдельные слова вдруг вызывают в памяти прихотливостью своей и своим консерватизмом обаяние былых дней. Слова в этом смысле не стареют — они ведь и в молодости моей были уже стары, что для них несколько лишних десятилетий! Слова, как ничто, утверждают прошлое с нами. Пишущий человек, а простой вещи не заметил. Пойми же наконец: *слова — только для связи времен...* если хочешь, только для связи (людей) разных времен.

— Да разве не вы заставили меня замолчать?!

Да, был говорун и был смешон, быть может, но был полон живых мыслей. Да: после окрика он избавился от своего недостатка, но не избавился ли он заодно и от своих достоинств? куст был из одного корня, а?.. Так бывает, *так бывает,* Игорь, когда заткнули один фонтан, то, вопреки здравому смыслу и законам гидравлики, второй фонтан не забил сильнее, а тоже мало-помалу иссяк.

Да, да, не надо было вам меня останавливать, надо было дать мне остаться тем, что я есть, пусть прожек-

тером: ведь я только начинал, и со временем бы выяснилось, что начало как начало и что вторых и третьих начал не бывает — начало бывает одно, Игорь. А всего несколькими годами позднее — в тридцать с лишним лет! — стали впервые появляться эти апатии, эти мои периодические приступы пустоты. Опустошало и притом каким-то образом совсем не мучило. Казалось, обычное расслабление, я ведь тогда учил языки, читал ночами. Но год от года объяснять самому себе становилось сложнее. И наконец однажды я понял, что это вовсе не жажда отдыха и не переутомление — это был уже бич, беда, болезнь. Вялость обрушивалась на меня вдруг, даже и посреди отдыха, посреди отпуска,— и руки опускались, ни душе, ни уму ничего не хотелось, а было мне только сорок лет. Я тогда испугался. Я даже сходил к врачам. Врачи, как водится, успокоили. И, как водится, не помогли. Они опять же говорили о переутомлении, да кто же в наше время без нужды знает пять языков, батенька! да и зачем?! Время шло: сменяя друг друга, одни врачи уходили на повышение, другие на пенсию — врачи уходили, апатия приходила вновь.

Нет, Игорь, неужели я стану обвинять тебя лично — это глупо! И ты, и вы все не желали мне зла, но оттеснили. И вы, и те, кто шел за вами,— вы просто жили свою жизнь, но жизнь-то ваша все более перекрывала мне кислород. Начальство начальством и окрик окриком, а жизнь жизнью. Ты пойми: ни один начальник не прикрикнет на излишне выделяющегося человека, пока не увидит, что вокруг есть те, кто этого излишне выделяющегося также осуждает. Начальство именно *опирается*, пусть мысленно и пусть без предварительного сговора, но именно опирается на тех, кто прост, практичен, начинен здравым смыслом и умеренным чувством прогресса, а также послушен. Вы были всюду, вы жили свою жизнь, и вы этой самой *своей жизнью* нас вытеснили — и не столь уж важно, одернули при этом меня или нет, окрикнули или не окрикнули грозно.

Если апатия особенно жестока, он и не разговаривает. Он лежит утром (одетый), лежит в середине дня. Книги отложены, он не читает.

Он как-то сказал, что в таком состоянии он предпочитает сдаться, его, мол, уже не пугает ощущение краха и как следствие — усталая покорность текущему времени; психика? — ну, пусть: куда легче уступить, куда легче и разумнее попросту не сопротивляться, сдаться, отдать, пусть случится в сознании самое страшное, ведь и в сумасшествии есть, вероятно, своё милосердие, и пусть это страшное милосердие однажды его одолеет, победит; ведь несомненно, что как только он поддастся до конца, в ту же минуту самое ужасное и самое мучающее в его сознании кончится.

Он — в сильнейшей подавленности; и ему безразлично, что к нему пришел его единственный (и крайне редкий) гость; он, правда, открыл мне дверь, но вот уже около часа я сижу за столом, листаю редкие или интересные мне книги, пью чашку чая, курю сигарету, а он полулежит на диване, молчит, витая где-то далеко, и на глазах его, если присмотреться, этакие слезки. Он шумно вздыхает, слезки, две штуки, от вздоха слетают — он их и не заметил, просто слезятся глаза, такое бывает, он вполне и вполне спокоен; он смотрит не отрываясь на красно-синюю, высокого качества рериховскую копию, что на стене. И глаза его — сухие.

Я зашел к нему по дороге; уже поздно — и мне пора домой. (И ведь он все равно молчит.) Книги я полистал, покурил.

— Может быть, прогуляемся, воздухом подышим? — предлагаю я.— Проводите меня до метро — вот вам и прогулка.

Он коротко мотает головой: нет.

Я ухожу. Раз в полгода я его проведываю, но, в сущности, его жизнь меня мало волнует. И я не знаю, для какой такой амбарной книги или для какого гроссбуха с грехами нашими и хорошими делами я ставлю эти птички — мол, опять зашел и проведал. Просто так проведал. Ведь человек.

Роен ты или не роен? — вот в чем вопрос, вот в чем *для вас* вся истина: вы, Игорь, сильны ройностью. Иметь деловых и помогающих друзей, жену с детьми, иметь ненавязчивую родню, иметь во всякой сфере умного своего человека — вот в чем постижение жизни, ее смысл, *пришли иные времена, пришли иные племена.* Ни ум, ни познания — ничто не имеет самостоятельного смысла, если

ты не роен, не растворен в шумном и большом рое. Более того: и ум, и познания, и силы увядают, гаснут, становятся нестимулированными и, в конце концов, ненужными. И я, Геннадий Голощеков, глядя на себя, вполне могу признать, ты слышишь, Игорь, я признал, я вполне признал определенную вашу правоту.

В сущности, всё и вся у вас говорит одно: особенного не ищи, ни о чем особенном не думай, войди в рой, прилепись — и будешь спасен. Рой сам найдет тебе и дело, и оправдание дела, не твоя забота — хотя, пожалуй, ты (к тому же!) будешь думать, что дело нашел себе сам. Будешь счастлив... и ведь какая вроде бы малость: не покидать родню, людей, близких, деловых и помогающих друзей, трудиться, жениться, иметь детей... так просто! и так бесконечно много! И что бы там ни было, как бы ты ни заблуждался — ты роен, и уже потому ты прощен и спасен, ты будешь жить, будешь беспрерывно общаться с роем, с общностью людей через своих приятелей, через товарищей по работе, через жену, через своего ребенка — и через эти, казалось бы, миллиметровые соломинки, через капилляры ты уже связан с городом, с космосом общей жизни: *из тебя* — и обратно! — *в тебя* будут идти соки роя, ты в общей лимфатической системе, в общем кровопотоке людей, как мало... и как много!

А у него, у Геннадия Павловича Голощекова, этих капилляров нет — и рой ему, неприлепившемуся, не прощает.

(Иногда в Геннадии Павловиче оживает прежний Хворостенков. Домашний, мягкий, готовый тут же уступить или даже признать свою неправоту, а все же Хворостенков. Я понимаю, что ему это необходимо хотя бы внешне, пусть даже нынешние его психоизгибы несравнимы с тем каскадом блистательных идей, с тем удивительно легким, пластичным проникновением в страну вечных и новых истин, которыми он покорял многих — и меня тоже — в былые дни.)

Затем (голос негромок, тих) он шутит, улыбаясь и давая себе отступного в самоиронии. Он предлагает, *вполне в твоем ключе*, Игорь, написать рассказец: о том, как некий человек постигал идею роя, великую и единственную идею мира. Человек, мол, читал. Человек бесконечно много читал. Все более и более углублялся он в тянущуюся к нам из глубины веков мысль о ройности, при этом все более и более отдалялся он от людей, забывая о

друзьях, теряя родных и близких, так как постижение идеи требовало великого напряжения души, звало к уединенности, а также портило ему характер. От него ушла жена, и в освободившейся ее комнате разместился очередной контейнер философских книг. С взрослеющими детьми он тоже не ладил: не общался с ними, не звонил. Он жил один. Тем временем стукнуло шестьдесят, его проводили на пенсию, так что однажды и сослуживцев вокруг него не стало. Он выходил на прогулку лишь ночью. Он не общался даже с соседями. Зато он все больше и больше постигал идею роя. К минуте, когда он, проникшийся, был в душе своей предельно роен и уже доподлинно знал, что только в рое окончательная правда человека, он в жизни остался один-одинешенек. Аки перст.

В отглаженных брюках, в белой накрахмаленной сорочке Геннадий Павлович пребывал дома и в субботу, и в воскресенье, а также вечерами после работы во все другие дни: сидел дома как бы собравшийся идти, хотя идти он никуда не собирался. Но это ощущение присутствовало — ощущение, что *его позовут* и что он сразу же пойдет, лишь представится случай. И нет апатии. И пиджак хорошего покроя висит в шкафу, близко, только открыть створку. И возникни что-либо, явись у кого-то нужда в Геннадии Павловиче или просто встреться ему человек юности, позови, кликни — он готов. Возможно, уже давит литература, возник образ, однако же и на самом деле я не раз и не два заставал Геннадия Павловича вполне одетым к выходу, в отутюженных брюках и в накрахмаленной праздничной, приготовленной к немедленному выходу сорочке, хотя Геннадий Павлович никуда не шел: валялся с книгой на диване. С некоторой условностью можно считать, что он таков всегда. Готов — в каждый вечер. И в каждый выходной или свободный день. В конце концов, пусть будет немного литературы: образ.

Если суббота или воскресенье, он бывает небрит (иногда) и седина серебрит щеки. Но ведь побриться — три минуты.

Комедия: *вельможа, который надеется, что его призовут*, или *Сперанский в опале*,— сам же и шутит над своей готовностью Геннадий Павлович, рассказывая, как и правда однажды раздался заливистый звонок в дверь и человек пришел, человек возник на пороге Геннадия Павловича

и его призвал, позвал... на свадьбу. Сверстник и давний сослуживец Борис Никитович Брагин в те дни женился: было необходимо собрать людей. (Комедия как комедия.) Многочисленные приятели Брагина на его свадьбу не шли, так как решительно не желали ссориться с его прежней женой. Они выжидали. Но Брагин все же собрал и созвал: человек восемь — десять. И именно далеких и почти забытых собрал — собрал *хоть кого-то ради нее.*

Брагин еле отыскал Геннадия Павловича, довольно долго наводя справки и теряя время, а время уже поджимало.

Поздоровавшись, Брагин сказал ему прямо с порога:

— Идем. Женюсь я...

Зато Геннадий Павлович был именно готов, отутюжен. (Даже побрит.)

— Да ты же женат!

— Идем, идем, Геннадий,— побыстрей. Женюсь на молоденькой.

Та из стайки, светловолосая, с косицами, приехала из самой глубинки; очень сдержанна, скромна, а на руках ее, на тонкой шейке и на щеках томный жар провинциальных улочек маленького города. (В средней полосе России, со старинным названием и с медленной небольшой рекой.) Хоть бы одно имя он запомнил! (Галя? Валя?..) Она была бледненькая в тот день, день зачета или экзамена, они столкнулись лицом к лицу на лестнице, и он ее спросил:

— Как вы себя чувствуете? Что это с вами?

— Но мы же, Игорь, не только много болтали в наше хворостеновское время, помогли сокрушить культ — тоже мы. Пусть это общо, слишком претенциозно (согласен!) и слишком многозначительно, но позволь это сказать... Мы много болтали, но кое-что тоже делали. Или напомнить?

Идея растворения индивида в людях, идея людской общности, или, как он для краткости и выразительности говорил, идея роя, поддерживалась в наших разговорах аналогом жизни пчел. Рой — это целое. Это одно живое существо. И когда пчела почему-то отделена, рой невольно свои жизненные соки и силы придерживает: держит их при себе, в себе, для себя, оставляя одиночку

на полном почти нуле, что и понятно, и правильно. пчела гибнет. Рой вечен. Или почти вечен.

И, мягко улыбаясь, Геннадий Павлович разводит руками: видишь, мол, не сержусь, и не сетую, и говорю, мол, о собственной гибели вполне спокойно.

— Еще чаю налить? — спрашивает он меня.

Я киваю — еще, мол, одну чашку, и хватит. (Я уже сколько-то чашек выпил. Пора домой.)

И тогда Геннадий Павлович торопится высказать:

— Пойми: пчела гибнет без жизненных соков общения. Если следовать образу, я давным-давно должен погибнуть.

И еще:

— Может быть, Игорь, я уже мертв — но ведь я живу.

И еще:

— Живу я (может быть!) лишь потому, что рой пока еще хранит для меня какую-то толику своих соков, рой еще не поставил на мне крест: мало ли!.. а вдруг я усыновлю кого-то, а вдруг сопьюсь и из похмельных ночных страхов женюсь на одинокой вдове: прилеплюсь. Быть может, я еще сгожусь рою — понимаешь? Или вдруг какой убогий прикипит ко мне сердцем; слабый, дебильный и мало кому интересный, он будет ко мне приходить, рассказывать, какая на улице погода, как он любит голубей, и я его, убогого, не оттолкну. Рой не перекрывает свой кислород окончательно, дает соки и отцеживает мне по капле — на всякий запасный случай!..

И еще (теперь с иронией):

— Не печалься обо мне, Игорь,— как видишь, у меня немало вариантов выжить и осуществиться. Из какого-то удивительного милосердия вы меня не лишили всего: кое-что оставили.

Он не меняется, он только истончается в словах и оттенках (мне можно уходить; еще одну чашку чая я уже выпил).

Нинель Николаевна куда прямее и энергичнее, как в своем запале, так и в своем презрении.

— Вы как татары! — кричит она мне.— Как татаро-монголы!

Их выводок забили нашествием, да, да, Игорь, нашествием практичности и цинизма. Их время мгновенно ушло, оно было слишком прекрасно. Поэтому *последующих* она даже на поколения не разделяет, проблемы по-

колений или там проблемы отцов для Нины нет, на десять, на двадцать или на тридцать лет моложе, какая разница — все они равно тупые, многочисленные, убившие тогда и убивающие посейчас их светлое время. Татары.

От одиночества Нинель Николаевна ездит иногда в недалекие туристские поездки. Она побывала и во Владимире, где Дмитровский собор, Успенский запали в ее сознание и встали там, как догорающие высокие свечи, уже который век освещающие стиль *до нашествия* — стиль белокаменного великолепия, стиль полета и света.

— Мы готовились жить, восхищаясь друг другом и ликуя: жить прекрасно, светло, честно! — Нинель Николаевна выкрикивает слова не потому, что с ней спорят, *давным-давно не спорю, только киваю*, а просто от саморазгона, а более от бойцовского темперамента, который на всяком перепаде бурлит ручьем и не может, не умеет так изящно и мягко гнуть серебряную струю течения, как умеет Геннадий Павлович, разворачиваясь попеременно то иронией, то жалостью и к тем, и к этим — ко всем людям.

До пятидесяти еще есть несколько лет, и Нинель Николаевна очень следит за собой — она подтянута, ухожена, строго и со вкусом одета. Она придает большое значение своим походам к массажистке, ухаживает за лицом и охотится за специальными, славящимися кремами.

И, конечно, тоже стычки:

— Ваш практицизм превратил жизнь в систему знакомств и дорогих подарков. Во вторник я сидела у массажистки три часа, а дамочки шли и шли мимо меня без очереди, даже не с черного хода, а прямо и открыто... Да, да! Внесли в жизнь делячество — как? А очень просто. Вы внесли его сначала осторожненько, Игорь, вы просто жили, как жили всегда, и у вас хорошо, а потом совсем хорошо, а потом и отлично пошли дела.

На приеме у зубного врача тоже ходили туда-сюда знакомцы. «Я записывалась на шесть тридцать, а уже девятый час!» — выкрикнула Нинель Николаевна. Она постаралась успокоиться, но неожиданно накалилась еще больше и так накричала на врача и на его медсестру, что зубная боль вдруг прошла, и Нинель Николаевна отправилась домой, хоть и знала, что завтра боль погонит ее сюда же,

в этот же коридор, к этому же врачу. Так тебе и надо, так и надо! — говорила она, мстя себе самой и за побег, и за то, что не могла быть как все эти люди. (Раньше горечь Нинели Николаевны была более едкой; казалось, Нина обладает прямым знанием человеческого неблагородства, особенно же знанием неблагородства мужчин, угадыванием их наперед,— теперь ее обвинения по большей части слишком общи, в личное она острием не попадает.)

Нинель Николаевна: «Ты, Игорь, в скрытой форме такой же прагматик, как и все ваши. Ты — внимательный, не лишенный тонкости человек, но что это меняет по сути?.. Ты — их человек; ты можешь себе позволить быть внимательным и тонким...»

Голос ее твердеет:

— Тебе и твоей жене не удалось добыть благ — а значит, вы средненькие из ваших. Такие же, как все, но только с меньшей энергией и удачей. Вы — третий или там пятый эшелон...

И добавляет, смеясь:

— Но эти эшелоны движутся в том же направлении, Игорь.

Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не знают, что к каждому из них я изредка захожу,— им это неинтересно; давно разойдясь, они ни разу не спросили друг о друге. Они, может быть, и не помнят уже.

Не узнавшие.

Нина говорит:

— Что-то ты не похож *на своих* — и как это ты с бытом не сладил?

И утешает:

— Ты еще вывернешься... Купишь машину и дачу, хорошо устроишься. Все придет, Игорь,— ты не волнуйся, не волнуйся...

Или даже сердится на мои слова:

— Да что ты прибедняешься!

Когда подхожу к ее дому и подымаю глаза — вижу ее три окна, одно кухонное и два комнатных. Из них

всегда горят комнатные. Удивительно ощущение, что сейчас подымешься, войдешь в квартиру, и она там одна. Всегда одна. Бытовые окружающие предметы стали для нее, вероятно, почти живыми (не живыми, но и не вполне мертвыми), так что Нинель Николаевна — хотя бы и молча, глазами — с ними общается. Не случайно же одинокие люди наделяют мебель душой, сначала как бы шутейно приветствуя: «Здравствуй, мое зеркало... Здорово, стол!» — а углы и особенно темные ниши своего жилья невольно населяют чертиками и всякой иной нежитью. (Ночные страхи и видения начинаются с неосознанного желания населить углы хоть кем-то или хоть чем-то.)

И когда, редкий гость, я прихожу, едва только ноги мои переступили порог и стучат в прихожей, Нинель Николаевна, сама того не зная, рвет связи с углами и нишами, с душой зеркала, с рослостью шкафа и с иной придуманной нелюдью — она рвет с одиночеством, но ведь, сделав резкий шаг, остановиться трудно. И потому по инерции ее заносит еще несколько вперед. И вот она — среди людей (миновав общение вдвоем). Из одиночества она как бы сразу попадает в собрание. Она становится рассуждающей широко и социально, становится обостренно чуткой и воинствующей и потому-то, как сама совесть, обрушивается подчас на меня и мою обычную жизнь.

Это понятно.

Нелюбовь к чужим не дает ни уму, ни сердцу. У Нинели Николаевны есть соседи, отгороженные стенами, и есть сослуживцы, всякие там мелкие или малоприятные типы на работе. У нее есть люди в жэке, люди на почте, люди в гастрономе, с которыми она невольно день ото дня видится, но не любить их ей неинтересно, так что нелюбовь ко мне, быть может, особая честь. Возможно, нелюбовь не хочет быть рассыпанной по людям (и распыленной) по той же причине, по какой и любить мы тоже не хотим всех подряд, а выбираем кого-то конкретно. С другой стороны, всякое чувство опосредовалось, приржавело — и нелюбовь тоже не хочет вести к прямому противостоянию, предпочитая пелену тонко выбираемых слов сегодня, завтра, через полгода, через год, то снисходя, то вновь жесточея. Скопившееся мучит.

В невольном (отчасти) желании найти виновного Геннадий Павлович похож на Нинель Николаевну, но в словах он помягче.

Геннадий Павлович открыл дверь; в прихожей он добродушно ворчит, этак улыбаясь и слова растягивая:

— А-аа. Вот и гость пожаловал.

Я здороваюсь.

— Ну, ну. Молодец, что заглянул. Книжки полистать хочешь?.. И водочки стопку, конечно.

— Можно и водочки.

— Да уж!.. И водочку, и книги — и как это *ваши люди* все успевают?

Нинель Николаевна непременно нападает, наскакивает на того, кто с ней добр, притом что перемежающиеся нападки и жалобы — не просто женский жанр, но состояние духа. Она хочет быть понимаемой глубже. В идеале Нина хочет пострадать не от одиночества, а от обстоятельств извне, но и обстоятельства должны быть круто замешены и ее, Нины, достойны.

Ей не хочется человека. Ей хочется образа.

Но каждый раз, выкрикнув свои обвинения, Нинель Николаевна, человек чуткий к чужим бедам и втайне мягкий, испытывала раскаяние. Ей очень хотелось сказать — мол, тебе и твоей Ане я желаю только счастья, и не слушай, мол, Игорь, меня в моем одиночестве. Но она этого не говорила. Скрывала. Вместо слов возникал тик на лице, еле приметный.

И лишь иногда она подходила, чтобы проводить у самых дверей; она смешно крутила мне пуговицу на пальто и говорила:

— Ты, пожалуйста... ты не принимай близко к сердцу.

А левое веко у нее тихо-тихо дергалось. Она не смотрела в глаза.

И Геннадий Павлович, высказавшийся и тоже вдруг смущенный, гмыкал:

— Ты, Игорь, пойми, гм-м, и, разумеется, не принимай, гм-м, лично — мне ведь некому больше сказать.

Во внешний мир они, в сущности, выглядывали редко, но и тотчас же внешний мир их как-то очень ловко отталкивал, выталкивал из себя, выбрасывал на манер Даева и его Олжуса или на манер бывшего сокурсника, которого встретила и к которому пришла домой Нина.

Нинель Николаевна сидит у телевизора, звук которого выключен; она лишь случайно поднимает глаза на мелькающее изображение — что там? река, переправа? — и вновь Нинель Николаевна опустила глаза: вяжет. Она вяжет изящными движениями рук, руки у нее и правда красивы, тонки, и она как бы демонстрирует их подмигивающему бельму экрана.

Почему с ними (с ней или с ним) должно что-то стрястись? Ну да — одинокие. Но ведь люди как люди... Таких тысячи.

У нее — газ, у него — машины и перекрестки.

Но, может быть, я боюсь за них потому, что редко у них бываю и от незнания выдумываю. Может быть, я выдумщик, и потому не только Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, но также все прочие мои знакомые и приятели, и моя семья, жена, дочь, все люди и города, и деревни и весь мир вокруг — это хрупкая, моя и не моя, выдумка.

Глава четвертая

«Не жениться ли мне на продавщице? на официантке?» — рассуждал иногда Геннадий Павлович. Он плохо контактирует с пришедшими на смену, с заполонившими все вокруг трезвыми и практичными людьми, но, быть может, его, пожилого (и непредприимчивого) интеллектуала, как раз и способна понять простая женщина, понять и сойтись с ним, как сходятся подчас пресловутые крайности. Как думаешь?.. Ведь простая женщина по сути своей — народ, в старом и добром толковании этого слова; народ лишен крайних взглядов, народ не умеет и не хочет разделять на предыдущих и последующих, он всевелик и всеобъятен, не так ли?.. Народ понимает все и всех или не понимает никого, чем и велик! — не без высокопарности рассуждал Геннадий Павлович.

Но, с другой стороны, он тут же пугался. Он провидел жизнь с некоей Зиной, которая была, скажем, официанткой в кафе и которая выдумывала бы и рассказывала своим подружкам в белых кокошниках, как вчера вечером *они с Геночкой ссорились, а затем еле помирились.* Зина с фантазией, что поделать! А подружкам в кокошниках ее рассказы нравились. И поскольку отношения с Геннадием Павловичем были ровные и самые понятные, Зина сильно бы их усложняла, выдумывая какие-то сцены, ссоры, будто бы пьяные похождения Геннадия Павловича, особен-

но же как он, сильно перебравший, явился домой и как она его укладывала спать, жалела и обстирывала. Зина не видела бы в своих рассказах ничего дурного, она вовсе не оговаривала Геннадия Павловича и не добивалась от подруг жалости или сострадальческой доли — она полагала просто, что такова жизнь, *интеллигент ведь, подрался в жэке с монтером, а мне опять — разнимай*, опять же вино, блевотину его ножом соскабливаю с пальто, легко ли, говорила бы, всхлипывая, Зина по телефону, в то время как рядом Геннадий Павлович, ничего нынче, кроме боржоми, не пивший, мирно посапывал на уютном диване, в полудреме придавив щекой «Римскую эпиграмму» в подлиннике.

Он подобрал этот осколок своих былых мыслей — рой — и теперь за него держался. В сущности, он терял себя; он завершался как личность, вероятно считая, что рой — вершина его размышлений. (А это был итог.)

Нинели Николаевне перед началом своего выступления Андрей Вознесенский рассказывал о городе Марбурге и о студенческом общежитии там имени Ломоносова, расположенном на самой горе, у средневекового замка.

А выступление впервые не удалось. Потускнели: аудитория одного из лучших наших вузов притихла. Пылкие парни и девчонки не шумели о свободе искусства, не бурлили, не братались, не восклицали, *не слышали:* они как бы пропускали слова поэта мимо себя. (Пятый курс, они вскоре разбрелись по различным НИИ, занялись наукой; как невыносимо медлительно и как мгновенно они разъехались, вдруг заскучав и исчерпав свое время.) Поэт в тот вечер не мог понять, думал, что, может быть, он сегодня не в форме, не заболевает ли в простудное время,— и Нинель тогда ужасно мучилась, стыдилась смотреть ему в глаза, так как она-то знала, что стихи прекрасны и что читает поэт замечательно, но что в студентах, если не в самом студенчестве, уже зияет, уже означается пустота. Грянули вполсилы аплодисменты. Нинель едва не расплакалась. (После чтения, провожая, она расплакалась; поэт не понимал и только повторял смущенно:

— Спасибо... Спасибо...)

Мы пили у нее дома кофе, Нинель Николаевна

была весела и мечтала о человеке своего выводка:

— ...А я тебе говорю, Игорь, он появится — и мы непременно с ним встретимся, узнаем друг друга. Мы узнаем друг друга уже издали — сразу! Хотя бы и на улице, случайно, встреча в толпе тоже может быть определенным нашим знаком. Улыбаешься?.. Ну-ну!

А я улыбался тем не совпавшим полурыбкам.

И вот Нинель Николаевна говорит мне вполне серьезно, что некий человек уже устраивается к ним в НИИ на работу, *это он, Игорь, это — он*! Случайно она столкнулась с ним в отделе кадров, они разговорились, а затем вышли на улицу и два часа кряду разговаривали душа в душу, как вдруг потерялись — право, нелепо!.. Они потерялись в толпе, где новый универсам, а рядом с ним обувной, и люди там идут, как волны двух сливающихся рек,— нелепый людской водоворот растащил их в разные стороны. Он ей сказал: «У выхода?» Она сказала: «Да, да!»— и зачем ей надо было в обувной, у нее есть обувь, отличная обувь, ну просто женщина как женщина, вот и зашла... и потерялись. Он устраивается к ним работать, так что, разумеется, они опять увидятся, но жаль вечер — такой удивительный, чувственный и *все нарастающий* вечер. Да, Игорь, это он, мой мужчина, мой человек — он был остроумен, и совсем не навязчив, и деликатен, нет, нет, не одуванчик, чувствовалось влечение мужское, сильное, что ж отрицать! С ума сойти... Всего-то три строки прочел он из стихов нашего времени, но по уместности и по тональности их, по удивительной точности прочтения сразу же стало ясно: наш. Мы были друг для друга: мужчина немолодой и немолодая женщина. Вчерашний вкус? Но повторяю: было острое чувство, было даже прямое желание, хоть все было заткано, как пряжей, его духовной тонкостью: он был таким, каким ждался.

Разумеется, разумеется. Но каков вечер! И ведь всего-то два часа мы бродили, у меня не успели ноги устать. Голос проникновенный — он говорил такие пронзительные вещи о жизни и смерти, что и у Достоевского я не находила. Он знает людей. Он чувствует... А какие у него руки, нет, он не курил, но два раза вынимал платок — красивые, нежные руки...

Спустя же полгода, когда я вновь прихожу посидеть у нее час-другой, Нинель Николаевна с некоторым вол-

нением рассказывает, что к ним, кажется, собирается устраиваться на работу человек их выводка. Кажется, умный, интересный: видела, мол, его мельком в отделе кадров.

Еще через полгода, забыв, что говорила и что не говорила, Нинель Николаевна сообщает, что встретила все-таки мужчину, да, того самого, с которым они потерялись возле универсама. Представь себе, встретились на работе. У входа!..

Знакомство возобновлено, но ведь жаль упущенное время.

— Ах, если бы чуть раньше. Мы бы и отпуск провели вместе.

— Есть же следующий отпуск,— подыгрываю я.

— Разумеется. Но целое лето потеряно... В моем возрасте, милый Игорь, для женщины каждое лето на счету...

Он — знаток театра, театрал и тонкий ценитель, видишь ли, Игорь, в нашем выводке все театралы, воспитанные и на академизме, и на первом взлете *того* «Современника», нас не удивишь. Но он — нечто особенное. Он препарирует театр как проявление вековечного лицедейства, он изящен, убедителен; рассказывает он совсем негромко, чуть склонив голову, у него ежик, седые красивые волосы...

Нинель Николаевна возмущается:

— Всю жизнь прожить — и только сейчас найти человека!

И выговаривает себе же:

— Видно, не умела в свой час разглядеть... Видно, гордыня заела, а, Игорь?

Я киваю. И думаю вскользь о проявлении вечного, или, как она выразилась, вековечного, лицедейства: и ведь сумела, и ведь создала образ!.. Таким он, вероятно, и останется в моей памяти, этот высокий господин с седым ежиком и обаянием негромкого голоса и, разумеется, с утонченным пониманием театра. У господина прекрасная речь, отличные манеры, и, в сущности, у него единственный недостаток — несуществование. Он выдуман, хоть и отменно хорош собой.

Я не забыл, как тогда, на ночь глядя Нинель Николаевна открыла газовые краны и попыталась выразить

отношение своей юности к своей теперешней жизни; но ведь выдумки тем и хороши, что отвлекают, и, может быть, игра в отношения с театралом и сам театрал — не просто игра, греза, но и замена газового крана. Тогда хорошо. Она это вынесет. Надолго ли сны и долог ли век заменителей? (Бывает и долог.) Когда, утомленная цифирными бумагами и суетными сослуживцами, Нинель Николаевна приходит после работы домой, она наскоро стряпает, ужинает и только затем садится вязать возле мелькающего, иногда беззвучного телевизора. Расслабление. Покой. Именно в минуты вязания она погружается в себя настолько, что без труда и без медитативных усилий, благодаря ли яркому импульсивному озарению или, напротив, медлительным, постепенным и неудержимым приближением к образу в ней возникает *он*, живой человек, с седым ежиком, с чертами лица и с голосом,— ей видится то, что не видно.

Она рассказывает, что этому человеку (она никак не дает ему имя — или всякая обычность в приложении к нему становится невыносимо заземляющей и плоской?) — рассказывает, что ему всего-то семь-восемь минут нужно, чтобы высмеять лучшую современную пьесу, в точности указав ингредиенты ее духовного коктейля, собранные у драматургов прошлого, от елизаветинцев до Чехова... «Но не настаиваю, впрочем, на своем мнении»,— мягко говорит он, суждения его точны, но не злы. Он никогда не скажет: мол, кустари. Лицо закрыто, грустно. И веки смеживаются. И седина ежика чуть подается вперед, голова опущена, как бы все-таки смирясь и уйдя в тень под напором наступающего практичного, коктейльного времени.

Нина говорит:

— Какой ум. Какая душа. И какой такт. А ведь он всего-то старше тебя на десять лет, Игорь...

То есть этот ее идеал с ежиком, этот седой, знающий в театре мужчина — уже трудоустроен, в жизни определен, и у него биография; и с учетом возраста он, скажем, учился в вузе не вместе с Нинелью Николаевной, а шестью годами раньше.

...У нас все замечательно, люблю его, ревную: кажется, все женщины в него влюблены! Заботит меня лишь мое собственное нетерпение: слишком хочется совместной жизни, совместного дома, совместных за ужином вечерних

минут — но я, как ты догадываешься, об этом ему ни слова, ни намека.

Я подыгрываю:

— Да, да... Не торопи его. Будешь настаивать — можешь испугать.

— Знаю, знаю. Сама себя сдерживаю.

— Постарайся понравиться его родным.

— Уже, Игорь!.. Я познакомилась у них с его матерью — такая древняя-древняя (и совсем не изъезженная жизнью) московская старушка. Я ей понравилась. Можешь считать, что она меня любит. С ней просто. Знаешь, когда они пьют чай, это целое чаепитие — этакий солидный, несколько старомодный московский уклад, даже стол на львиных лапах: массивный круглый стол посреди комнаты, и чай только-только заварен, на столе пироги — и с грибами, и с вязигой, и с рыбой, скатерть старинная, красивая, а старушка, мама его, вдруг шепчет мне: Ниночка, милая, как бы я рада была, если бы сын мой наконец женился, ведь одинокий! И заплакала, бедная... и вся трясется сухонькими плечиками, сухонькой грудкой. А он спокойно, мягко поставил чашку с чаем на блюдце и говорит ей негромко: перестань, мама; у нас гости, мама; пожалуйста, перестань, мама... А та кивает. И плачет. Есть у него еще сестра — помоложе его, ко мне она в меру внимательна и в меру равнодушна.

. . .

Да, да, я не пытаюсь ничего ускорить: я не спешу. Он привыкает ко мне все больше, это верно, а только вдруг вместе с привычкой пойдет на убыль само чувство?

Да, он чуток — а я счастлива общением... Ты обделен, ты не понимаешь такого общения, Игорь. Мы знаем так много ласковых слов. Мы не стесняемся нежности. Для вас сюсюканье, а для нас — ласка. Вы намного грубее, жестче, и тебе не понять.

Через полгода, через год:

— А если бы со мной рядом работал человек нашей юности?! Умный, душевно тонкий! Я иногда думаю:

вот иду я мимо отдела кадров, а там стоит человек, устраивается к нам на работу...

Забыв, что еще год назад он был живой и с седым ежиком на голове, забыв о его старенькой матери и холодно-вежливой сестре, она говорит о нем лишь предположительно.

А я слушаю. И не перебиваю.

Если же за кофе, когда она пожалуется на одинокость, я, как бы невольно и как бы что-то припомнив, пробую осторожно сместить ее в область ее же фантазий, пробую мягко подсказать — и говорю: мол, не такая уж одинокая, был же у тебя раньше тот седой и деликатный поклонник, тот театрал,— она отвечает:

— А если я его выдумала?

— Тоже неплохо,— говорю ей я, потому что что же тут скажешь.

После того отравления газом прошел целый месяц, и другой месяц, и третий, и наконец она почувствовала, да и врачи сказали ей, что все в порядке и что теперь нет и следа. Да, она здорова. Да, полностью. Это счастье.

Нинель Николаевна радостно шла домой; все в ней ликовало, она чуть ли не пританцовывала на асфальте. Строго и с достоинством одетая женщина, она только и делала, что гасила саму собой возникавшую улыбку. Она шла пешком — она не могла находиться в транспорте, так ее распирало свежей силой... Были сосны. Сосны прибольничного окружения и меж сосен асфальтовая тропа. А перед глазами — начинающий клониться за крыши домов вечерний красный диск солнца. Сосны кружились, тропа пружинила под ногами как живая.

О выдуманном седоволосом мужчине без имени мог быть рассказ, где некая Нинель Николаевна мужчину выдумала, а затем до такой степени начинила образ живой жизнью, а отношения с ним — подробностями, что уже не знала, как ей быть и жить дальше. И тогда она придумала концовку о разрыве. О том, как они разошлись. Она несколько дней плакала после разрыва, даже болела; и был приступ стенокардии, так что ее гостю, случайно

пришедшему к ней вечером, пришлось похлопотать. Гость испугался за нее всерьез, потому что выдумка выдумкой, а сердце сердцем. Он накапал ей валерьянки; он измерял давление. Наконец, она уснула. Отправившийся домой гость — в данном случае это я, Игорь Петрович,— сначала обыденно шел улицей, дышал осенью, а затем вдруг заметил в толпе или, лучше сказать, наткнулся среди толпы на того мужчину, утонченного и седоволосого, с ежиком серебристых волос, да, да, вдруг заметил его среди людей на одном из переходов метро. Нинель Николаевна так старательно и так много о нем рассказывала, что он возник из ничего: в толпе, в толчее людей оказался на миг прогал пустоты, незаполненный промежуток, и тут же в этом прогале возник человек из сгустившегося воздуха: он материализовался. И зашагал. Он был в хорошем пальто. Строен. На голове седой, коротко стриженный ежик. Я шел за ним, пораженный, и когда он вышел из метро и, приостановившись, закурил — я тоже закурил и в остолбенении смотрел ему вслед. Он был тот самый человек, он не был копией. Он был — он сам. И у него тоже не было имени.

Конечно, подступала зима, и были долгие, одинокие зимние вечера, которые в начале зимы довольно томительны, так что Нинель Николаевна не могла не встретиться с пожилым и седоволосым и умным и утонченным человеком, а когда через четыре-пять месяцев я пришел к ней вновь, мы мило выпили ее некрепкий кофе и вышли подышать, всюду заметно зеленело,— стояли лужи, стояла весна, и весной этот пожилой, и седоволосый, и умный, и утонченный стал мифом. Он стал ей необязателен. Но в следующую зиму — опять появился. Быть может, приходи я пить кофе не раз в полгода, а раз в год, притом попадая исключительно по зимам, умный и утонченный человек все еще жил бы, существовал, и они бы по-прежнему дружили. И год от году я бы уверился. И был бы за Нинель Николаевну совершенно спокоен, так как в моем представлении она бы перестала быть одинокой. Почти что семья — столь долгая и длящаяся дружба, да еще с таким человеком!

Ну да: я могу предположить, что в часы апатии Геннадий Павлович погружен в свою золотую пору — там он выступает, гремит, словом, воюет со сверхначальниками,

отстаивая справедливость и вступаясь за людей обиженных, социально маленьких — что еще? — вспоминает стайку тех милых молодых женщин, что окружали его, следя влюбленными глазами, и среди них черноглазую (или, скажем, золотоволосую, что всегда боялась своего же порыва, своей любви). Но когда я вхожу, Геннадий Павлович ласкающие мысли отгоняет, а может быть, как всякий стыдящийся тайного порока, даже и судорожно их, ласкающих, от себя отстраняет или сам отстраняется от них — как проще? — и сразу же, виноватясь, говорит о том, о чем напоминает вид и облик пришедшего человека: о рое.

Я тем временем устраиваюсь в кресло посреди горы книг, так и не доразобранных (впрочем, возможно, что гора книг — новая гора, прикупленная им уже после той апатии, но до этой). Здесь же на столе — тарелка, чашка; и пыль, так что можно пальцем написать смешную, хотя и банальную, фразу о необитаемом острове. *Застигнут среди апатии.* Да, если он заболевает, он вот так и лежит — среди разора, книг и грязной посуды. Среди тарелок со старой окаменевшей яичницей. Любимое блюдо холостяков-интеллектуалов.

— ...Но самое простое — это, конечно, жениться.

Я слушаю и, как всегда, более или менее чутко с ним соглашаюсь.

— Жениться. И как-то реализоваться — иначе рой отнимает у меня последние соки, и я мертвец.

Киваю.

— Вот если бы мне только избавиться от этих апатий.

Киваю.

Оторвав глаза от рериховской копии и помолчав минуту-две, Геннадий Павлович вновь говорит:

— Ах, если бы вернуть хоть частицу молодости. Представь: я, очень любивший посмеяться да и умевший посмеяться *над всем этим*, теперь иногда вдруг сам подумываю об эликсирах... Смешно?

— Смешно.

— О женьшенях. О допингах. И даже о всякой уже совсем нелепой чертовщине — ты никогда среди ночи не думал о черной магии?

Геннадий Павлович расслаблен.

— Стар я, Игорь. Ох, как я стар духом...

У него наворачиваются на глаза слезы. Я молчу; и уже отчасти жалею, что к нему зашел.

— Геннадий Павлович. Телевизор так и не работает? — спрашиваю я, нажимая и отжимая кнопки.

Спрашиваю:

— Как на работе — как ваш отдел? Его у вас не отняли?

— Пока нет...

Геннадий Павлович улыбается. На его высоком лбу возникают, впрочем, морщинки.

Геннадий Павлович никогда не ездит в отпуск.

Он пояснил, что такое — уехать в отпуск: сначала человек провожает самого себя куда-то далеко, а затем самого себя уже там развлекает или трогательно бережет от заболеваний. Он водит самого себя на утреннюю гимнастику и на ванны. После обеда он торопит самого себя к удовольствиям, упустить удовольствия он также не хочет.

Человек не только не становится цельным, но именно там, в отпуске, явно раздваивается, то опекая, то развлекая самого себя, как чужого, хотя и знакомого, человека.

«Выглядишь плохо,— говорит Нинель Николаевна.— Или ты маскируешься под усталого? Ваши люди очень любят выглядеть усталыми — почему, а? и еще *добрыми* — это у вас прямо-таки любимое слово, *добрые*, прямо как тотальная маскировка; мимикрируете, сознайся?» — говорит она, как всегда жестко, но глаза ее мягкие, размягченные, добрые, так как Нина прячет сейчас волнение и радость, обыкновенную радость, что к ней пришел человек в гости, хотя какой я гость. От волнения ей немножко зябко. И она продолжает говорить колкости:

— Нет, нет, Игорь, ты должен следить за здоровьем — мне думается, что ты много интригуешь с начальством?— сетует она, словам вроде бы не придавая колкого (укалывающего) их значения. И направляется на кухню, чтобы поставить на огонь кофе, предварительно отложив свое вязанье в сторону.

Жаль, что она вяжет: облик в литературе любит полноту, а даже и пережим в своей полноте, так что Нинель Николаевна, приходя с работы — приходит *из мира*. Из мира, который ее не понимает, который ее оттеснил, если не вытеснил, и потому-то она, придя с работы и переодевшись, прежде всего садится за фортепьяно и в бур-

ных пассажах изливает душу. Облегченье какое! Мог быть весьма утонченный рассказ о том, как уже на ее лестничной клетке, где на стене желто-бурое пятно, похожее на карту пятого континента, и чуть прежде, чем надавить кнопку звонка, я по звукам из-за двери, по рисунку взрывной или, напротив, томящей музыки — Шуман или Шопен — уже с порога или даже до порога выявлял ее настроение. Я знал бы, к кому прихожу. И был бы, войдя, более точен и чуток с первых же приветственных фраз. Фортепьяно помогло бы ей также и на ночь глядя, в те тихие полчаса ночи, когда одиночество кладет на плечи свои тяжелые лапы и когда Нинель Николаевна подходит к окну (не удерживая себя, вглядывается в чужие окна, как в чужие жизни). Правильная последовательность — как покой. Оценив ночные владения одинокой женщины, Нинель Николаевна отворачивается от окон и вновь медленно приоткрывает крышку фортепьяно, садится — и вновь длительно, как вечно, льется *жалобка*, печальная жалоба одиночки в мир, пока не возникнет хоть чей-то отклик; пока не послышится, увы, суровый ответ *из мира*, то бишь постукиванье в стену соседей, требующих ночной тишины.

Но она не играет на фортепьяно — и фортепьяно у нее вовсе нет. Она вяжет на спицах. И, в сущности, это так человечно. То свитер. То шапочку. То кофту на холода.

— Плохо ты выглядишь — почему? — Нинель Николаевна повторяет вопрос, сварив кофе и уже с кухни вернувшись.— Я думаю, Игорь, это не просто усталость, не просто ваша суета распродажи и устраиванье делишек: вы слишком себя приспособили! И с годами *у вас будут ваши* трудности... знаешь: к старости душа мало-помалу пробуждается. Вы будете думать, что вас душит плохо повязанный галстук, а это — душа, ха-ха-ха-ха...

В результате некоего обмена у Нинели Николаевны объявился новый сосед: нет-нет и они, как водится, оказывались вместе в лифте, а иногда у почтовых ящиков,— а однажды он позвонил в дверь и спросил у Нинели Николаевны, который час, так как его часы стали. В том не было ничего предумышленного или особенного; он был вежлив, пригож и в меру с той самой сединой.

В течение двух или трех недель Нинель Николаевна

видела, что он задумчив и что не очень-то счастлив,— он и правда был вполне одинок, к тому же сильно удручен недавним разводом и алиментами. Ему было пятьдесят с небольшим. Он казался слишком в себя, в свою судьбу углубленным. И, конечно, попытка разгадать тайну его замученного лица и жестов руки, меланхолично поправлявшей рассыпающиеся, всегда тщательно промытые его волосы, привела к тому, что Нина тихо влюбилась. Любовь была припрятанной, сладкой. Тем сильнее было разочарование. По сути, его вина, вина мужчины была лишь в том, что он и не подозревал о ее чувстве. Нина же продолжала считать, что он несчастен и откровенно одинок, пока не увидела его однажды весьма резво подходящим к дому вполуобнимку с какой-то женщиной,— конечно, это был подлый и сильный удар. Нинель Николаевна слегла на четыре дня, заболела — но и болея одинокая женщина пыталась его оправдать, передумывала событие так и этак, мучилась, упрекала, вновь оправдывала, а поутру, когда мученья ее допекли и молчанье стало невыносимым, она сама и впервые спросила его возле почтовых ящиков, где обычно его подстерегала, чтобы поздороваться. Она спросила с привычной строгостью в голосе, но и с готовностью выслушать, понять и, может быть, простить: «К вам, кажется, приходила в гости ваша сестра недавно — дня три назад?» Ответ был ужасен, а его улыбка, похотливая и откровенная, еще ужаснее: «Нет. Не сестра»,— и больше Нинель Николаевна уже не спускалась поутру или вечером спешно к почтовым ящикам, сочтя соседа низким, низменным типом. Обычно Нина сбегала вниз в синем элегантном брючном костюме, под который надевался белый свитерок — цвета́ блондинок.

К счастью, Нинель Николаевна себя вовремя понять умела; при некоторой склонности к мелодраме в ней хватало кремния. Она не играет на фортепьяно: она вяжет. Нинель Николаевна тогда же себе сказала — да, да, выбросила из головы, никаких любвей на лестничной клетке, я *выбросила*, хватит, стыдно же,— сказала себе, однако психологические ходы, как известно, извилисты, тонки, а тайны души лишь затемняются от покаянных зареканий никогда не смотреть, никогда не думать, никогда не говорить. Так что и после того, как дала зарок, несколько ночей Нина лю-

била: она обнаружила целый клубок, сплетение дорогих сердцу, притаившихся до поры мыслей и маленьких фантазий; теперь приходилось отрывать, хоронить каждую в отдельности.

Возможно, что из привычной твердости духа Нинель Николаевна вытоптала, выжгла в себе лишнее. Такова прерывность. Она уже не мучилась в тот закатный час, когда шла со службы и думала — вот сейчас приду домой и что?

Но тогда-то, совсем неожиданно, ей захотелось чего-то определенного — простецки понятного, живого. (Нинель Николаевна не хотела звонить по каким-то стародавним, забытым телефонам, тем более что, едва подумала, пробежала прошлое мыслью — и в памяти стали появляться какие-то мужские лица, обрывки слов и обрывки отношений, она лишний раз обнаружила, что там все давно омертвело.)

Не хотелось ни в концертное заспанное время (не хотелось музыки), ни даже в театр, где в наилучшем варианте будешь толковать с кем-то в перерыве о старении актеров,— нет, нет, она поймала себя на том, что ей хочется именно грубоватого и случайного знакомства, она решила вдруг походить по ресторанам, походить одна, поискать случая, увлечения, может быть, и *пожить жизнью*, что всегда казалось ей нехорошо, пошло.

Нехорошо, пошло было это и в действительности. Из интересных людей никто в ресторане к ней не подсел, не подошел. Никто не встретился и на входе, со светской улыбкой помогая ей, скажем, раздеться, остро́ шутя и доверительно заговаривая о неинтеллигентности здесь окружающих.

Среди множества веселых полупьяненьких приставал Нинель Николаевна была как лишняя. За столиком, где она села, было тише тихого. Или она так уж держалась, с отгороженностью и с горделивостью на лице? или возраст?.. Мужчины интересные и мужчины уродливые, а также просто безликие лысые толстяки шутили, заговаривали и пили с молоденькими, которых было здесь сколько угодно. Или искали в возрасте, но тугих, сбитых, сочных женщин и чтоб была явно попроще, попонятнее — пусть даже из легко и совсем понятных. Они все *желали иметь желание*. Хотя бы грубое. А Нинель Николаевна была как чужая, никто за ней не приударил, никто не поволочился, никто не лез с неловкими двусмысленностями — ни из шаставших, ни даже из сидевших рядом, из

деливших с ней стол. И вопреки логике человека, пришедшего сюда скромно поужинать, Нинель Николаевна вдруг делалась недовольной поданным блюдом, дерзила официантам, перед мороженым заказывала бокал шампанского и вдруг что-нибудь фирменное, сверхдорогое, что долго затем ждала, вся на нерве, и оставляла после, не съев половины.

Для этих походов пришлось к тому же купить две-три нарядные тряпки, так что вскоре Нинели Николаевне предстояло довольно туго затянуть поясок. А также одолжить до зарплаты у одной из сотрудниц, с которой не было никаких отношений, кроме того, что иногда одалживались. Заодно ей предстояло вновь пристыдить себя, на этот раз за рестораны — и покончить с поисками; вернувшись домой как-то вечером, Нинель Николаевна повернулась в прихожей к зеркалу и увидела там стройную женщину с лицом почти старушки. Нинель Николаевна трезво, прямо посмотрела на нее и сказала:

— А?

Она как бы воскликнула:

— А?.. Неужели всё?

И расплакалась. Слезы были спокойные, похожие на пришедшее наконец умиротворение, хотя умиротворения не было. Нинель Николаевна отошла от зеркала, но перед глазами все еще стояло подкрашенное для выхода на люди лицо почти старушки.

Еще несколько дней она томилась, выметая из памяти всяческий сор и паутину ресторанных своих походов, затем дышать стало легче и стало думаться о подступающем отпуске. Юг! Юг!.. Сердце у нее тут же молодо и сладко млело, когда она провидела огромные звезды на черном небе и дыхание южной ночи, из тех теплых, насыщенных ароматами ночей, спать в которые человек, кажется, не сможет, не сумеет. Ощущение юга сохранилось в ней — слава богу!.. И надо было уже сейчас спохватиться и обдумать, да, да, спохватиться, потому что деньги она в эти дни тратила и тратила, а пора было их считать. На юге, как всегда, она снимет отдельную комнату со своим входом, будет есть виноград и не отказывать себе иногда в рыночных фруктах: она ведь всякое лето за страсть к югу и привычную жизнь *там* платила *здесь*, в городе, крохоборством и какое-то время ежедневной экономией. Теперь это напугало вдвойне. Но она поедет, она непременно поедет — она готова подголадывать, готова позвать

оценщиков мебели и остаться в голых стенах, но поехать на юг. Она, возможно, могла бы отказать в поездке самой себе, но она не могла отказать тому лучшему, что в ней было. Юг!..

...Давила дурная погода и мучило настроение, как вдруг ворвалось красивое, всегда звучное для нее слово;

— Отпуск.

Она вышла из вагона с изящным чемоданом и дорожной сумкой; на перроне с первых же шагов повеяло тем миром, который она любила, Пятигорск сразу же и хорошо лег на сердце.

С утра Машук был как отмытый дождем, зеленый, сверкающий,— вдали и несколько отнесенно синел Бештау. Среди прочих людей, приехавших из шумной столицы, Нинель Николаевна с улыбкой, но в то же время строго оглядывала свои владения. Горы были на месте. Тропинки тоже. Люди прогуливались, улыбались, пили внизу нарзан. (Была тут необъяснимая, чудесная отдельность.) Попался и почти обязательный в каждый ее приезд странноватый человек первого дня. На этот раз им был совсем молодой человек: он сидел неподалеку на скамейке, пил портвейн и оправдывался. Устремив глаза на вершину, он говорил Нинели Николаевне, что пьет вино исключительно для того, чтобы исторгнуть из себя слезы,— он переполнен чувством любви к Лермонтову, ехал, ехал и ехал сюда (к нему) две тысячи километров, но вот приехал, прибыл и онемел в чувствах; от растерянности, а может быть, от усталости в долгой дороге он никак не может заплакать, хотя слезы в душе давным-давно.

Нинель Николаевна и сама посмотрела на Машук: гора сейчас была в золотой дымке. Время замерло.

Лишь однажды Нинель Николаевна была в санатории, и санаторский вариант отдыха ей крайне не понравился: было шумно, суетно, а оказавшаяся рядом подруга по комнате вешалась мужчинам на шею, то торопя, то вновь считая свои драгоценные отпускные дни. Это не только коробило Нинель Николаевну, но лишало ее тихих вечерних часов в своей комнате. Приходили-уходили, были шумливы. Нинель Николаевна погрустнела. Курорт-

ники беспрестанно ее там и тут удивляли. Некоторые в силу многолетней привычки к семейному обиходу просто не могли жить не спарившись, а спарившись — он и она — уже на следующий день вели совместную жизнь и даже с общим бюджетом. И вот подруга по комнате уже покрикивала на своего дружка, если он часто выпивал или являлся «домой» слишком поздно ночью. Люди вовсе не отдыхали — люди жили. И притом посвящали в закулисности. Было смешно и по-человечески печально, но суховато-сдержанную Нинель Николаевну окружавшие ее временные суррогаты семьи (те или иные) лишь раздражали суетой, а порой она просто недоумевала — что же для женщины тут нового? ведь в точности как дома — и зачем юг, если и здесь все копируется один к одному?

С той давней поры Нинель Николаевна снимала на юге комнату, предпочитая переплатить; хозяйка была грубовата, но чистоплотна. Что касается общения, то вступить в какой бы то ни было контакт становилось труднее, сложнее. Но спасали долгие прогулки, спасало здоровое физическое утомление и неспешная жизнь. Спалось ей чудесно. Натаптывая забытые людьми тропинки, она лишь изредка и на короткое время попадала в известные группки солидных дам и мужчин, толкующих о здоровье. Чаще была одна. В полнейшем штиле личной жизни она говорила себе, что ведь хорошо отдохнула, приняла ванны и совершала почти ежедневно большие прогулки: на водах как на водах. А ведь поутру так приятно солнце!..

Геннадий Павлович сказал:

— Хожу как ватный... Вчера чуть не сбило машиной.

Сказал он со смехом и сказал не в первый раз, так что я, знавший о подобных его случаях, покачал головой — мол, как же так! Но что-то во мне тогда словно щелкнуло: скользнула мысль, что вот так, мол, и нарастает болезнь его одиночества, нарастает от одного перекрестка до следующего перекрестка. Болезнь нарастает сама собой: без драмы, без криков, без каких-то и с кем-то счетов.

Тогда же Геннадий Павлович прибавил:

— Смотри!.. Придется тебе меня кремировать — больше ведь некому.

И вновь он засмеялся: то-то, мол, хлопоты!

И Нинель Николаевна после отравления газом попала в ту же болевую точку, и *как это на кухне остался вы-*

вернутым газовый кран, ума не приложу, Игорь, а я тогда сидел на полу на корточках и сгребал с пола, с паркета, с коврика, а ее вновь и вновь рвало. В одну из замедлившихся секунд, когда спазм отпустил и когда лицо ее расслабилось и появилось на лице подобие виноватой улыбки, Нинель Николаевна сказала:

— Да, Игорь... еще немножко, и тебе бы пришлось сильно озаботиться.

Она тоже имела в виду самые последние хлопоты, а я проворчал:

— Я в эти дни мог быть в отъезде.

— Игорь, милый Игорь, ты не мог быть в отъезде — ты бы обязательно был где-то в городе, близко, и тебя обязательно бы нашли!

И она засмеялась.

Да, у них культ своей юности... И что?

Когда я был помоложе, у меня был явный дефицит судеб и людей: дефицит близкого их знания. Людей, так или иначе соприкасавшихся со мной, было мало, так что слежение за типом, за поразившим меня характером отсюда и шло — от незнания. Записывание на отдельных листках, собирание характерных черт в отдельный ящичек, в отдельную коробку, а то и на магнитофон, чтобы анализировать, чтобы уловить в оттенках его речи пресловутые полутона его совести,— все это было молодо, возрастно́, нелепо, но ведь было. Зато теперь, как и всякого человека, кому уже за сорок, люди меня обступили, людей много. Картина обратная: я не хочу узнавать.

Когда вокруг переизбыток судеб, встречи не в радость: люди заботят, забирают время, тяготят или даже мучат. Родные, близкие, знакомые, просто друзья — их слишком много, но еще больше горестного о них знания. С возрастом я уже не в силах в себя вместить их ранние инфаркты, гибель их родителей, болезни, неудачи на работе, неожиданный крах личности, случаи (прискорбные) с их взрослеющими детьми, отчего во мне скапливается день ото дня темная, густая, липкая горечь — удел всякого знания в определенном возрасте. Я уже не хочу знать. Во всяком случае, я хотел бы знать меньше, узнавать реже, чтобы успеть хотя бы пережить узнанное искренно и не-

спешно, не на бегу. Я не омертвел от бед. Но я от них оглох. Я плохо слышу. С каждым годом мне все более трудно общаться: трудно жить. Да, непринадлежность себе. Если о литературном труде, то и тут горестное знание ни к чему, так как не успеваю я ни воплотить, ни даже более или менее глубоко осмыслить. Высвечиваясь в событии, жизнь человека проносится вдруг вся, с подробностями, с портретом, с психологией, с трудностью или с благостью смертного часа, однако проносится она столь ошеломляюще быстро, что опять же я не испытываю ничего, кроме самого ощущения пронесшейся чьей-то жизни. (Только и успеваю подумать: мог быть рассказ.)

И тем более узнавать близко посторонних (то есть просто людей, не родных, не близких, не друзей и т. д.) — перебор, и всякий человек уже к сорока годам подобный психологический перебор чувствует. Все не вместишь. И потому (невольно) я стараюсь приходить к ней и к нему как можно реже. Даже забываю о них. Иной раз я, кажется, надеюсь, что однажды совсем о них забуду и не навещу, не приду.

Их разговоры о возможной смерти, о кремации, которой они оба не без некоторого удовольствия меня пугают, вызывают во мне неотчетливую отрицательную эмоцию. А как иначе?..

Слова Геннадия Павловича:

— Ты, Игорь, жил себе и жил — и вдруг оказалось, что в огромном городе еще некий один человек, *помимо родных и близких*, навесил на тебя свои похороны.

Тема, помнится, вошла (или, может быть, вползла) через вполне шутейную дверцу: Геннадий Павлович обстоятельно и едва ли много преувеличивая рассказал, как однажды ему переехало колесом легковой машины ботинок и травмировало ноготь ноги. А спустя время на бойком перекрестке, когда там не было, казалось, ни одной машины, его ударило по щиколотке подпрыгнувшим колесом появившегося вдруг «Запорожца». А затем — и тут он тоже виноват, так как слишком задумался,— ударило под коленкой, это с год назад, а вот совсем недавно на обычной маленькой улочке, *я же тебе рассказывал*, машина сбила, ударив фарой в пах и в бедро.

— Ты заметил, что уровень опасности все повышается,— пошутил он.

А Нинель Николаевна как-то тоже сказала в шутку, внося из кухни сваренный кофе:

— Ты знаешь, Игорь, у меня что-то опять пахнет газом.

Лето — на это образцовое время года у нее есть для общения офицер прошлого века, двадцативосьмилетний, русоволосый, с темными усами, несколько молчаливый, но, конечно, знающий поэзию и правила чести.

Удивительная легкость, с какой она со *своей полурыбкой* пытается втиснуться в век дворянских мазурок и полузапрещенных дуэлей, хотя почему, если ее не узнали здесь, почему должны были бы, по правде говоря, узнать ее в том, в девятнадцатом?.. Может быть, и там он прошел бы мимо и не узнал ее, как ни обмахивайся она своей шляпой, широкополой и крымской.

(Не умеете любить вы, говорит она. Или: О боже мой — перевелся мужчина!..

Так думает или так хочет думать, и лучше не затевать с ней отвлекающего разговора. Лето — и пусть любит офицера старой русской армии времен кавказских войн. В белой фуражке с околышем он и правда хорош.)

Отчасти она сумела внушить. Сумела меня напугать — и она, и он — оба сумели; я действительно боюсь за их жизнь и *ни минуты не хочу думать об их кремации.* Я бы поиронизировал, если бы, увы, не видел, что они в самом деле уходят.

Если речь заходила об их юности, понятно, что я пересказывал иногда Нинели Николаевне слова Геннадия Павловича, вовсе на него не ссылаясь и подчас не помня даже, чьи слова, а ему, в свою очередь, пересказывал опять же невольно слова и выражения Нинели. Тем самым слова оборачивались. Они возникали как бы из ничего, перепрыгнув промежуток в полгода и больше. Слова кру-

жили в нас, и мы вели долгий и общий разговор втроем, сами того не замечая.

...Нет ни души, и я одинока, Игорь, учти это! Есть забытые родные в Заволжье, с которыми я не поддерживаю отношений, но сообщать ли им? не вызовет ли известие о моей смерти их шумного и ненужного нашествия, отчасти из желания посетить, посмотреть столицу? Притом что ты будешь должен потратить уйму времени на их устройство и неизбежные разговоры о том, что я была замечательный человек, прожила, мол, свою жизнь скромно и достойно, работала до последнего дня и так далее. Жаль, ордена нет. Быть может, тебе придется еще и свидетельствовать, встрять в какой-то раздел имущества — делить нечего, но кто их (водяные знаки родства) наперед знает? Они могут думать, что как-никак москвичка и что-то за жизнь нажила!— подобными, подчас смешливыми разговорами (о якобы вот-вот предстоящем) ей удалось-таки меня испугать и вползти (через страх) в мою подкорку.

И через полгода, кажется, нет, через год после отравления газом случилось так, что я пришел к Нине и дома ее не застал; я закурил, я ждал, а сверху как раз спускалась медлительная старушка с ведром мусора. И я вдруг стал с ней любезен. И легко заговорил. Я улыбался, когда улыбалась старушка, и охал в ответ ее охам, мол, давит погода, а дождей нет и нет... Мы разговорились, и я уже звал ее по имени-отчеству, когда, выйдя из лифта, появилась наконец с сумочкой через плечо строго одетая, стройная, сорока с лишним лет женщина — Нинель. «Вот ты с кем!» — улыбнулась она, и не мог я не сделать в мыслях обратного движения: не мог не подумать, что в прошлый раз она не столько газом меня напугала, не болезнью, а именно шутливыми словами о хлопотах, о грузе последних тягот на моих плечах, отчего я полусознательно и завел вдруг контакт с соседствующей старушкой, которая — да, да, да — *при случае поможет*, ну, там прибрать, обмыть, подсказать, что и как.

Абсурд, но это было так. Я (уже в прихожей) рассказал Нине, и она тут же принялась хохотать:

— Боже, какой ты заботливый!.. какой практичный!

Она смеялась, да и сам я уже смеялся. (Тем не менее

в том состоянии отвратительной минутной паники я не мог, не умел отделаться от ощущения, что *при случае* я действительно окажусь как без рук. И в растерянности. Ведь к ней на последние проводы не явится ни одна душа. Какие там родственники! — да они просто не ответят на телеграмму мою или в лучшем случае, полагая, что я — обеспокоившийся ее сожитель, пришлют в ответной телеграмме пышное соболезнование, полное опечаток.)

Мы пьем кофе, и Нинель Николаевна грустно говорит мне уже о другом:

— Боже мой, на работе *ваши* совсем остервенели — ну и выводок, они рвутся к должностям и так спорят, так не любят друг друга. Не знаю, чем это кончится, Игорь...

Перекличка с юностью случилась в, казалось бы, замшелые тихие дни.

Он наткнулся посреди улицы на бывшего однокурсника, тот сразу узнал и вскрикнул:

— Гена! Гена!.. — Бывший однокурсник, по имени Ваня Авилов, покупал ковер (вещь недешевую, которую он уже выбрал, отложил в сторону, но ему самую чуть не хватило денег).

Если ехать за деньгами домой — ковер уплывет, по тем временам ковры уплывали быстро. И тут-то Ване Авилову, человеку, как правило неудачливому, прямо посреди улицы встретился после стольких лет Геннадий Павлович, Генка Голощеков, и тут же Генка вынул из кармана недостававшие полсотни рублей (тоже ведь нашлись, могло с собой не быть!) и выручил, после чего бывший однокурсник Ваня Авилов купил ковер, а Геннадий Павлович помог скатать, сложить и всунуть его в такси.

Как и обещал, деньги Ваня Авилов вернул почтой сразу же, и его коротенькая дружеская приписка на почтовом листке вдруг всколыхнула сердце Геннадия Павловича: ковер — сущая мелочь, чепуха, бытовщина, но ведь важно, что выручил, помог, о, как бы помог он и в более мелкой мелочи, как это важно — помогать!.. У него так приятно дрожали руки, когда он сворачивал Авилову ковер, и частило сердце, когда смотрел поехавшему такси вслед; рисунок ковра, ориенталистский его узор еще несколько — несколько! — дней удерживался в глазах, как отпечатавшийся на глазной сетчатке.

Даже в те времена, когда он был деятелем определенного масштаба, если не ранга, он не чурался обычной и человеческой (и совсем не масштабной) заботы. Более того, он мелкую заботу любил. (Что говорило уже тогда об избыточной юности. И отчасти о скором падении.) Найти для больного товарища необходимого ему знаменитого врача (было!), добиться для молодоженов квартиры (было!) или вдруг просто собраться вместе и повоевать с консервативным начальством (было, было, было!) — в тот вечер, засыпая, Геннадий Павлович на несколько минут стал прежним героическим Хворостенковым. Особенно приятно было входить одному к какому-нибудь сверхначальнику в большой сверкающий кабинет и гордо отвечать: «Нет...» и вновь: «Нет...»— и когда начальство, наконец осознав, распахивало ему объятия, важно было в объятия не лезть и в замы не лезть, а даже и посторониться, уйдя несколько в тень.

Вспоминалась и стайка: череда милых лиц, размытых временем, но прекрасных. «Я сбегаю в библиотеку — сейчас же! За журналами, хотите, сбегаю?»— волновалась одна из них, не в силах выразить свое к нему чувство и все же полно выражая его и дрожью голоса, и понятной необязательностью вопроса.

Кумиры как кумиры. Твардовский и Хрущев остались в том времени навсегда. (Он ведь не спорит: они шли своими непростыми путями, пусть на пределе сил сопротивлялись времени, пытаясь срастись с валом наступающих лет, пусть так или не так — он им не судья; но последовавшее прочтение их судеб его мало интересует. Он ценит их — *тех*.) Да, стойкие образы прошлого. Да, да, он не желает, хотя бы даже отчасти, говорить о них, боясь или даже пугаясь, что тех, кто слишком много поминает сейчас их имена, очень скоро придется тоже в той или иной модификации зачислить в напирающую и практичную нынешнюю толпу. Он их оставил в том времени. Он их любил.

Прошел ровно год, когда Ваня Авилов позвонил и попросил пристроить его, отягоченного бедой и гонимого, на работу: он не скрывал, что выпивает. Геннадий Павло-

вич посокрушался, попенял, но ведь беда, и в беде тот самый Ваня Авилов, постаревший, но шумный, яркий, с цыганщиной в лице и в то же время скромный, честный, которому конечно же надо помочь.

Помочь не удалось.

Едва Геннадий Павлович ввел его в свой отдел, высокое начальство пресекло оформление на работу, притом что, осердившись, они даже не вызвали, не сочли нужным с Геннадием Павловичем переговорить. (Большой начальственный кабинет обошелся без былых страстей.) Через кого-то — через средненького, неумного чиновника они сверху передали суть: того уволить, а этому выговорить, нет, нет, не приказом, устно.

(Авилова уволили, Голощекову выговор.) Но если ты не можешь помочь человеку, тем более человеку своей юности, что ты можешь? Зачем ты живешь? Полсотни, данные в долг, погрузка в такси, счастливый взгляд вслед и несколько ночей с ожившими грезами — все стало мелким, лишь подчеркнувшим ничтожность нынешних дней. Геннадий Павлович возвращался домой, и в этот же вечер на улице его в очередной раз сбила машина. Сбила, еще сколько-то протащив по асфальту за прихватившуюся одежду, так что гибель под колесами была вполне возможна. Когда человека потрясают возвратные отголоски молодости, машин на перекрестках становится вдруг много.

Позвонили; через чужих людей званный, я пришел, когда Геннадий Павлович был уже при смерти, он хрипел, вокруг в полумраке предметы означались неясно; реанимационная с отсеками и с невысокими перегородками меж больными походила на последнее общежитие. Меня пустили на минуту, когда он уже не открывал глаз и только цеплялся ногтями, пальцами левой руки за простыню и вдруг рвал белую ткань с судорожной высвобождающейся силой. Он повторял, бормотал какое-то последнее слово, похожее по звукам на *видиняет*, непонятное ни врачу, ни мне, и, когда врачи спросили, я сказать им ничего не мог: я толковал слово так и этак, но без успеха.

(Так и было бы. С работы бы, конечно, позвонили и спросили: не нужна ли помощь? — и хотя у меня явилось бы немалое искушение взвалить похороны на их

трудовые коллективные плечи, однако при мысли, сколько чертыханий вызывал у них Дублон при жизни, я пожалел бы их, пожалел покойника и от помощи отказался.)

Я вернулся в опустевшую квартиру Геннадия Павловича. Поставив урну с прахом на пол, единственный, хоть и бесправный наследник, я молча посидел, затем порылся в буфете и нашел хлеб (чтобы не черствел, он держал хлеб в полотенце). В пустом холодильнике холостяка нашлась еще луковица и немного сыру, под купленную бутылку водки мне ничего больше и не нужно, можно помянуть. За окном темнело; я не думал ни о смысле его жизни, ни о ее первоначальном замысле. Юноши и молодые люди ищут смысл личной жизни, в то время как мы, немолодые, осмысляем жизнь более или менее безлично — потому-то юнцы нервничают, а мы уже нет. Наша задача попроще. *Видиняет?*

Я сообщил Нинели Николаевне не из каких-то там побуждений и не из какой-то мысли, но я вдруг, просто так, для самого себя неожиданно позвонил и сказал ей: сбило машиной; погиб; тот Голощеков, помнишь? — и Нинель Николаевна сразу и быстро ответила: приду...

Но пришла в крематорий она, вероятно уже жалея о том, что так поспешно откликнулась и согласилась: ощущения предстояли не из лучших. Процедура кремации оказалась томящей. Людей с его работы, сослуживцев было немного, но все же они принесли цветы, они были и сгруппировались, стояли вкруг гроба, который через какое-то время опустится вниз, чтобы там, внизу, войти в огонь и сгореть.

Сослуживцы говорили тихо — слова их кратки, прочувствованы. Они прощались: последние минуты, когда рой отпускает своего. Нинель Николаевна слышала плохо. Голова кружилась, было ощущение слабости, неуверенности. Как сквозь сон она слушала исполнявшийся в записи хорал Баха... и искоса выглядывала меня, единственного здесь человека, кого она знает. Однако меня не было, это ее насторожило. Но речи вдруг смолкли — и вот общее шевеление перед прощанием; люди двинулись, Нинель Николаевна бледнеет; она, как и другие, проходит вперед к гробу — приближается и вдруг видит, похолодев, совсем чужое лицо старого человека с усами. И его подушечку с двумя орденами. Она сдержалась, чтобы не от-

шатнуться, она просто отошла от гроба, а затем тихо-тихо выбралась на улицу; и только тут в полной растерянности кинулась к автомату, чтобы звонить мне.

Меня дома нет. Тогда, поразмыслив, она вновь входит в вестибюль крематория и обращается наконец к служителю, который немедля и очень четко отвечает ей, что да, товарища Голощекова Г. П. кремировали около часа назад, да, как раз перед этим орденоносцем, также окончившим позавчера свой жизненный путь. Нинель Николаевна, чего с ней никогда не бывало, перепутала час.

(И было бы это по той же причине, почему они *не узнали* друг друга при жизни. Что-то им на земле мешало. В былые времена сказали бы — судьба.) Она звонит на этот раз по телефону Геннадия Павловича, чтобы застать меня там и как-то объяснить свое опоздание и вообще объясниться, но трубку там не берут. Хотя я там. Я сижу там один. (Урна с прахом на полу.) Сделавший что положено, усталый, я сижу и поминаю; пью; за окном темнеет, я закусываю сыром и луком, опрокидываю еще и еще стопку, после чего, утомившийся за такой долгий день, засыпаю там же на его диван-кровати, в пустых его стенах. *Видиняет.*

На кремации я был один. В пустом зале гроб был опрятен, небросок. Сначала я слушал Баха, затем в молчаливом просветлении зазвучал Шопен, и это значило конец. Тихо ступая, ко мне приблизилась служительница и, хотя, кроме меня, ни души вокруг не было, спросила полушепотом, как отчество покойного — имя и фамилия у нее записаны полностью, а вот отчества нет. Затем она отошла к изголовью, постояла там и, прежде чем дать знак на сожжение, негромко и с тактом объявила:

— Геннадий Павлович Голощеков окончил свой жизненный путь.

Я ушел.

Входили уже другие, следующие, внося гроб пожилого усатого мужчины; помимо родных, были люди с его работы, которые говорили добрые слова и клали на гроб цветы. Организация организовала. Рой хоронил своего. Усатый пожилой мужчина будет сейчас сожжен, но рой не покинул его жену, его детей, его жилье, и, после того как скажут здесь теплые, трогательные речи, поедут по-

минать к нему домой. Плачет жена, растроганы близкие, и даже те, кто тронут горем не слишком и уже предвкушает вкус первой прозрачной стопки и соленого рыжика на поминках, даже они сейчас просветленны и тихи...

(Вероятно, только на другой день мы бы наконец созвонились.) После чего Нинель Николаевна, выкроив часполтора времени, приезжает в дом Геннадия Павловича, я там — и вот мы говорим. Я смотрю, листаю книги, оставшиеся *после* хозяина и *без* хозяина. И она смотрит книги, что еще делать. Приверженность к добротному характерна. Мы с Нинелью тоже чувствуем себя немножко роем. И тоже как бы поминки.

Я говорю ей:

— Возьми себе что-нибудь на память. Из книг...

Она пожимает плечами. Что касается прочего добра, я напишу далекой его родне, если таковая существует,— не захотят ли приехать? — пусть заберут хоть что-то, хотя бы часть вещей за полезность их. И пусть в вещах, в житейских предметах он останется, хотя и пустое все это, а все же память и все же не пустое.

Последнее — это только в свой день заделать урну в отведенном месте в стенке колумбария, в который его определят: там, где небольшая плита, скромная надпись. И больше его нет.

Ни следа.

Быть может, еще одно: позвонит однажды вечером какой-нибудь старый холостяк — бывает же, что след памяти тянется,— узнавший с большим запозданием, этот старый холостяк, быть может, позвонит мне, и скажет, и захочет встретиться, чтобы помянуть,— ну да, просто посидим, выпьем водочки и поговорим о Гене, давай, а?

Иногда в минуту слабости и в предвидении меня охватывает ясное эгоистическое желание каким-нибудь образом перестать общаться или даже рассориться загодя с Геннадием Павловичем, да и с Нинелью Николаевной. Загодя же отвести от себя переживания и заботы, и чтобы, как водится, мало-помалу исчезли из моей головы, из моих мыслей они оба, он и она. Не надо никаких выяснений,

а просто не приходить к ним год — третий — пятый. Расходятся же люди навсегда. Расходятся и забывают друг о друге. Нет, мол, таких. Не знаю таких. Не помню.

Геннадий Павлович сказал, что, приходя с работы и не видя никого, даже своего беглого кота Вовы, он теперь иногда сам с собой шутливо разговаривает:

— Что же мы на сегодня придумаем? А не пожарить ли нам, дорогой друг, картошки?

Сам себя спрашивает:

— На постном маслице?

— Да.

— И огурчик соленый?

— Ну, разумеется!..— Так, разговаривая, Геннадий Павлович переодевается, моет руки, чистит картошку и ставит сковородку на огонь.

В моих волнениях по поводу возможной их смерти — его смерти или ее — ими же мне внушенных, нет тем не менее ничего фатального или слишком пугающего, *вы все очень практичны,* как сказала бы Нинель,— смерть не представляется мне ни самым тяжким испытанием, ни самым последним. Очень практичных куда больше пугают болезни, я даже отдаленно боюсь помыслить о том, что Геннадий Павлович, скажем, или Нина попадут в больницу с чем-то тяжким — это будет моя погибель. И не только потому, что кто-то же должен их навещать. (Больницы как периодика отношений.) Моя Аня на правах жены, на правах сотоварища уже давно и сурово мне предрекает. Аня полагает, что я хожу к ним раз в полгода из любопытства к их одиночеству и что бог меня, подглядывающего, за это накажет сначала привязанностью к ним, затем своего рода любовью, а затем и некоей нравственной веревкой, если не цепью. Отрабатывать, мол, после придется долго, трудно.

Но нет во мне любопытства.

И, в общем, я редко о них думаю. И если вдруг раздается звонок телефона, даже и ночной звонок, когда, возникая из тьмы, из неведомой и никому не подвластной темной жизни, чужой голос говорит: «Вы Игорь Петрович? Для вас есть огорчительное известие...» — даже в таких

случаях, вмиг напрягшийся и в сдержанной панике пробегающий мыслью квартиры и комнаты разных городов и пригородов, я не думаю ни о Нинели Николаевне, ни о Геннадии Павловиче.

После неудачного устройства на работу пьянчужки Вани Авилова Геннадий Павлович получил выговор, вслед же оказалось, что это и есть переполнившая чашу капля. Г. П. Голощекова понизили до заведования сектором с двумя всего лишь сотрудниками.

Впрочем, ему недолго до пенсии.

Подчиненные, что перешли в другие отделы, с Геннадием Павловичем уже не здороваются (в курилках или в столовой они смеются и говорят о нем как о начальнике, который хотел усилить разваливающийся отдел за счет нескольких людей, приглашенных поутру прямо из вытрезвителя). А мнс Зайцев, привыкший бездельничать и ощутивший на новом месте тяжкую необходимость сидеть над бумагами от и до, завидует тем двоим мнс, что остались в секторе Голощекова; Зайцев повторяет им в коридорах:

— Вам-то малина...

Оставшиеся двое, оба молодые, по-прежнему зовут Геннадия Павловича Дублоном, от слова *дуб*, что ли, или же за особую утонченную интеллигентность, отчего он казался и кажется им до сей поры немножко инопланетянином. Они оба на час раньше уходят с работы, выдумывая вздорные причины и отлично понимая, что высокому начальству Дублон не пожалуется и что вообще он там не в чести.

Птышков руководит вновь созданным отделом.

У Геннадия Павловича давление. Мы гуляем, и иногда, если вдруг в разговоре он взволнуется, вдруг кровь из носа. Ненадолго. После чего давление несколько нормализуется.

Выбрав снег почище, он некоторое время прижимает снег к носу. Всякий раз кровоток случается неожиданно, Геннадий Павлович, однако, успевает прихватить рукой именно чистый белый снег, вынув, вычерпнув горсть из-под

наста. «Жаль платка — я ведь сам платки покупаю»,— говорит Геннадий Павлович вполне серьезно. Впрочем, главное, как он объясняет, не экономия платков, а, разумеется, терапия, так как снег холоден, от соприкосновения кровь останавливается быстрее.

Он прижимает снег к лицу. Мы продолжаем гулять.

— Я не стою твоих разговоров, твоих душеспасительных посещений,— говорит Нина, горделиво передернув плечиком.— Не приходи. Я ничего не сумела в жизни, я совсем маленький человек, но мне не по душе ничья жалость...

— Да, да,— настаивает она вдруг,— я подумала, что умру. Я хочу, чтобы никто не пришел, никто. Соседи как-нибудь сдадут меня в крематорий, а там сожгут, и все...

— Да, да, не приходи...

На лестничной клетке над ее дверью — ремонтное пятно, похожее на континент Австралии.

Соседка — замужняя женщина, грубоватая и обычно молчаливая; но вдруг она обратила внимание, что Нинель Николаевна несколько смущается, если речь заходит об отношениях полов. Приметив, соседка поворачивает теперь всякий случайный разговор, откровенничает: я, говорит, люблю это дело именно под классическую музыку, саму музыку я, говорит, плохо понимаю, но *под музыку* понимаю это дело хорошо. Она, разумеется, поддразнивает, дразнит одинокую Нинель Николаевну, которая слишком горделиво проходит мимо нее на лестничной клетке и у лифтов. Приостановив, она шепотком сообщает Нине, что как только, мол, из моей квартиры тебе через стенку слышится музыка серьезная, знай, что дело делается хорошо. «Зачем мне это знать? Зачем вы мне это говорите?!» — возмущается Нинель Николаевна. «А просто так»,— разводит руками та и смеется.

Классической музыки у соседки одна-единственная пластинка, Бетховен, Третья симфония, и невыносимо слу-

шать ее, всю уже стершуюся, в трещинах и в чудовищных сбоях, когда буксует и когда игла прыгает назад, и вновь назад, и бесконечно назад, отчего кажется, что оркестранты обезумели и струнным никак не преодолеть восьмого такта.

— Я сойду с ума,— говорит Нинель Николаевна.

И бог внимает ее мольбам — соседка вдруг остается одна, прогнав мужа за пьянство.

Муж нет-нет и приходит, просит простить. Он пьяненький, жалкий. Он молит жену через запертую дверь, но его не пускают. Как-то Нинель Николаевна, обеспокоенная, выглядывает на шум — муж соседки у своих дверей; празднично одетый, побритый, он объясняет неизвестно кому сквозь пьяные слезы:

— Сынишке... Велосипедик принес...

Велосипедик и правда стоит у стенки, никому не нужный и тоже жалкий. «Убирайся, пьянь, вместе со своим подарком, иначе в милицию позвоню. Клянусь, я позвоню!» — кричит соседка через дверь, не отпирая. Муж уходит. Он возвращается в семью вновь (победа!) на целых два или три месяца, за стенкою какое-то время опять звучит Третья, Героическая, а затем соседка все-таки сдает его на принудительное лечение, а затем и вовсе отправляет муженька куда-то совсем далеко. Его нет. За стеной тишина размеренной жизни.

На Гоголевском бульваре Геннадий Павлович, несколько утомившись, присел на скамью, а сзади скамьи, под кустом, оказался человек: упавший пьяный. Обычно здесь пьяных не бывало. Не желая приставаний или глупого разговора, Геннадий Павлович хотел тут же подняться, уйти, но присмотрелся — пьяный лежал совсем спокойно, тихо.

И только негромко сказал:

— Дай покурить...

Давать ему сейчас сигарету было бесполезно: он полулежал на земле, вытянув вывернутую руку в направлении Геннадия Павловича, и, конечно, не сумел бы ни прикурить, ни даже удержать в руке сигарету. Но рука, ладонь его и набрякшие пальцы были все протянуты:

— Дай покурить, браток...

Глаза его сами собой закрывались. И закрылись — он отключился в пьяном забытье. Геннадий Павлович молча

на него смотрел. Два разных человека, разделенных возрастом, образованием, чужестью жизни и к тому же барьером алкоголя, они оба с некоторой точки зрения были едины, были вместе, хотя один на скамейке сидел вполне равнодушно, зная, что никакой просьбы к нему, в сущности, нет, а другой полулежал на земле с протянутой, просящей рукой, не в состоянии ни принять, ни удержать того, что просил. Геннадий Павлович оглянулся на голые кусты и вдруг вспомнил, что пришла весна. Снега не было. Стояли первые после снега лужи.

Чуть что — ускользание в юность, жизнь в юности, мысль о юности, счет от юности и так далее. Во всеобщем времени было их личное время.

И с каждым годом их (их обоих) погруженность в юность становилась мне все понятнее, если не считать удивительного чуда: отсутствия детства.

Казалось, у него и у нее детства не было.

...Апатия? — апатия не случайна. Я никогда не умел читать регулярно: я запойник. Я читаю и утром, и ночью, и, если бы апатии не прерывали чтения, меня бы однажды разорвало давление сосудов. Апатии охраняют от паралича: дают отдых. Мое интеллектуальное состояние в такие дни спускается резко ниже нулевой отметки, но затем, в активный период, я быстро и вновь наращиваю гору. Да, как Сизиф. Многие в такой череде, в повторности видят бессмыслицу, я вижу смысл.

Но в другую минуту Геннадий Павлович просто и по-человечески жаловался:

— И отчего эти апатии, а?

Во время отпуска Геннадий Павлович еще более, чем обычно, следил за собой: весь отглаженный, в прекрасной белой сорочке и непременно при галстуке он (всегда дома) полулежал с книгой, и стороннему глазу более чем обычно казалось, что он втайне ждет, что его позовут: позвонят, пригласят прийти к известному публицисту, к экономисту или, скажем, к референту министра, к той или иной ожившей вдруг знаменитости былых времен просто пообщаться; а может быть, ведь пора пришла, вновь где-то вместе выступить. По субботам и воскресеньям он привычно не

брился. И коль скоро возникала серебристая щетина, казалось, что Геннадию Павловичу, выглаженному, ухоженному и вполне одетому, если его позовут и призовут, только и дел будет побриться; пять минут.

К концу отпуска он читал запоем и практически уже не вставал с дивана. Он выходил на улицу лишь перед самым сном, спохватившийся, что день кончился; он бродил по засыпающему городу около часа, неторопливый, хорошо одетый и даже изящный, если сделать скидку на возраст. Перед ночной прогулкой он позволял себе одну-две стопки водки для настроения. Гуляя по темным улицам, он иногда напевал.

Геннадий Павлович повернулся на живот, но и так не лежалось — да что такое?! — и прошло минут десять, пятнадцать забытья, пока он вдруг не вспомнил, что отпуск уже завтра кончается и что надо выходить на работу. Как быстро!.. При мысли о сослуживцах он поморщился. А следом, как водится, накатила бытовщина. С утра надо будет успеть в гастроном и в овощной, это безобразие, когда нет в доме картошки. Телевизор не починил: не позвонил в ателье... и ведь надо зуб удалять: рвать корень. Всем этим давно надо было заняться: ах ты, господи, как навалилось! Тяжело уже жизнь жить! Не на службу ходить, не в сложную мысль вникнуть и даже не проблемы всечеловеческие решать, а просто жить свою жизнь тяжело стало.

Нинель Николаевна в эту пору тоже возвращалась из отпуска. Она ехала в поезде; купе, нижняя полка и хорошая книга — что, казалось бы, еще надо, когда, отдохнув, возвращаешься домой?.. А на верхних полках, затевая роман, весело переговаривались двое — только что познакомившаяся юная пара. Для них возвращение с юга — еще юг! Своей скорой влюбляемостью и как бы щебечущей, легкой чувственностью они поминутно поднимали общее настроение. Он был в джинсах. Она в брючках и в темных очках. Лица у обоих были красивые, загорелые.

Лето кончено, еще одно прекрасное лето. (О, святая дробность года!) Нинель Николаевна была довольна, но, быть может, она была чуть грустна, оттого что в этот раз, словно бы тонко вторя ее сокровенным летним мыслям,

четвертым в купе оказался офицер, вполне реальный. Это был подполковник. Седой, приятный, хотя и несколько грубоватый лицом, он поглаживал русые усы и улыбался Нинели Николаевне, бросая взгляды в сторону игривой парочки на верхних полках:

— Молодежь...

Что, мол, с них взять, резвятся!.. Подполковник был исключительно деликатен, сдержан. Как у всех людей *их юности*, у него были молодые, свежие глаза, и Нинели Николаевне сделалось грустно, когда она узнала, что едет он по службе в Н. и что попутчик он недолгий. Нет, нет, Нинель Николаевна была сверхдовольна отпуском и была достаточно умна, чтобы не надеяться на шанс в скорой дороге. Но вечером подполковник очень ненавязчиво пригласил ее поужинать и даже поухаживал. Они без спешки посидели в ресторане, подполковник был задумчив, курил. Они поговорили о наших дорогах, поговорили о природе, которую портит неутомимый человек, а через два или три часа подполковник навсегда сошел с поезда, канув в ночь на какой-то небольшой станции. Он только еще раз переспросил зачем-то ее имя.

Глава пятая

— Ты бы не вынес такого,— говорит мне как-то Геннадий Павлович. Он говорит, что страдает и тоскует по рою. Он говорит, что хочет слиться с людской массой, он устал, он, наконец, хочет настолько слиться и раствориться, чтобы совсем лишиться индивидуальности. Он хочет, чтобы не стало его «я»... Он говорит это тихо. В словах нет упрека, просто жалоба.

Не подымая головы, горделивая Нинель Николаевна сидит в своей затененной нише и считает бесконечные колонки цифр. Она, увы, умеет втянуться в дело до самозабвения, однако окружающие видят в ней стареющую мымру, запрещающую курить, вздорную, надменно-крикливую и все более неконтактную, от которой они так страстно желают избавиться. Вытерпеть, пока она уйдет на пенсию, кажется им иногда невыносимым, и тогда некоторые из них, бывалые, вслух сожалеют, что в облю-

бованном ею Пятигорске уже двести лет как нет перестрелок и шальных пуль.

(И он, и она — оба в конфронтации с сослуживцами, но деться некуда, так как они оба чрезвычайно ценят в работе само присутствие, то есть непременность ежедневного общественного бытия. И всякий человек, который ушел бы с работы и промышлял на еду и питье чем-то сторонним, левым, был бы для них человеком с изъяном, наверняка даже человеком плохим. Для них не существовало своей жизни вне жизни общей, что было закваской все той же их молодости.

Вероятно, лишь по стилю казались они в юности зачинщиками, заводилами и людьми с взрывчатым, опасным характером; по сути, в них погибли общественные реформаторы, беспрестанно готовые предлагать вместо плохого хорошее, вместо хорошего лучшее.)

И однажды вечером после работы, прибирая в квартире, Нинель Николаевна машинально сгребла накопленное и, приняв за мусор, вынесла — сначала в ведро, после в мусоропровод, какая досада! — и не жалко, и в то же время жалко до слез.

Случившееся она принимает внешне спокойно и отнюдь не сводит к подведению итогов. И все же несколько дней Нинель Николаевна смотрит печально, говорит печально, живет печально. Это, мол, знак *с той стороны*, знак через юность — золотую пору ее жизни, где кипение справедливой мысли, где первые чистые влюбленности. Разумеется, какая-то часть нас самих хранится в предметах; давно не смотрела, не перебирала их, за что и наказана, я как бы юность свою выкинула в мусоропровод нечаянно — я даже заплакала. Хуже: я только подумала, что заплачу и что надо бы заплакать. Утром, конечно, сообразила и побежала вниз, где мусороприемник, но поздно.

Машина отъезжала с контейнерами — вероятно, они их нумеруют, но откуда мне знать, какой именно и как остановить машину, пусть даже движущуюся совсем медленно. (Я уже не говорю, как рыться на виду у людей в затхлом контейнере. Я же не молодая женщина.) Контейнеры громоздились в ряд, такие черные... связка писем, скажем... конверты тех лет с немыслимо устаревшими адресами. Была среди

прочего и зачетная книжка, которую студенткой я утеряла. С какими криками, попреками и с каким грозным приказом, вывешенным на стенде, меня стыдили в учебной части за потерю, заодно сводя счеты, так как я была из самых вспыльчивых, из боевитых, из неспокойных, обожала всяческие бойкоты, коллективные жалобы, письма, собирание подписей, и вот надо же — потеряла свою собственную зачетку; случай подвел, подставил, и самая вспыльчивая и боевитая плакала, оправдывалась в учебной части, просила, писала заявления и объяснительные записки, и на прием к ректору тем не менее гордячка никак не шла. Наконец, пощадили — простили потерю, выдали дубликат. А спустя всего два месяца зачетная книжка нашлась, заложенная моей собственной рукой в экземпляр «Нового мира» и там забытая. Уже лишняя, зачетка после этого навсегда осталась мне. Год за годом была для чего-то со мной. Такая она была аккуратная, тихая, уже *отшумевшая*, наполовину с зачетами и оценками, вся уже вне их криков в учебной части, вне моих слез, вне людей — сама по себе. Как память.

Девичья глупость: хранила зачем-то сушку, память о каком-то студенческом нашем походе, память о костре, о котелках, о наивном парне (имени парня не помню, ничего не помню — помню, что был поход и что было весело и счастливо). Сушка ссохлась до крепости камня — и ее тоже, вместе с письмами, с программками событийных спектаклей «Современника» и иных доморощенных боевых студий (их было тогда без числа, музыку мы не так любили, музыка для нас была тогда слишком тонка, камерна, но уж театр, театр!..) и заодно с бумажным сором ссыпала в ведро, снесла на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод.

Она сказала, что услышала, как тенькала и билась о жестяные стенки мусоропровода, пролетая этаж за этажом, ссохшаяся в камень сушка. (Столько лет недвижная, ссыхавшаяся в ящике стола и, если домыслить, скучавшая втайне по чьему-либо желудку, по сладкой перистальтике человечьих кишок, *встречная тяга*, сушка обрела наконец подвижность, обрела движение и за десятилетия долгого ожидания была теперь оскорбительно вознаграждена, двигаясь по гигантской, громадной, в десятки жестяных метров кишке мусоропровода. Такой вот образ. Дождалась.)

— Зачем, Нина, тебе юность в виде нелепой сушки — студенческие годы и так с тобой.

Это я льстил. Подыгрывал.

— Э, нет. Я бы иногда трогала руками. Прикасалась... И несколько дней у нее ощущение утраты. Она смотрит печально, говорит печально, живет жизнь печально.

Иногда возникает мысль об умерших матери и отце, об их могилках в небольшом городе за Волгой,— не поехать ли, не навестить ли, хотя бы могилки?

Но страшно. Она боится ездить в ту сторону. У нее давно и прочно сложившееся мнение, что там грубияны и хамы, грязные поезда, в купе будут громко хохотать, толкать плечом, играть в карты и, уж конечно, пить и от широты души навязывать *полстакана́*. В вагонном проходе дым коромыслом — при ее-то патологической нелюбви к курильщикам.

Я объясняю ей, что до Волги она, во всяком случае, доберется спокойно и нормально. Уверяю:

— Твои сведения устарели.

Не верит. А на вокзалах — как там? там же и сесть негде, люди спят на полу, а куда деться? а пьют как — да и что им за Волгой еще делать, если не пить; уж, разумеется, соберутся и сядут за столы, если она приедет,— ведь тоже повод! Один выпил, отставил стакан и прямо тут же уронил голову в щи. Красивый черноволосый парень. Она помнит, она видела.

Нина чистюля. В ней торжествует сейчас тотальное неприятие грубости: неприятие и боязнь хамства.

Да и вообще никуда она не может поехать, не приведя как следует зубы в порядок.

Зубы — тоже пунктик. Есть некий зубной врач, к которому она когда-то пришла и от которого в силу инерции жизни (и инерции надежды) никак не может перейти к другому, к хорошему врачу. Она себя за это ненавидит, но не может. Смешно сказать, но она боится его (зубного врача) обидеть!

Презренье к деньгам — ее слабость. И хотя не секрет, что Нина копит на отпуск или на очередную женскую покупку, я блюду правила игры и лишний раз удивиться ее презрительному равнодушию к злату не забываю. Под-

час она считает копейки. И правильнее будет сказать, что равнодушна она к большим деньгам, к теоретическим, которых ни у нее, ни у меня нет, почему без малейших затруднений мы и ведем вдруг разговоры, как волжские купцы, швыряющие тыщи. Притом что я *все-таки* чуть прижимистый и иногда жмотничаю, что также входит в наши отношения. Этим я помогаю ей жить. Нет-нет и жалуюсь, что потратился на такси и, мол, книги хорошие подорожали, что тоже для меня трата, о которой надо подумать и которую надо сосчитать. Я как бы проговариваюсь. Ее лицо при этом озаряется чудесной улыбкой. Нина (вновь) на известной высоте положения — мол, вот они, практичные, и вот она, их жизнь. Бывает, что начеку ее тонкий ум и по моим промахам она догадывается, что я играю, во всяком случае, настораживается, а все же (догадываясь или настораживаясь) ждет и хочет такой игры, ждет моей прижимистости, как ждут похвалы.

Я приношу ей хорошие конфеты, бразильский кофе, и Нинель Николаевна непременно лезет в сумочку, чтобы вытащить рубли, но я начинаю ей объяснять, что не возьму и что иначе мне у нее неловко, она ведь меня потчует, а сама ко мне в гости не ходит — почему же я стану вводить ее в односторонний расход? Следует сцена препирательства, но я стою на своем жестко, и, наконец, Нинель Николаевна прячет мятые бумажки, в глазах ее искреннее презрение:

— Прагматики... И как вы не понимаете, что гость — это радость!

Ей хочется выглядеть женщиной вовсе не обездоленной, а, напротив, тонкой и знающей в любви, и если не имеющей, то имевшей романы, достойные ее (не разменявшейся ни в тридцать, ни в сорок): усталость, но никак не исчерпанность. Тут она полагается на мою чуткость, позволяя себе немного (но и немало) пофантазировать, а подчас даже и учить меня любить женщину: любить тонко, уважительно, достойно их слабости и их женской необходимости скрывать желание. Если слушать со стороны, мы не совсем мы и наши разговоры не только наши. И уже привычно я делаю из себя добродушного мужика, потертого, повидавшего виды, но все еще плохо понимающего женщин, особен-

но же прямые движения их души. Подыгрывая, я повествую, если найдет стих, о том, как не успел даже расшнуровать ботинки или как впопыхах искал на ночь уютное ложе в помещении опустевшего детского сада и прочая, прочая, нехитрые россказни о кой-каких своих романах, отчасти, мол, вполне простительных и житейских, а отчасти, увы, пошловатых. Нинель Николаевна то морщится, то, сочувствуя, укоряет:

— Боже мой, Игорь, как тебя жаль, с какими ты женщинами водился!

— Что делать...

— Неужели никого из молодых и порядочных вокруг тебя нет? Мне думается, что вы, *вы все* очень торопитесь — и перестаньте же вы беспрестанно думать о спанье: спать, спать, спать, спать, неужели это и есть человеческое общенье? это вас губит!..

На что я вздыхаю и развожу руками — мол, понимаю, но и понимая никак, мол, не могу выйти на красивые заповедные луга из своего полумедвежьего леса.

Аню с тех наших сводническых, сватовских дней Нинель Николаевна уже несколько лет как не видела, и потому Ани в наших разговорах нет; и вообще ее как бы нет. Общения наши с Нинелью Николаевной редки, но вполне автономны.

И поскольку я к ней, к Нинели Николаевне, или просто к Нине, раз от разу прихожу и поскольку мы с ней мужчина и женщина, некоторая интимность неизбежно присутствует. (Не мешая, не портя ровности наших отношений.) Иногда оба как бы останавливаемся: чувствуем черту. В конце концов, она одинока, и вдвоем час за часом сидим и коротаем долгий наш вечер: мужчина и женщина — и куда же деться. И, может быть, поэтому мы никогда за разговором не выпиваем вина, скажем, или водки, и никогда, даже и по забывчивости, я не принесу с собой. Тем более у нее в холодильнике никогда *вдруг* не оказывается нечаянной бутылки сухого вина.

Будучи постарше, она иногда дает понять, что без особого труда соблазнила бы меня в свое время или даже всерьез вскружила голову, но не хотела тогда и сейчас не хочет: это, мол, нам лишнее. И, разумеется,

начни я склонять ее к легкому роману, склонять просто так или по случайному желанию, она бы тут же поставила меня на место. Отчитала бы. Пристыдила. Но, может быть, после долгих и мученических колебаний, после слез и бурного негодования она бы и уступила, о чем бы после жалела. О чем бы после оба, конечно, жалели, так как Нина не только же в выдержанной роли, она действительно возвышенна и горделива и опережающей порядочностью своей далеко вперед чувствует, что хорошо в отношениях и что плохо. Она прагматична тут; правда, в прагматизме ее нет расчета; вероятно, она попросту немеет от страха перед рискованным.

Я со своей стороны и именно в этом качестве устроен, пожалуй, более просто, попроще, но и я случайностью пуган и, если что, тем более не буду знать, что делать с ее одиночеством, которое, помимо прочего, будет спроецировано на меня и мою жизнь.

Так что оба знаем, что тут есть черта; в разговорах своих оба задолго ее чувствуем и, едва скользит, обходим стороной. Можно считать, что ничего и нет.

Иногда ловлю себя — вдруг случай, а вдруг изгиб судьбы; потому, быть может, и нейдут они оба — он и она — у меня из головы, что я, в сущности, уже примериваю на себя и заранее присматриваю модель одинокой жизни, дабы отметить, завязать узелок, понять или даже устранить эту мою потенциальную одинокость загодя. (Чтобы избежать?..) Будущее ведь неизвестно. Человек не готов. А психика его по части предощущений устроена достаточно хитро, если не потаенно. И суть не только в некоем сквозном замысле.

Одна из хитростей, если не потаенностей, состоит как раз в том, что незнаемое наше будущее подает тем не менее нам знаки и просвечивает из своего далека нам уже сейчас, в обычные и рядовые наши минуты. Будущее не много- или, пожалуй, не столь уж многовариантно, и потому, просачиваясь в мысли и в повседневность, оно не случайно фиксирует нам в повседневности тех или иных людей, оно для нас их обнаруживает; опережая время, оно их в нас *засвечивает*. Не мы провидим будущее; оно — нас.

Нам как бы подсказывают. Опять и опять по небу идут

облака, которые через какое-то время — наши тучи. Мы их узнаём. Или не узнаём.

По ровному небу на нас набегает наше будущее.

Пусть бы так: пусть привлекающие и так или иначе занимающие нас люди на стороне — это и впрямь некое узнавание нашего будущего, голос самозащищающейся нашей психики и прочая метафизика.

(Геннадий Павлович, напротив, считает, что поступки настоящего более всего соотносятся с *прошлым*. Или даже со всей нашей прошлой жизнью. Он нередко проецирует свою жизнь на тот или иной нынешний факт.)

Геннадий Павлович иногда хочет подчеркнуть свое равнодушие к продвижению вверх по служебной да и по всякой иной лестнице признания; он и правда чист, безупречен. Но ведь собственной чистоты человеку бывает мало, недостаточно, и тогда остро хочется поймать меня, гостя, на тех или иных словах, схожих с мирской суетой, с тщеславием,— я это знаю и невольно, почти как с Ниной, нет-нет и занимаюсь перевоплощением, иначе разговор у нас в такую минуту не пойдет или пойдет трудно. Иначе мы просто не поймем, как нам в такую минуту держаться. Без выявленных мук моей (суетной) души нам не посидеть за столом; нам и чай не чай.

Так как с ним надо много тоньше, чем с Нинелью, я выстраиваю оборону: я демонстрирую определенную горячность, отбиваю и наношу уколы, иначе слышно подыгрывание (но и под спудом я молчу о том, что он в грезах своих побивает начальников в их больших кабинетах), я только отбиваюсь, притом горячусь, вроде как уличенный им, вроде как проговорившийся, после чего даже каюсь — да, мол, не без тщеславия живу жизнь, мол, и к славе ревную — и не без некоторого, мол, обеспечения вперед забочусь, увы, о днях будущих (но молчу, что он в своих грезах, по его же логике, лезет к начальству со словами, а значит — с мыслями). Всякий раз и аккуратно я останавливаю себя как раз на пороге перехода на *его* личность; я останавливаюсь, как перед воображаемой стеной, и с каждым разом делаю остановку эту все более умело,

непринужденно. Я, вероятно, хочу, чтобы чувствовал он себя справедливым и правым в нашем вечном споре. И чтобы выглядел он в наши редкие встречи так, как он хочет. В конце концов, мне это нетрудно.

Да, оберегаю.

Мне видится некий иной собеседник (я — но не я), который, отбросив все обволакивающие словеса, прямо и холодно обвинит Геннадия Павловича, во-первых, в забывчивости того, что в юности он стремился в большое начальство, а во-вторых и в главных — в неудаче этого стремления. В неудаче жизни? В крахе? (Что тогда? — понятно, что ссора и что Геннадий Павлович Голощеков побелеет лицом, выйдет из себя: убаюканный и спелёнатый щадящими разговорами, он начнет кричать, пожалуй, истерично кричать, так как утонченная его психика может не выдержать грубых слов и прямого знания, *или выдержит?..*) Интеллектуал, по неким веским причинам отдалившийся, обособившийся от людей, он вдруг ощутит холод, он вдруг озябнет среди лета, хотя бы на минуту увидев себя неудачником, более того, человеком, *которого посещают, навещают из жалости.* С той минуты он уже не станет верить и мне — он немедленно обнаружит и выметет все мое, как обнаруживают и выметают из углов тонкую, пусть даже изящную паутину. Хозяин дома, он поймает меня на неосторожном или чуть ироничном слове, затем, пожалуй, и не останется ничего, кроме как в оскорбленности своей указать мне, столько лет жалевшему его, унижавшему этим, рукой на дверь, как это уж сделала было однажды Нина. Да, да, старомодно. Да, да, именно так — подите, мол, вон, милостивый государь мой; *почему государь? почему милостивый?..*

Но, быть может, все наоборот: именно он общается и поит меня чаем раз в полгода и не спеша разговаривает со мной *из жалости*, да, да, это не я, а он жалеет меня и тратит время.

Быть может, он думает, что меня (как одного из следующих, из тех, кто вытеснил) точит, покусывает совесть за его жизненную неудачу. И потому я прихожу.

И, мучимого совестью, он не гонит — жалеет меня.

Геннадий Павлович строен, высок, хотя остренькое брюшко уже чуть выступает вперед, свидетельствуя о возрасте и определенной любви к лежанью с книгой.

Волосы поредели, и лоб несколько обнажился, но Геннадий Павлович все еще глядит молодцом, и только когда он валяется в апатии на диван-кровати и не бреется два-три дня, серебро щетины его вдруг сильно старит. Но и тогда лицо удивляет моложавостью, а в отдельные, как бы вспыхивающие минуты сквозь старика проглядывает совсем юноша.

Он говорит вдруг о лотосе. О важности половой жизни в таком возрасте — о естественных препаратах, поддерживающих в мужчине силу: сейчас, мол, у него никого нет, ну а вдруг случится женщина... после столь долгой целомудренности вдруг спасуешь? это ж стыд, Игорь, а? как ты думаешь?

Иногда он почитывает о здоровье и о системах самоврачевания, но это — лишь чтение; те же книги.

Вдруг прокрутится сам собой (с безотчетной стремительностью) сюжет; к примеру, на той работе затеялась какая-то не то трусость, не то некий произвол, так что все молча сторонятся, соглашаются, смиряются, и только никогда не приспосабливающийся Геннадий Голощеков говорит: *нет*!.. Не кричит, заметь, но спокойно и с достоинством говорит: *нет*... и вот уже ведут в кабинет некоего сверхначальника, куда я и вхожу с поднятой головой. Начальник массивен, величествен. На столе у него как повод лежат перехваченные злой памфлет или стишки (студенчество!..), и сейчас для начала он спросит: а знаю ли я автора (хотя бы распространителя?). И поверишь ли: эта юношеская моя приподнятость огромна, это волнение вовсе не пустое, идешь по краю, как идешь до конца,— воображение, но ведь не порок. Не порок, так что постыдности нет никакой; начальники, их свита, кабинеты, огромные приемные — думаю, Игорь, это не просто терапия перед сном, какая есть у всякого пожившего человека, не только терапия и не только память, но еще и некий отыгрыш, вереница подвигов, не случившихся и потому по-своему грандиозных. Подвиги Геракла — талантливый, даже гениальный отыгрыш (плод мучительной бессонницы) некоего древнегреческого пиита, росшего в семье с героическими традициями, но еще в ранней молодости непоправимо сломавшего себе ногу. Грустна ли ирония?

Входя в кабинет, он умышленно огрублял голос, даже ожесточался, не давая заранее себя запугать. Все же опасаясь, что геройский воздух выйдет из его легких раньше времени (а там и компромисс!) — опасаясь и не давая себе ходу обратно, он ронял, как бы нечаянно, пепел сигареты непременно на ковер, на добротный ковер под ногами в большом, огромном кабинете или же просто и грубо стряхивал пепел на стол, чуть мимо пепельницы, чтобы властительный начальник невольно привязался взглядом к его руке с сигаретой, чтобы даже и в разговоре не мог он, властительный, оторваться опасливым взглядом от следующего, от очередного столбика серого пепла, который рос и рос. Разговор двоих в кабинете стихиен и непредсказуем, однако же ты уловил, Игорь, одностороннюю внутреннюю робость, *а ведь она появилась теперь, в молодости я был смел естественно и думать не думал о таких пришпориваниях духа, как пепел на ковер. Старею...* Но засыпанье — жанр, и когда на другую ночь, на третью или на пятую длящаяся война со сверхначальниками от повторений несколько притупляется, ее на краткое время (как передышка!) очень хорошо и свежо сменяет совершенно мирная тишина, и среди мирной тишины простенькая официантка в кафе — в белом халатике. Да, да, стоит на раздаче. Сначала она именно что взрослая официантка, даже грубоватая, но по ходу знакомства и разговоров она сильно молодеет, сбрасывает день ото дня опыт и возраст и становится юной, вдруг превращаясь в студентку, в одну из тех — из стайки.

Одна из них появилась тогда на лекции в темных очках, было время славы Збигнева Цыбульского, и почти сразу же, день в день — вторая. Вдвоем они уже неделю носили темные очки, как бы противостоя и твердо обособясь, так что шло колебание — за или против, двое против троих или тоже двоих, как вдруг эти двое победили. Теперь девушки разом появлялись в своих божественных темных очках, длилось это немалое время, может быть, с полгода, и целые полгода старушка-гардеробщица, бабулька, истлевший, ссохшийся кузнечик в раздевалке, твердила им, что у них прекрасные молодые глаза, которых, увы, не разглядеть за темными стеклами.

Стоит отметить, что очки были не просто очки, в ин-

ституте тогда именно шла борьба с темными очками — такое поветрие, и, скажем, носителей темных очков, как прежде носителей узких брюк, высмеивали в стенной печати и могли не допускать на празднества и даже на вечера танцев, равно на вечера поэзии — забавные дни. Но не дни забав. Так что целые полгода...

Та, что с узким и породистым лицом, вдруг бледнела — она бледнела внезапно, и темные стекла подчеркивались белым лицом, этой белизной мелко искрошенного мела; однажды Геннадий Голощеков даже спросил:

— Как вы себя чувствуете? Что это с вами?..

Потупившись, но с тихим вызовом она негромко ответила:

— Вам хочется, чтобы я объяснилась в любви?

— Нет, нет,— поспешно сказал он.

И тотчас заговорил, заспешил о том, что ведь год всего как она вышла замуж за однокурсника, ведь молодая семья, молодое хозяйство — это тяжело, трудно; конечно, испытание и сказывается, конечно, на ее здоровье. (Потому, мол, и бледна?!) Она тихонько и чуть укоризненно хмыкнула. А тут, на счастье, подошли и другие. Подошли — и спрашивали с него, скоро ли сведут счеты с профкомовцем Жилкиным, ведь уже известно, что негодяй, и ведь как зажрался... Они спрашивали, и он должен был определенно и сейчас же им ответить, ибо он был — Геннадий Голощеков.

В другой раз Геннадий Голощеков поспешал на общее собрание НИИ, где давался решительный бой старикам консерваторам и одновременно молодым конформистам по поводу распределения жирного директорского фонда,— Геннадий проходил в двух шагах от нее и спросил, как спросил бы любого встреченного в ту минуту сослуживца:

— Где?.. Где собрание?

Она же оказалась застигнутой врасплох: сам факт его явления был внезапен и так откровенно для нее значителен, что растерянность стала очевидна, тонкие красивые скулы бледно вспыхнули, и (уже без темных очков), как бы защищаясь, она часто заморгала и проговорила:

— Я ничего этого не знаю...— от волнения не сумев удержать вдруг вынырнувшее (остаточно провинциальное) словцо *этого*. Геннадий Голощеков извинился и спешно

прошел дальше, а она вновь впала в весеннюю, характерную для молодых женщин несколько сонливую задумчивость. Она уже не подруг (запаздывающих на собрание) ждала. Она просто ждала. И если бы к ней в эту минуту подошла она сама нынешних взрослых лет, если бы такое было возможно и к ней, сидящей тихо поодаль, подошла бы тяжелой поступью грузная женщина, пятидесяти полных лет, с авоськой, набитой продуктами из гастронома, с землистым лицом, со складками матроны на щеках и шее, возникла бы, как возникает *самое жизнь*, приблизилась и на ходу, качнувшись в ее сторону телом и равновесно качнув тяжелой авоськой, спросила: а скажите, мол, девушка, который час? — эта тоненькая, с породистым лицом, не расслышав вопроса в своей задумчивости и не узнав самое себя, вспыхнула бы и сказала, как могут почти все люди сказать о своем будущем:

— Я ничего *этого* не знаю...

Интенсивное чтение сокращает ночь вполовину, но тем сильнее и злее бессонница под утро — он готов бы и вовсе не выпускать книги из рук, но тут как тут головные боли, несильные, но неприятно настораживающие. (Кто-то однажды сказал ему о водке среди ночи, мол, сто или сто пятьдесят. Заснешь расчудесно. И точно: первые ночи под сто граммов шли неплохо, что спалось, что грезилось преотлично, но затем он вдруг позвонил мне почти в слезах — позвонил хрипящий, по-ночному сильно испугавшийся и попросил: если можешь, пожалуйста, приезжай, я, кажется, спиваюсь; страшно. Геннадий Павлович никогда мне не звонил, и я, конечно, приехал и просидел в кресле остаток ночи, пока не заработал утренний транспорт; и, разумеется, он не спивался, прибрать имевшуюся бутылку не представляло труда, но все же я как бы стерег, не давал пить...) На службе Геннадия Павловича беспрерывно клонит в сон, и его подчиненные, два молодых нахала, вслух насмешничают в курилке, Дублон-де уж давненько не знает, где подлежащее, где сказуемое,— да поглядите на него сами, *он как трава в поле, ух, они, эти бывшие*.

Наконец апатия сходит на нет, и довольно длительное, к счастью, время Геннадий Павлович работает нормально, говорит нормально и спит нормально. Период подъема. Никаких грез.

Геннадий Павлович хотел бы все же остаться в чужих глазах (в моих, так как это единственные глаза, которые его изредка видят) человеком огромного интеллекта, каким, несомненно, он был когда-то. Но сейчас он своего рода вместилище интеллектуальных ценностей, кладезь, скопившийся сам собой, от природы большой и емкий, но застывший, пожелтевший, давно забытый людьми. Вода застоялась. (Говорят еще — перестояла вода.)

Он ведь и чувствует себя иногда кладезем, колодцем, мимо которого почему-то прошли и забыли, но под желтоватой ряской которого, под паутинистой серой пленкой вода, мол, и какая вода! — он хочет, чтобы и я чувствовал то, что чувствует в этот возбужденный миг он сам. (Ты, Игорь, просто не знаешь своей выгоды, ты чудовище, монстр. Жаль мне тебя.) Мог бы, мол, и почаще приходить, чем раз в полгода,— да, да, жаль, что у нас не частый, не длящийся контакт!.. В этом мы оба согласны. И оба, конечно, не вполне искренни. Оба, зная, мы делаем вид, что стечение обстоятельств, разность возрастов и судеб, а также повседневная жизнь с ее неодолимой самотечностью создают, увы, тянущийся меж нами барьер, дощатый забор, отчего и возникает невозможность. Невозможность ему — поделиться, мне — оценить и внять.

Иногда, впрочем, я прошу у него совета или дельной мысли, мы искренни в нашей расстановке чувств, и Геннадий Павлович, если я спрашиваю, всерьез напрягает память и ум, чтобы помочь: он подтаскивает из слежавшейся памяти и из былых своих размышлений какие-то сведения или связки мыслей, которые неизбежно оказываются не ко времени, но в этом-то перескоке через годы, в несовременности и таится подчас ценность: сверкнуло! И Геннадий Павлович сразу же чувствует, что нашел, добыл их, крупицы былого золота. Лицо его светится как бы отраженным светом дорогого металла — мы оба веселы и, как дети, вдруг оба радуемся тому, что тянувшийся еле-еле наш разговор на миг вспыхнул. Правда, костерок гаснет, но мы уж и тем небольшим вспыхом огня довольны.

Довольный и приосанившийся Геннадий Павлович грозит пальцем:

— Ты, однако, доишь меня!

И шутит:

— Надо бы брать с тебя проценты!

Он улыбается, и ведь счастлив раскидываться: бери, бери, Игорь, пока я живой, во мне еще много чего осталось.

Серьезнея и нашему общению придавая значительность, он говорит, что то были только первые и скорые его мысли и что, если мне необходимо, он запустит проблему внутрь, в глубь себя, а когда я зайду к нему на днях, мы продуктивно потолкуем. Я обещаю: да, да, Геннадий Павлович. Хотя точно знаю, что скоро к нему не зайду. И он тоже знает.

Обоим на миг делается грустно. Но тут всегда можно поставить наново чайник. Или проститься. Мол, пора и домой.

В подобную минуту в поощрение Геннадий Павлович дает мне две-три книги, что и большая честь, и как раз исключение из правила *книги никому не давать*, так как он не знает вперед, какая из книг ему нужна будет хотя бы и завтра в сложном и неугадываемом процессе его духовного поиска; книги под рукой, иначе для чего они?

Выбрали какой-то не самый надежный род старения, *чудак, так обернулось, разве старость или старение выбирают?!* Но он действительно сильно сдал: в периоды апатии походка его становится неверной, притом рассеянный взгляд, он может попасть под машину, он может упасть в шахту лифта, он может машинально полезть внутрь телевизора и там, не обесточив, долго копаться, словом, страхи окружают, живут рядом. Геннадий Павлович думал, не повесить ли на стену портрет покойной матери, чтобы в часы апатии, ночью с ней иногда говорить: да, мол, мама, живу, достраиваю жизнь помаленьку. Да, мол, одинок... Заменитель — но чего? или кого? — мысль показалась ему кощунственной. И мать жаль.

Он говорит про своего кота Вову, да, третьего дня вдруг объявился — кот скрашивает жизнь, но негодяй так редко бывает дома. С другой стороны, какое счастье, что не надо ежечасно думать о его нуждах, пропитании или о его подвальных подругах,— месяцами не ходит в дом и не показывается, я даже не знаю толком, мой ли это кот?

Но уважаю. Когда я на службе, он не трется ни о дверь моей запертой квартиры, ни о ногу почтаря или соседа — прямым ходом направляется он в подвал спать или сторожить за углом на травке очередной сбор в мусорный контейнер, нет, нет, гордый и сильный кот, он никогда не станет сам рыться, боже упаси, он чист,

опрятен, он сидит в стороне от бытовщины и пошлости полуоткрытого контейнера, но вот какой-то кот, из роющихся, нашел и вынес лакомое или просто съестное — Вова делает прыжок леопарда, удар, еще удар, отнял часть добычи, а то и всю, да, да, он такой, он не пропадет, он куда более живуч, чем его хозяин.

Геннадия Павловича многие знавшие его называют *несостоявшимся или даже нашумевшим, но не состоявшимся,* чего я, конечно, никогда вслух не произнесу. Я и правда не признаю столь жуткого слова. Оно — окончательно. Оно пусто. А меж тем назревает (иногда) некое сверхобъяснение, когда Геннадий Павлович уже сам и упрямо ведет туда мою речь и чуть ли не хочет, чтобы я сказал то, что говорят другие.

— Ну, говори и договаривай. Я от тебя правды жду! — вызывающе настаивает Геннадий Павлович в и без того разогревшемся объяснении, однако, умудренный в бесполезных попытках охарактеризовать человека (живого), я знаю, что в такую минуту правды нет, а правдивости не нужно: я молчу. Есть ошибки со свойством не повторяться.

Молчу, отчего Геннадий Павлович еще более смелеет и хорохорится:

— Тут нет и не может быть обиды — мы ведь философствуем. Тебе предлагается всего лишь назвать человека, как называют его за глаза. Говори! — настаивает он, но я не представляю себе, как я произнесу слово, по отношению к которому Геннадий Павлович уже давно живет, привыкнув, что я этого слова не знаю.

— Давай, давай, дотяни сегодня наконец до правды! — уже и выкрикивает он, весь в нетерпении и в страстном желании знать, слышал ли я про то слово, слышал ли хоть когда-то, слышал ли давно или услышал совсем недавно,— говори, мол, я жду, жизнь есть жизнь, и человека, мол, словами не убьешь. *А если убьешь?* Так или иначе глянцевое слово уже где-то застряло, оно там, на дне, тускнеет, обволакивается, а течение отодвигает его еще и еще, в южную сторону, и в конце концов вовсе прячет в песок, в ил. Я молчу, нет силы слукавить и заговорить о чем-то стороннем, так как жесткое назывное слово обладает своей волей и все еще хочет, пытается вывести меня на новый и непоправимый рубеж отношений с этим человеком. Я даже забываю, что можно бы закурить.

(Маневр как маневр.) То есть я помню, что могу здесь курить, вот и пепельница, но, скажем, у Нинели Николаевны в точно таком же самообнажающемся разговоре, *говори правду, Игорь, что думаешь — говори!* — я курить не могу, Нинель Николаевна против, и следует, стало быть, на три минуты выйти, выскочить на лестничную клетку, летом на балкон. Но именно от одинаковости, от повторяемости разговора, что с ней, что с ним, а также от повторяемости один к одному моего психологического состояния я не только заторможен, застопорен и нем, но и никак не могу сообразить, у кого из них я в гостях сейчас, хотя глазами, конечно, вижу, что я у Геннадия Павловича, что сижу за столом, вот спички и вот она, пепельница, с моими же окурками.

— Молчишь? — усмехается Геннадий Павлович, сводя мою немоту к некоему безликому препровождению времени. (Я же все ищу ту далекую точку нашего общения, где мы так неловко свернули и где разговор мог бы пойти иначе, безболезненно и взаимно живо. Сменить тему и просто и непросто, себя ведь тоже до конца не знаешь и, сам того не ведая, можешь опять шаг за шагом, как в дурмане, приближаться к запретному тому слову, после чего — спохватившись — лихорадочно сворачивать от слова в сторону, издали его видя, зная, боясь и уже издали правя от него виноватящейся интонацией голоса, как правят веслом.)

О чем угодно. От запретности темы, как и от сочувствия столь просто ранимому человеку, возникает мысль о легко и убаюканно заканчивающейся его жизни: не мысль — лишь ощущение общечеловеческой тайны, которую и не надо разгадывать до конца.

Когда-то Геннадий Павлович общался недолгое время с группой холостяков. В возрасте тридцати пяти — сорока лет холостяки перезванивались, а изредка приходили друг к другу, посиживали в креслах, выпивали, а когда выпивали, говорили о женщинах, о ню в живописи и — дань моде — о цветомузыке, которая воздействует в известном плане на подкорку женского сознания. Теперь им было за пятьдесят. (Ближе к шестидесяти.)

Геннадия Павловича, которому уже тоже за пятьдесят, они давно забыли.

(Образ — когорта постаревших Жуанов; лишившиеся

обаяния одинокие старички, тихо и порознь существующие в недрах огромного города в замшелых, неубранных своих квартирах.) Лишь однажды они к нему пришли. Их было трое. И правда: тихие и постаревшие, они никуда не спешили; они скромно и молча сидели за чаем, когда один из них (несколько оживляясь и входя в тот образ) заговорил вдруг легким, скорым голосом о своих заботах:

— ...Перед близостью с женщиной в нашем возрасте очень хорошо посмотреть фильм с убийством. Это, *мне думается,* подспудно возбуждает. Но не английский фильм. Английские убийства интеллигентны и, *мне думается,* слишком пересушены, как нынешняя вобла.

Геннадий Павлович в свой черед пожаловался на апатию.

Разговор был исчерпан. Холостяки поднялись. И пошли. Прощаясь, тот из них, говорливый, старался, кажется, поднять в Голощекове былой боевой дух:

— Апатия? Что за выдумки, Гена?.. Мы с тобой, помнишь, пообедали в кафешке — ты съел шашлык, а потом вдруг попросил еще обычную котлету с картофельным пюре... разве в апатии так едят?

Но вдруг осекся и тихим голосом сам себе возразил:

— Ах да, это ж было много лет назад. Лет десять или больше?

— Пятнадцать,— уточнил Геннадий Павлович.

И тот сразу приуныл:

— Да, да, пятнадцать...

У нее есть ко мне вопрос, которого мы касаемся осторожно и особо,— это лишь в минуту доверия, и это как бы наш с Нинелью Николаевной интим. Мы понижаем голос, на щеках у Нины легкие пунцовые пятна, она взволнована и спрашивает негромко, опустив глаза: «Все-таки вспомни — дарил ли ты начальству цветы?..» — и пауза. Нина знает, что я не служу и что сейчас у меня нет начальников в прямом смысле, но ведь когда-то служил, и были же там завы и замы, и ведь можно порыться в памяти, не было ли там подносимых завам или их замам коньяков, цветов.

Подняв вопросительно на меня глаза, Нинель Николаевна тут же отводит взгляд в сторону: она не хочет давить, она понимает, что вспомнить мне сейчас непросто и что, может быть, вспомнить такое мне тяжело, больно. Со своей стороны я тоже понимаю, что от меня ждут

самоощущения, когда тяжело и больно,— почти, мол, исповедь. (Ирония неуместна: для Нинели Николаевны это всерьез и значаще чуть ли не предельно.) Так что, помедлив, я пускаюсь в воспоминания, искренние и покаянные, притом длительные, так как ответить одним-двумя словами — значит раздосадовать ее да и огорчить. В сущности, я и не помню, дарил ли цветы. Начальнице, вероятно, дарил, но вот носил ли коньяки мужчине-начальнику? Вероятно, носил. Коллективно? вдвоем-втроем?.. или лично? — тут есть свои оттенки, и Нинель Николаевна настаивает, что оттенки существенны и оттенки никак не лишни, вспомни, вспомни, Игорь,— но Игорь и тут не вполне помнит.

Носил, стало быть? — голос Нинели Николаевны, падая, стихает до шепота и уже шепотом идет по зыбкому наметившемуся следу, отчего исповедание на какой-то миг (как и всякое исповедание) становится похоже на спрос. В каком она, начальница, возрасте — носил ли я цветы женщине средних, жилистых лет или старой? Носил старухе?.. Нинель Николаевна начинает все мягче просить подробностей и в то же время мало-помалу все жестче припирать к стене, отчего я невольно брыкаюсь: мол, не могу я всего упомнить, Нина, плохо я помню,— сама, мол, за меня придумала и сама же теперь настаиваешь на некоем конкретном толковании... Нинель Николаевна чутка, она тут же слабеет голосом: она просит прощения за невольный нажим. И теперь лишь шепотом, совсем мягко — спрашивает:

— Ну, пожалуйста, Игорь, вспомни — вспомни, как *это* было?..

И поскольку ей в угоду я действительно пытаюсь вспомнить, и тщусь, и напрягаю душевный строй, наш разговор пластичностью словосочетаний все более напоминает (зеркально отражая обоих, высокая пародия) разговор мужчины и женщины в те известные минуты, тоже вкрадчивые и тихие, когда деликатный муж выспрашивает жену о прошлой ее жизни, о жизни до него. Выспрашивая, муж ненавязчив: чувствуется измеримость его усилий. Мера. Он и спугнуть открывшуюся тему боится, но ведь и жаждет, и чуть ли не просит подробностей, в то время как она, молоденькая, и действительно плохо что помнит сейчас, среди ночи, под нажимом вопросов, хотя бы и вкрадчиво-интимных.

— Ну, пожалуйста, Игорь,— прошу тебя. Хотя бы один случай такой припомни: признайся...

Какие-то постыдные случаи я уже рассказывал Нинели Николаевне года два или три назад — я и правда вспомнил их тогда или же наскоро тогда же придумал, чтобы Нине было приятнее и теплее в тот долгий вечер (осенний, поздний). Однако сейчас я уж, конечно, забыл и потому рассказываю ей что-то новое, готовый, впрочем, учесть и свернуть в появившееся русло уже когда-то рассказанного случая. Рассказываю. Мой голос сам собой стихает, об интимном говорят редко, мы говорим, кажется, раз в три года, после чего тема опускается на самую глубокую глубину, как потаенная подводная лодка.

— Вот, кажется, и все...

Пауза.

— Уже поздно, Нина. Пора.

Настроившаяся на подробности, она, быть может, огорчена, но, деликатная, не настаивает — вечер и без того получился теплый, добрый. Я встаю. Иду в прихожую. Благодарю ее за кофе и разговор... Надеваю шубу, шапку. Я целую ее в щеку — я иногда это делаю; это мало что значит для нас обоих, но, может быть, что-то значит. Половину долгой дороги домой я буду думать о ее одиночестве. Затем мысли снесет в сторону, и я о ней забуду. На улице лютый февраль, ветер, и горстями, с воем снег летит в лицо — колкое непрерывное массажирование лица становится чуть ли не сутью этих минут; ничего, кроме снега; и все же я еще помню, как коснулся ее щеки губами. Кутаюсь в воротник... Вдоль линии троллейбуса, вплоть до остановки, ветер летит и воет как осатанелый.

Ветер бьет в спину. Жду... Рядом ждут троллейбуса еще две припозднившиеся ночные фигуры. Их тоже бьет в спину.

Нине сейчас не выйти — потому что некуда и незачем, да и дурная погода, чтобы просто гулять. И позвонить некому. Что остается? Ах да: сесть у молчащего телевизора и вязать, вязать... вязать и в тот день, когда стукнет пятьдесят пять. Пенсия? Что еще? Цветы, которые так и не поднесла начальнику? Иронизировать, конечно, можно, но ведь *это остается*. Никогда в жизни не принесла я начальнику бутылки коньяка или цветов»,— в сущности, это уже некая несобственность, и можно повторять всякому встречному, поймет он или не поймет, о чем речь.

Жизнь не бесконечна, и когда однажды кольнет вдруг, что тебя все-таки согнуло и сокрушило и что итог твой

не бог весть, можно встать, отложить спицы и, кстати распрямляя занемевшую спину, сказать ни себе и никому — просто сказать:

— А все-таки никогда в жизни не принесла я начальникам ни бутылки коньяка, ни цветов.

Тут и самоё смерть можно щелкануть по носу. На больничной койке в глубокой старости и уже в полной неразличимости окружающего мира Нинель Николаевна сумеет, возможно, выскочить из помутневшей памяти, и вдруг уйти, отстраниться, и помнить ту жизнь, ту прекрасную юность, и в несвоем — обрести свое время.

— Поверите ли — никогда в жизни не принесла я начальникам ни коньяка, ни цветов!

Нинель Николаевна покупает зеркала. Купила одно, овальное, и повесила в прихожей; затем нашла, что вид несколько мещанский, и в замену купила длинное, узкое, под старину, однако и то не выкинула, и это оставила. А заглянув в мебельный и случайно попав на привоз недорогого антиквариата, вновь купила *ампир*, но *такая дешевизна, куда было деться!* — по сути, Игорь, я увеличиваю пустоту своих комнат и, ха-ха-ха-ха, количество собственных отражений (*внося* в дом, она словно бы *выносила*, так как не уменьшала, а увеличивала, удваивала зеркалами жилую пустоту). Направляюсь вечером на кухню, иду спокойная, вдруг вздрагиваю — навстречу кто-то идет. А иногда в зеркале кто-то сбоку шагает. Я, видно, сошла на ненадолго с ума, но хватит, хватит — ты, Игорь, не хочешь ли взять хотя бы одно из них себе, надо же куда-то деть...

Иногда в виде особого ко мне расположения, Нинель Николаевна меня вдруг приближает:

— В тебе, Игорь, все-таки есть что-то наше, настоящее. И ведь по возрасту ты почти наших лет — ну сколько там разницы?!

От похвалы можно и покраснеть, если знать о высоте подобной оценки.

Геннадий Павлович (в параллель и ничего не зная о наших с ней общениях) вчера сказал еще более прямо:

— Ты ведь близок к нам по времени, Игорь,— и, быть может, ты как раз из тех, кто замыкает наш строй, *последний, а?*

И тотчас охватило чувство родства, и мне так жарко сделалось, жарко.

В такое послеотпускное время и появилась у них в отделе красивая Валя, которой ради изгнали сначала одного работника, а теперь, как бы сговорившись, а может быть, и без «как бы», а именно сговорившись, решили отдать место и ставку Нинели Николаевны. Красотку и винить-то слишком было нельзя — молодая, хорошенькая. Валя была тиха, с полуопущенными глазами, с мягким, нежным голосом; она краснела при вольных шутках и, запинаясь, подбирала слова, если надо было обратиться с чем-то к сотруднику. Она всем нравилась. (Она и Нинели Николаевне нравилась.) Особенно же она нравилась моложавому начальнику отдела, который только-только сменил прежнего.

И вот в отделе все стали с повышенным интересом спрашивать друг у друга о Нинели Николаевне: а справляется ли она вполне с работой? а ведь в последнее время маловато она работает — сдала? или возраст? — спрашивал у сотрудников зам, и моложавый начотдела тоже спрашивал, не ожидая, впрочем, никакого ответа,— просто спрашивал. Создавалось общее мнение: устроили ей вдруг обсуждение-отчет и вынесли на бумагу, что работала-де Нинель Николаевна последние полгода неудовлетворительно. (Она сидела на отчете как оплеванная: она не знала, с какой стати отчет и зачем ее вдруг вызвали,— шла с отчета домой, плакала по дороге, и фары встречных машин слепили ей глаза в сумерках.) Разговоры за ее спиной велись теперь активно, бурно, а едва Нинель Николаевна входила в отдел — смолкали.

А красивая Валя сидела, опустив свои голубые глаза, всегда готовая мило, скромно ответить. Она как бы понимала, что ничего говорить или спрашивать не надо и что все идет как идет — и только сидеть вот так и смущаться, как бы винясь за свою молодость и за непосильное для столь молодой женщины бремя красоты.

Она краснела, когда мужчины говорили ей что-либо игривое и когда, вступаясь за нее, женщины их отдела кричали, склонившись над работой и не подняв головы от цифр:

— Валя, не слушай его!.. Валя, Валя, не верь, он известный бабник и лгун!

Все смеялись, все были довольны — порозовевшая Валя сидела у окна, там, где столы образовывали второй ряд. Нинель Николаевна со своего места, переводя взгляд в направлении окон и неба, могла видеть Валю в профиль, ее склоненную к бумагам красивую головку.

Нинель Николаевна позвонила мне, чего никогда прежде не делала; поздоровавшись, сказала — они хамы, они, конечно, вправе устроить у себя в отделе хотя бы одну красивую женщину, тем более что она хороший, приятный человек, я же не спорю. Но пусть они это делают не за счет меня — и не потому, что некому за меня заступиться, а сама я уже старая, скоро пятьдесят, и мужчинам на меня, извини, Игорь, день за днем смотреть неинтересно.

«Приди хотя бы ты — и скажи несколько слов». — «Каких слов?» — «Все равно каких: просто посиди, поговори, чтобы видели рядом...» Идти в чужую организацию, на люди и обнаруживать там свое давнее знакомство с женщиной, которую они не любят и которую терпеть не могут, не слишком-то приятно — но ведь и Нину как оставить одну? — так что я поскучнел, но пришел к ним на другой же день в обеденный перерыв. Хорошего я не ждал — хорошего и не получилось. Нина громко и манерно со мной разговаривала, ненатурально смеялась и вслух намекала, что я-де знаком с неким известным литератором-очеркистом, который не лыком шит, и, если что, может выступить в газете. Я сидел рядом; молчал.

Тем стыднее было, что ее милые сотрудники как бы специально не пошли в тот день на обед — послушаем, мол! — сойдясь в группку у окна, жуя бутерброды, они переговаривались, шушукались о своем. Кончилось, разумеется, ничем. Более того — они меня отчитали, нагнав неожиданно в самом конце их коридора, когда я уже откланялся и ушел. Не положено ведь, чтобы к ним в учреждение приходили посторонние. Именно так. Нет, у них не секретное производство, и зря я пытаюсь их этим уколоть. Не секретное, однако посторонним быть не положено, о чем и табличка у входа. Табличку не прочел — это простительно. Но если я не хочу, чтобы в следующий раз выдворили с вахтером, а то и с милиционером, то не должен более к ним являться...

Я ждал ее у выхода, злой.

Мы пошли к ней, пили ее всегдашний кофе. У себя

дома Нинель Николаевна вовсю честила меня, она даже покричала, что совершенно, мол, разочаровалась в моей пресловутой практичности, что я — ничто, ноль несчастный и что ей теперь уже никто не поможет. И уже второй раз в течение дня она вскрикнула, что постарела, да, да, как только женщина постарела, она уже плохой работник, в отделе застой, и вот уже темы всего НИИ по ее вине не финансируются, а отчет не сходится.

Она пошла к начальству, что тоже ничего не дало, более того, секретарю велели: эту ядовитую женщину, очевидно нервную, в приемную в другой раз не допускать, у директора много дел, она отнимает время!.. Нинель Николаевна и верно была неузнаваема, куда девались ее умение сказать сдержанно и умение выглядеть достойно, составлявшие лицо. Она сыпала словами, доказывала (гневно потрясая рукой), хлопала дверьми, грозила писать в газету, словом, делала всю ту суету, какую обычно делают стареющие люди от одиночества и собственной неконтактности. Она кинулась в профком, но там ей и вовсе пригрозили, что за склоку поставят на вид, а путевок хороших, мол, в южные места больше не ждите. И отпуска летом — тоже. В ответ же на ее крики о газете и иные мифические угрозы ей объяснили, что затеваемый ею шум может лишь способствовать ее увольнению, а ведь она пока еще работает, работает и получает зарплату. И можно сказать, что сейчас, все более и более нервничая, она свое служебное место и свою ставку собственными руками передает в руки красивой Вале.

В отделе тем временем с Нинелью Николаевной никто не общался, а за спиной ее все определеннее крепло мнение, что она вот-вот уйдет. «Коллектив — это все. Ничего нет выше коллектива»,— повторял моложавый начотдела, а красивая Валя только скромно, смущенно улыбалась. Дело шло к развязке.

Конечно, Нинель Николаевна — боец, и только поэтому, не сдавшаяся, она решилась на шаг, который, с ее точки зрения, был отвратителен и по сути, и по эстетике исполнения. Всю свою жизнь гордившаяся особой независимостью, презиравшая тех, кто, пусть даже в самообороне, просил у сильных, она теперь сама решила позвонить этому моложавому начальнику домой — *начальнику! домой!* — уже загодя измучив себя тем, что она станет

просить у него разговора по душам, жалостливого и доверительного разговора, чуть ли не покаяния. Притом что после него придется, вероятно, говорить столь же доверительно и покаянно с сослуживцами, что поедом ее ели,— боже мой!.. Было так: она сидела дома, вязала, в параллель шло это безразличное смотренье немого телевизора, иллюзия общения с кем-то, она вдруг поднимала и мучительно вперяла глаза, не отрывала их от экрана, решительно не понимая, что там. Наконец встала — пошла к телефону. Она звонила и звонила: непосредственного ее начальника дома не оказалось, тогда Нинель Николаевна машинально и в полуотчаянии звонила другому, старшему начальнику, были вечерние часы, она звонила им домой, то одному, то другому, хотя, конечно, знала, что впустую.

Считая себя в те минуты мелкой и жалкой, она, как всякий мелкий, жалкий отступник, хотела и в дополнение чего-то гадкого: впервые в жизни она купила пачку сигарет, выкурила три подряд и с тошнотой, с трясущимися руками, с кругами в глазах засела за телефон.

Телефонный звонок раздался, когда Геннадий Павлович мыл посуду; он едва расслышал за шумом струи. Он подумал, что ошибка и что набрали, вероятно, не тот номер, так что он даже воду отключать не стал, взял трубку. (И слышал, как течет, шумит льющаяся вода.)

— Да,— сказал он.

И узнал голос Вани Авилова, приятеля давней юности, который приветствовал его и затем сразу, прямо стал рассказывать ему про себя, иногда попивающего, про семейную жизнь, которая дает сбои, про детей и про то, наконец, ради чего он звонит: нужно устроить его на работу.

— Ты же начальник, я слышал.

— С ума сошел — какой я начальник, я — начальничек!..

— Но ведь и это неплохо.— Быть может, Ваня Авилов не поверил вполне или решил, что Геннадий Павлович скромничает, но, скорее всего, Ване Авилову, мужчине также сильно за пятьдесят, было в те дни просто некуда деться, и не до выбора было ему, как и не до тонкостей, в телефонном спешном общении. Начальником Геннадий Павлович и верно был совсем небольшим, однако главное,

чего не знал Авилов, состояло в том, что уже который год Геннадий Павлович еле удерживался даже на этом скромном, небольшом месте, но ведь как просящему, с впалыми щеками Авилову это объяснить?.. Уже на другой день Геннадий Павлович устраивал на работу к себе в отдел выпивоху, что при малом авторитете Геннадия Павловича было равносильно самоизгнанию (так сказали его сотрудники). Разница была лишь внешней. Нинель Николаевну выживали, изгоняли, он в это время как бы изгонял себя сам,— в запараллелившихся их судьбах вновь проглядывала несомненная общность.

Проснувшись... или нет?

Геннадий Павлович среди ночи не только не позвал, не закричал, но не поднял глаз, потому что в темноте даже мысль его оцепенела. Он лишился голоса. Он лишился всякой мысли, пусть бы обычной. Даже закричать или заплакать он в страхе не мог. Это было как сон во сне. Он не мог ни шевельнуться в постели, ни выговорить слова и как бы ждал, что кто-то освободит его от неизбывного кошмара.

И случилось так, что Нинель Николаевна звонила в тот час, точнее в те самые полчаса, когда солидные мужчины в вечернем раздумье вбирают в себя политические и иные новости программы «Время» и когда к телефону подходят, как правило, женщины, жены; с ними Нинель Николаевна и общалась: как сказали после, она *взбаламутила море жен.*

Нет, Нинель Николаевна не говорила им:

— Как? Разве вы не знаете, что именно в таком (в вашем!) возрасте лишаются мужа?.. Сначала просто и невинно они играют, шутят с красивой девочкой Валей и радуются ее благоуханию, а потом вдруг женятся на ней,— а иногда даже успев убедиться, что красивая и благоухающая девочка Валя ждет ребенка, вы этого сюжета не знаете?

Нинель Николаевна такого не говорила и говорить не могла — даже и не умела. Она говорила совсем просто, от волнения только повторив,— изгоняют, мол, и отдают место молоденькой, а ведь я тоже хороший работник. Она

не прибавила ни слова, ни полслова. Тем не менее мучилась, потому что себе лгать не умела и почти сразу же поняла, что как ни скажи она — скажется скверно. «...Но я удержалась, Игорь, когда они стали расспрашивать. Я удержалась от лишнего и уж, конечно, от гадких этих намеков, я так испугалась вдруг, что защищала ее, — ты веришь?» — спрашивала меня взволнованно Нинель Николаевна. Я верил: я не сомневался, что, едва промямлив свои слова о том, что она неплохой работник, Нина тут же сообразила, к чему клонится, и засовестилась, и пошла на попятную. Но в том и поворот, что сказанного ею, даже и промямленного, даже и с уходом на попятную, женам было достаточно. Жены сами знали. И лучше и куда более Нинели Николаевны знали они жизнь и жизненные нити, знали своих мужей и, соответственно, потенциальную опасность, нависшую (быть может!) над семейным своим очагом. Так что это они сами, уходя в шепот или, напротив, наращивая голосовые мощности, друг другу говорили:

— Как? Разве вы не знаете, моя милая, что можете лишиться мужа? А вы не знаете, что у наших мужчин именно из невинных ситуаций в таком возрасте возникает... и т. д.

Одна из жен, правда, напала и на Нинель Николаевну, заподозрив ее в анонимности, на что Нинель Николаевна, преодолев вдруг забившую гадкую дрожь, немедленно отчеканила: «Никакой анонимности. Я ведь себя назвала.— И, вновь назвав имя и фамилию, твердо пояснила: — Я всего лишь не хочу дать себя в обиду. Пусть я очень маленький человек, но и маленькие люди — люди»,— слова были искренние, а Нинель Николаевна вдруг ослабела, и вновь ее охватила противная дрожь. Другой жене (которой ей велела позвонить первая) в боязни и в страхе быть шептуньей она сразу же назвала себя и предлагала еще зачем-то свой адрес и телефон, даже пригласила в гости вместе с начальствующим мужем, да, да, с мужем вместе не придут ли они вечером — как угодно и когда угодно! — пожалуйста! — она готова с ними поговорить начистоту и объясниться... Ее нервность, ее неуверенность и определили, может быть, их отношение в ее пользу, хотя никто, конечно, в гости не пришел и хотя ей, даже и назвавшей себя, все же досталось от женщин несколько обидных слов, которые она и проглотила вместе со слезами и с таблетками элениума.

Мало знающая жизнь служебных групп и группировок, Нинель Николаевна еще не догадывалась, на сколь плодоносную жилу случайно она напала. Вот кто кинулся к большому начальству — *жены,* — и там, где не преуспела Нинель Николаевна, преуспели они. С полуслова понимая друг друга, жены немедленно подняли вопрос о приказе, уже, оказывается, у секретаря подготовленном, даже напечатанном и гласящем о замене Нинели Николаевны красивой Валей — но почему, собственно, замена? И почему такая спешность, если все мы знаем, что она женщина одинокая и превосходный работник, и знаем также, что женщина порядочная... Две или три жены, уже прежде *встречаясь домами* и перезваниваясь, теперь и вовсе объединили усилия. Скоро и как бы очень кстати обнаружилось, что моложавый начальник отдела уезжал летом в долгий отпуск, так как был большим любителем рыбалки в прославленных плавнях Днепра, а красивая Валя в свой черед была большой любительницей варить уху в тех же, в днепровских плавнях — и уж точно, доподлинно, что в отпуск оба они уходили в июле, день в день. Возможно, было не совсем так. Но ветерок раздули. Даже живущая обособленной жизнью Нинель Николаевна почувствовала, как весь их отдел стало трепать и раскачивать вдруг усилившимся могучим ветром; их трепало день, и другой, и пятый, пока красивую Валю не сдуло и не унесло поднятой бурей в какой-то совсем далекий отдел их учреждения и на какой-то совсем другой, затерянный этаж,— кажется, с выговором; так что теперь Нинель Николаевна лишь иногда видела поскучневшую красавицу возле общей кассы, когда получали зарплату по вторым и семнадцатым числам.

Победа далась дорого; если раньше хоть кто-то, подойдя к Нинели Николаевне, заводил речь о погоде, пошучивал или одалживался у нее иногда деньгами, то теперь в отделе с ней просто не разговаривали. Она еще более замкнулась, сидела молчаливая и прямая, с прямой спиной. Так же молча ее заваливали счетом, не сообщали и двух слов о смысле производимой ею работы, что вело подчас к многократному переделыванию заново. К ее нише, что в самой глубине комнаты, не приближались. Она и была в отделе — и не была.

Лишь понемногу возрождались ее вспышки — я, Игорь, корректна, я подчеркнуто корректна, но если что, я тут же тычу их носом. Ни одного человека-миротворца. По-

чему я должна быть с ними вежливой, если они меня мучают... Нет уж: я прихожу, бросаю сумочку на свое место, сажусь за стол и сразу за работу...

...Готова убить, если кто-то закурит,— едва он спичкой чиркнет. Эти молодые хамы отвратительны. Нет, нет, вовсе не в рабочей нашей комнате, еще чего не хватало,— если он здесь закурит, я его просто проткну вязальной спицей. Да, беру спицы повязать в обеденный перерыв. Курящих я именно в коридоре пресекаю — да, громко, да, резко, да, на весь этаж. Пусть бегут, скрываются в свой сортир и там, среди вони, себя травят...

...Они меня ненавидят, и пусть...

Но главная беда Нинели Николаевны состояла не столько в возникшей изоляции и не столько в озленности, сколько в возврате переживаний спустя время — она ведь мучилась *после*. Вечер за вечером вязала она теперь дома и, чужая всем, мучилась от содеянного: она винила только себя. Припоминала свои слова все до единого, сказанные тогда по телефону, и — по крупинкам — бросала их на те или иные весы, ища, но не находя оправдания. Чувство вины еще обострилось, когда она вдруг перестала в дни зарплаты видеть молодую женщину у кассы: красивую Валю продолжало уносить ослабевшим, но еще дующим ветром и унесло теперь куда-то совсем далеко. (То ли сама она не ужилась в новом отделе, то ли остаточная месть жен достала ее и там.) Вали — не стало.

Нинель Николаевна мучилась:

— Единственный раз в жизни я позволила себе слабость — и слабость немедленно обернулась подлостью... Мне ни в коем случае не надо было вести разговор с женой — но как, как, если она впрямую спрашивает: «Что вы хотите?» — «Хотела бы поговорить с вашим мужем».— «А в чем дело — разве это тайна?» И как после этой ее интонации я могла повесить трубку или промолчать? А ведь могла: надо было только перетерпеть, и надо было непременно поговорить прежде с самой Валей. Поговорить и ее понять, может быть, даже сдружиться. А что?.. она была спокойна и скромна, она смущалась, она даже не курила, что по нынешним временам среди молодежи — редкость!..

Образ молоденькой девушки, хорошенькой, но скромной и тихой, которую приносят в жертву властные жены на-

чальников, которая не имеет сил им ответить и, ославленная, теряет работу,— образ этот мучил Нинель Николаевну. Она пошла в отдел кадров, но там ничего не знали. Такая-то уволилась — и все. Затем и через горсправку Нинель Николаевна не нашла ни новой работы Вали, ни прописки, где та живет: ни следа. Ее словно бы поглотил огромный город, эти башни, дома с миллионами и миллионами окон, которые прячут свои тайны и которые не просто же так манят к себе одинокого человека по вечерам.

Нинель Николаевна на время лишилась сна. Она тягостно вздыхала:

— Валечка, Валя...

Ваня Авилов с своей пьяной бедой был человек трудный, был из тех, кого устроить на работу только через отдел кадров непросто. Но ведь если бы просто, разве бы зазвонил телефон, когда Геннадий Павлович мыл посуду, когда он оставил литься струю воды, и подошел, и с екнувшим сердцем переспросил: «Ваня?.. Авилов?» Образ из прошлого, взывая о помощи, означился отчетливо и ясно. И на другой же день Геннадий Павлович взялся за устройство. Святых, напоминающих о юности дел не так уж много, и как же можно было не поспешить.

Нет, Ваня Авилов, 55 лет, служащий, женат, двое детей, не пришел в первый же день на работу выпивши, хотя, может быть, именно не выпивший, пришел он туда резок и агрессивен в разговоре, но, впрочем, и это уже не имело значения, так как вышестоящее начальство попросту и независимо ни от чего навело соответствующие ситуации справки. (А даже и справок не наводя, но не желая, чтобы разбухали кадры за счет непонятных и не своих людей, не подписало приказ.) Ваню Авилова, 55 лет, служащего, сразу же утратившего свой агрессивный дух и настрой, вышибли через два дня. Правильнее сказать — его не взяли.

Геннадий Павлович заметно нервничал и ходил по коридорам НИИ бледный, белый лицом — он догадывался, что будет трудно и что Ваню Авилова придется поддерживать, отстаивать, но он никак не думал, что все кончится так скоро, так просто.

Плюс выговор. (Много повоевавший с ними в юности

да и сейчас столько раз засыпавший под сладкие мнимые бои со сверхначальниками, Геннадий Павлович оказался так жалко бессилен. Его не пригласили поговорить. Даже не вызвали, вовсе обойдясь без его мнения. Они даже не захотели, чтобы он отступился, скажем, от своего Авилова... совсем просто и обидно у него на столе появилась эта белая, в пол-листа бумажка. Бумажонка, даже и с опечатками. Даже не выгнать. Совсем просто — *не утвердить.*)

Заодно и именно что походя Геннадию Павловичу выговорили через непосредственного его начальника; в сущности, даже и прикрикнули не сами, а посредством кого-то. А когда люди от Голощекова стали сбегать к ожившемуся и потирающему лапки злодею Птышкову, сбегать им не мешали (по сути, сбегающих поощрили), оставив Голощекову в его отделе двух наглых мальчишек двадцати пяти лет от роду. «Да ладно... Я уж вижу, что ты мало тут значишь. Я не в обиде»,— сказал ему Ваня Авилов и ушел, когда Геннадий Павлович, запинающийся, с прыгающими губами, стал было объяснять.

Он ушел искать другое место.

А Геннадий Павлович, с комом в груди, остался.

Чтобы помочь, надо что-то собой значить. И, быть может, этого *что-то* добиваться в течение жизни? — мысль истончалась и истончалась, а острие ее обернулось, разумеется, грубостью практической правды. (Мысль не доходила до большей, чем сама, глубины.) Неужели же помощь, бескорыстие, искренний отклик души удаются как раз тем, кто только и может обеспечить эту помощь своим чином, весом? И что же: Геннадий Голощеков должен был не философов читать и не размышлять о человечестве в упоении собственным интеллектом, а добиваться для себя высокого места, должности, значения и уже в связи с этим местом, должностью и значением — власти?.. Но какова банальность! Он наслаждался познанием, а необходимо было одновременно с этим лезть по лестнице вверх — неужели так?.. Перед Геннадием Павловичем восстало нечто нехорошее, нелюбимое издавна, встала некая пелена, за пеленой — нечто пугающее. (Он шел после работы домой.) Он шел как в клочках тумана.

Весьма грубые и как бы оставленные для него Ваней Авиловым мысли о *значении:* о мужской значимости, о влиянии — какие всё простенькие, казалось, мысли! Как мало в простоте той определяло само по себе чувство

и само по себе желание: скажем, желание помочь, не зря же Геннадий Голощеков в свою пору не только блистал — значил! Это знается с молодости (новизны нет), но ведь именно с молодости, с момента, когда его окрикнули и как бы уличили, он не хотел этого знать и не хотел значить, пожалуй, настолько же, насколько всю дальнейшую жизнь хотел и ждал подобного случая, чтобы помочь, рискнуть, пожертвовать хоть чем-то и добиться. И случай пришел, пусть невеликий, пусть мелковатый, но тот самый случай, типический, и не в том суть, что, будь сейчас Голощеков начальником рангом повыше, он бы сумел помочь бедняге Авилову. Поступок — вовсе не плоское дополнение самого себя. Суть даже не в том, что начальники Авилову помогать не хотят, а *неначальники* хотят, но не могут,— суть в том, что...

Перед его глазами вставала на улице белая клочкастая стена тумана, отчего Геннадий Павлович вдруг тряс головой, туман этот стряхивая и улучшая видимость, но она, улица, была и дальше словно бы в легких, невесомых клочках хлопка. Падало как бы с неба. И как ни медленно Геннадий Павлович шагал, он все натыкался на нее, на улицу в тумане.

Он мудрел в этот миг (проживал заново и быстро свою жизнь) — он в считанные минуты мудрел, перемножая свой интеллект на практическую любовь к всевозможным авиловым, свою — на практику иной жизни (на иную, непрожитую, *тоже возможную жизнь*); если бы Геннадий Павлович продолжал идти с работы, с той же ошеломляющей скоростью мудрея, то на подходе к дому, к вытертой скамейке, где качели для детей и где обычно сидят слесари, он подошел бы уже глубоким стариком, мудрым до последнего предела, перемноженно мудрым, проницательным, дряхлым и в то же время чудовищно и гениально далеким от людей, как мессия, как Будда нового века. Но природа начеку. Природа не позволяет человеку от некоего случайного опыта мудреть с такой скоростью дольше, чем минута-две, она не дает дойти спокойным шагом до дома, до скамейки, где детские качели, иначе возросшая мудрость человека, одного в отрыве от прочих, станет слишком всеобъемлющей. Что-то понял, и хватит. Довольно и одной-двух таких минут. И чтобы не шел он так до дома, скорость его шага стала сбиваться сама собой; нога ступала неверно, отчего Геннадий Павлович, как-то вдруг занервничав, сделал шаг в сторону. За-

тем сделал и вовсе неверный шаг. И его сбило машиной.

Он поднялся с земли. В тот новый момент, когда он падал и затем поднимался с земли, а затем просто шел, потирая левое колено и левое плечо, внутренний скорый процесс его мудрения уже выровнялся в обычный, в средний, и уже шагал к своему дому не супермыслитель, не Будда, которого в таком его всеобъемлющем виде природа, быть может, собиралась сразу же и прикончить под колесами (за ненадобностью? за отрыв от прочих людей? за неконтакт с роем?), а шел, то колено, то плечо потирая, просто человек, просто Геннадий Павлович Голощеков, что-то важное понявший, что-то дополнительно усвоивший в жизни — но не более того.

(Преждевременная его гибель под колесами, с реанимацией, с не расслышанными в бреду словами, с непонятным *видиняет* и прочая, была не исключена, но, во всяком случае, пока отодвинута.) Геннадий Павлович шел, прихрамывая, а вновь объявившаяся (обычной глубины) его мысль по инерции все еще гневилась: за столько, мол, лет жизни не смог преуспеть и продвинуться хотя бы для того, чтобы помогать неудачникам. Не хотел — это бы понятно! В нехотении тоже набор защитных свойств. Но столько лет прожить, прослужить, просидеть, сгорбившись, за рабочим столом, прокорпеть, трополучать зарплату столько лет и не уметь помочь человеку? Стиснутое жалкостью в морщины, банальное, просящее лицо Авилова отчетливо вспомнилось: постаревшее его лицо возникло и прыгало теперь перед глазами Геннадия Павловича, отчего земля вновь заколыхалась, асфальт сделался бугристым — и Геннадий Павлович спотыкался на ровном месте; но и спотыкание было уже обычным и вне перекрестка.

В сущности же, удар машиной дал ему пережить стресс проще и понятней, *теперь это был лишь стресс*, после чего Геннадий Павлович Голощеков пришел в себя; он потирал колено, шел быстро в сторону от случившегося и негромко охал, прихрамывая. От перекрестка он добрался к старинному кирпичному дому, что на той стороне, и почти рухнул на оказавшуюся там скамейку, стиснув на миг зубы от боли.

И со скамейки махнул водителю рукой: езжай, мол, дальше, ничего страшного. И тот, тоже махнув, тотчас уехал.

А Геннадий Павлович продолжал сидеть на скамье, потирая теперь больше плечо, чем колено, и вместе с вошедшей, вдруг появившейся сильной болью в плече в него входила жизнь, входил мир живых, и в поле зрения попадали люди, прохожие и просто любопытные с того перекрестка, которые понимали, что Геннадий Павлович Голощеков еще не завершил свой жизненный путь (и, нагнав и обступив его, шумно теперь советовали что-то или предлагали помощь).

Он подумал только, что надо быть благодарным жизни, что хоть как-то свела его с Ваней Авиловым и хотя бы неисполнившимся желанием помочь напомнила о юности.

Смерть прошла в шаге и от Нинели Николаевны, которую мучала судьба изгнанной и исчезнувшей Вали,— ведь девушка была скромна, порядочна и менее всего виновата в том, что у нее ангельский облик; мужчины хотели тешиться, жены их хотели защищать свои права, но кто подумал о ней, о Вале? Красота — дар, но пойми, Игорь, если люди так алчут, красота — несчастье. Все знают, что талант, скажем, музыкальный, надо беречь — почему же не беречь красивую молодую женщину, по сути своей беззащитную в этом мире ничего не пропускающих моложавых начальников; горько знать о них, но еще горше знать, что первой ее под удар поставила я...

День за днем Нинель Николаевна жила в мучающем ее сюжете, когда добавилось необходимое совпадение, сцепление. Случайно, за дверью, прежде чем войти в отдел, Нина расслышала голоса и обрывок разговора, из которого следовало, что в случае с Валей они сочли ее доносчицей. Сказано было между прочим — совсем без гнева, да, мол, донесла вовремя. Слово порхнуло как бы вскользь. Но слово осталось как возможность: возможность прожить столько лет, не прощая людям их подлостей, их делишек, а в конце жизни вдруг и незаметно, почти нечаянно самой совершить подлость? — это ее потрясло. Упрощенность, линейность их мышления не отменяли поступка. Ведь, несомненно, это была она, звонила по телефону она, говорила женам она (со времен юности считавшая, как считали все, что хуже и гаже доносительства ничего нет. В их дни самый умный, самый интеллигентный, самый красивый молодой человек тут же делался дрянью и обращался в ничтожество, если становилось известным, что

нашептывает или даже в явной форме обращается к власть имущим, с тем чтобы на кого-то обрушились с немилостью). Узнав, кем ее сочли, и не захотев додумывать, кем была она в том поступке (телефонном звонке) на самом деле, с отвращением к собственной личности, запятнавшей юность, Нинель Николаевна тем же вечером у себя дома открыла газовые краны.

К счастью, испугалась. (Была ночь.)

Уже чуть светало, когда я приехал по ее звонку. Она сидит в кресле, и ее рвет. Ее вдруг сгибало пополам. Порция за порцией поступали из желудка каждые полчаса, и на полу каждые полчаса оказывалась лужа. Встать она не могла. Сначала я как-то сгребал газетами и, в газету же заворачивая, выбрасывал. Затем, когда объем работы стал пугающе ясен, я просто принес ведро из кухни — сидел с ней рядом; время от времени я сгребал ладонями с пола, плюхал в ведро и ожидал следующего позыва и выброса. Бедная, лицо у нее сделалось жуткое. Казалось, кожа знакомого мне лица натянута на проволочный каркас, гнущийся то так, то этак. Определенного выражения не было: были только громадные глаза, как у немо жалующегося животного. Я спрашивал: не вызвать ли врача?

— Не надо, — говорила она со стоном. — Не надо...

К утру она уснула. (Сидя в кресле.) Я тогда же позвонил к ним на работу и сказал, что больна.

Вызвал врача. Тот приехал, дал ей бюллетень. Нинель Николаевна уже могла говорить без стонов, так что сама пожаловалась врачу на недомогание и рвоту. Что-то, мол, съела... Чтобы легче лгать (не смущаться в причинах и в пределах придуманной болезни), Нина взглядом попросила меня выйти, сидеть на кухне и оттуда не выходить — хотя, конечно, и оттуда я слышал их разговор слово в слово.

Впрочем, женщина-врач так спешила, что мигом выписала ей больничный на три дня и ушла. Неискренний разговор с врачом оказался для не умеющей притворяться Нинели Николаевны трудным испытанием, так что она сразу лишилась сил и, повторяя только, просила своего всегдашнего напитка, *кофе, очень хочу кофе*, жалобно, как просят все обессилевшие. Выпив кофе, тотчас уснула.

Ей стало плохо и на следующую ночь. Обеспокоившись

и вопреки ей, я вызвал «скорую помощь»— равнодушные к смерти и к жизни, примчались здоровенные парни, сели рядком, меж собой посмеиваясь, ерничали, но дело сделали, откачали: они оставили несколько ампул для уколов впрок, после чего уехали. Предупредили, однако, что нужны постоянная сиделка и пригляд. Видавшие виды, они сами сообразили, что я ей никто, что тоже скоро уеду и что вообще тут пахнет бедой и застарелым одиночеством.

У меня были неотложные дела, в сиделки при женщине я к тому же и не годился — но тогда как быть, если перекладывать заботу с своих плеч на чужие всегда неловко? Не годилась и Аня, так как днями на работе, а вечером на ней дом, дочь. (Была еще на примете М., хорошо знакомая мне женщина-литератор, одинокая, с несколько необычным складом ума и несколько беспечным образом жизни,— тогда же мне подумалось, как думается иной раз в романах: мол, вдруг подружится она с больной, с жалкой сейчас Нинелью Николаевной, оценит ее искренность, ее порядочность, а затем их общения перейдут в род дружбы — мысль нехитра, однако ведь жизнь зачастую идет как раз по нехитрым мыслям.

Но М. сразу же сказала — не хочу.

— Почему?

Она ответила, что фрукты, пожалуй, привезет ей, и соки привезет, и денег, если есть нужда, сколько-то даст, но сидеть с больной не станет. Не хочет, Не умеет. Уволь, не могу никак!..

Притом что я ни слова, разумеется, не сказал ей про газ.)

Оставив в стороне участливое и человеческое, я обратился к профессионалам: сговорился с едва знакомой мне медсестрой Ренатой *на пять дней.* Рената в те дни присматривала за мальчиком-дебилом, тем не менее она согласилась и переехала на квартиру к Нинели Николаевне вместе с ним, чтобы присматривать за обоими разом. Мальчик был тучен, но вполне пристоен, лишь без конца таскал хлеб, мазал маслом и ел, а Рената, пресекая незапланированную его еду, покрикивала:

— Да имей же совесть!..

Обычно она обнаруживала его на кухне, когда шла кипятить шприцы; и шкаф — где хлеб, и холодильник — где масло — мальчик открывал тихо, без единого звука.

Нинель Николаевна выздоравливала медленно. Зато ничто ее не раздражало, не волновало. Она могла часами сидеть у окна в задумчивости, совсем для себя не тягостной, и легко отвлекалась от своих (и несильных, и неопределенных) чувств, увидев за окном машину с прицепом или, скажем, собаку, переходящую пустую улицу. Она не жаловалась на длинные дни и, видимо, совсем не испытывала нетерпения или там бытовой скуки, утеряв чувство времени. Ей был поставлен какой-то сложный диагноз, связанный с нервным истощением,— на службу она не ходила.

Когда я навещал, она, отчасти пробужденная, начинала что-то делать по дому, хотя и вяло.

— Проводи меня до магазина,— говорила она, после чего мы выходили, и я помогал ей купить овощей, а также пакеты молока, которое она ставила на домашний творог. Было видно, что она еще больна. Мы шли по улице осторожно. Она шла неспешная и как бы вся хрупкая. А я рядом очень осторожно нес овощи и пакеты с молоком, как будто овощи и пакеты тоже были хрупкие.

Я навещал редко.

— Из меня уходит, ушла любовь,— говорила Нинель Николаевна и после сказанных слов держала долгую, значащую паузу.

Возможно, Нина не умела в своем нынешнем состоянии сказать более понятно, но, возможно, и не хотела договаривать до конца, как многие женщины, инстинктивно пугающиеся слишком точных слов, боящиеся, что найденные слова все опишут, все назовут, но упустят при этом саму тайну. (Лучше удержать свое при себе. И называть приблизительно, лишь неким общим чувственным знаком. В конце концов, есть целые народы, что, не гонясь за суховатой точностью, общаются иероглифами.

И, может быть, в русле своей речи мы все неторопливо движемся к этому.)

Пришла мода на иррациональное, и бывшие чеканные говоруны, студенческие вожаки, деятели теперь тоже хотели тайны.

Дожили. Дошли до лет.

— Но почему — любовь? Почему такая многозначительность?

— Уходит любовь — это значит, уходит такое, казалось бы, неисторжимое... как бы тебе, Игорь, сказать. Уходит нечто общечеловеческое, что всех нас, людей, связывает.

— Но зачем же непременно говорить — *любовь*. Это претенциозно, Нина. Говори — *нечто*...

Нинель Николаевна согласилась и сказала:

— Хорошо: *нечто* уходит из меня.

Получилось смешно. Я вдруг засмеялся. А она — заплакала.

Нинель Николаевна уже ходит на работу. Но еще не вполне здорова: скоро устает, утомляется.

Я приехал после лета.

— Ну, рассказывай... почем там, в Астрахани, их замечательные помидоры?

— Полтинник.

Она лежала, отвернувшись к стене. (После работы часа полтора-два она лежит.)

— Что-то дорого для Астрахани... А рыба?

— Не помню.

— А икра? рыбаки икру продают?

Я неопределенно пожал плечами.

— С женщиной, когда она приезжает издалека, поговорить можно — все знает, все видела, все запомнила, а что ты? да был ли ты там? — и она сделала пренебрежительный жест рукой.

Спустя время она сказала:

— Ты, Игорь, не исчезай совсем... Привыкла к тебе. Не знаю, что нас связывает — вроде бы и нечему связывать, а вот ведь!

Она запнулась.

— Скажи... А может быть, я когда-нибудь тебе нравилась? Ну, не сейчас, а лет пятнадцать назад, когда мы только познакомились — когда были помоложе. Может быть, ты был в меня влюблен немного? Как бы это было теперь красиво и романтично, а? Хотелось меня? Нет, ты скажи — в конце концов, мы же свои люди и ссоры никакой не будет...

После паузы смахнула слезы:

— Вот, мол, женщина — да? так думаешь?.. Одной,

мол, ногой еще там, еще из ямы не выкарабкалась, а уже про свое — да?.. Нет, нет, Игорь, я же просто болтаю.

«Но сказали, что именно у вас эта книга».— «Кто сказал — пусть вам и продаст». И тогда Геннадий Павлович (уже больше от усталости) взмолился: где она, где книга, где этот единственный экземпляр, появившийся сегодня в городе? — видно, много вложил он мольбы, так много, что и задерганный продавец на секунду дрогнул, нет, не лицом, лицо было вышколено и ничего не выдало, рукой дрогнул, кисть руки дернулась — миг — и вынул бы он книгу из-под прилавка, единственный искомый томик, но... но тут же он себя пересилил и сказал: книги нет, *может, у букиниста на Ломоносовском,* после чего Геннадий Павлович вышел и, вдруг ослабев, плюхнулся в заждавшееся такси: помчались на Ломоносовский проспект — бесполезно, бессмысленно: все еще Геннадий Павлович удерживал в глазах это подвижное лицо над прилавком, и миг неуверенности, и дрогнувшую его руку, левую, рука шевельнулась, пошла, пошла, пошла вперед кистью, но вернулась на стекло прилавка, сама себе отыграв секундную слабость, а движением возврата гася порыв.

Ожидавший подолгу у каждого книжного магазина, таксист чертыхнулся и вновь стал затевать ссору.

На Ломоносовском книги не было. Обследовав магазин, седьмой по счету, Геннадий Павлович уже сильно устал, иссяк, такая была гонка и так распалила охота, и ведь кроху бы мольбы добавь он еще у того прилавка, дрогнул бы продавец... Потратившийся на такси и впустую убивший вечер, Геннадий Павлович дома сразу свалился в постель, уснул; но, даже засыпая, все видел перед собой дрогнувшую ту руку, левую.

А дома книги, написанные тысячами лучших умов всех времен и народов, довольно равнодушно смотрели с высоты полок на уставшего человека. Книги не укоряли. Им, кажется, было все равно — одним томиком больше, одним меньше. Полнота мира не нуждалась в добавлении. И Геннадию Павловичу, засыпающему, сделалось тоскливо...

Среди ночи он дважды просыпался — а утром уже был совсем разболевшийся; подступала апатия.

(В бреду в больнице он все станет повторять, что какую-то книгу — одну! — он так и не нашел.)

Отчетливо помню ту ночь, когда ее рвало. В памяти — ее серое (то зеленое) лицо. И спазмы. И на слуху — горловые внезапные вскрики. И ведро, которое я то вносил с кухни, то выносил.

Одно время больная вела себя плохо. Медсестре Ренате Нинель Николаевна почему-то не доверяла, плакала, возводила напраслину — нет-нет и из ничего она подымала шум, говорила, что мало кипятились шприцы или что таблетки стары по времени, пожелтели.

— А я вам не верю. Я вам совершенно не верю! — говорила больная, глотая слезы.

Она измеряла температуру собственным градусником, а цифры давления каждый раз подвергала сомнению.

Рената сносила стоически и лишь иногда повышала голос, но и то не на Нинель Николаевну, а на мальчика-дебила, который опять, пока они обговаривали давление, успевал уединиться на кухне и, затаясь, ел хлеб с маслом:

— Ты перестанешь или нет?.. О, господи!

Нинель Николаевна капризничала, нервничала, а затем вдруг впала в безразличие.

Она лежала, отвернувшись к стене, молча, недвижно и даже не заметила, кажется, как медицинская сестра Рената ушла совсем, когда дни истекли. Нинель Николаевна осталась одна. Она пила иногда таблетки, иногда забывала, и тогда врач, заглядывавший через два дня на третий, ее ругал.

Однажды утром к Нинели Николаевне, навсегда забытой родными, из маленького далекого городка на Волге нагрянули вдруг двоюродные, или даже троюродные, племянник и племянница — молодые, вполне современные люди из провинции, о существовании которых Нинель Николаевна тоже напрочь забыла, да, кажется, и не знала. Внешне это напоминало процесс вовлечения. Они рассказывали о Волге, о жизни там, об общих родственниках и особенно о забытом ею двоюродном брате, но она не знала имен, не помнила, не понимала. «Мы ваши племянник и племянница. Двоюродные» — так и сообщили они ей, безучастной после болезни и безвольной, и чуть ли не предлагали глянуть в их паспорта прямо с порога.

У них были временные дела: племянница сдавала экзамены в вуз, а племянник ее сопровождал, заодно же он делал в столице нужные покупки.

Именно племянник откликнулся активно — помогал притихшей Нинели Николаевне купить продукты, кормил ее, помогал по дому, даже и уговаривал съесть то или иное сготовленное им блюдо, однако перед отъездом, в самые последние дни пребывания, деловая часть его души пересилила, и он, мало-помалу втянувшийся, стал Нинель Николаевну обирать, пользуясь все той же ее безучастностью и равнодушием.

— Я и мясо на свои покупал, и масло,— говорил он, а она безразлично молчала, так что племянник как бы рассуждал сам с собой.— И сосиски покупал три раза. Деньги мне не нужны, но вот собрание сочинений Гончарова я у вас, Нинель Николаевна, возьму. Вам все равно — я же вижу,— книги вы не приобретаете, не любите, а какие красивые томики!.. Я вот эту графику тоже, пожалуй, возьму, гравюрка мне очень по душе — я люблю, Нинель Николаевна, когда живописец зиму изображает, деревья в снегу...

Иногда он затевал подсчет:

— Вот это покрывало я заберу... Я вам, Нинель Николаевна, паркет поправил, краны починил и ручки дверные — знаете, во сколько бы они вам обошлись? Краны — это пустяк, а вот дверные ручки, если добротные, идут из расчета как врезанье замка... Или, может быть, я неверно считаю и вы несогласны, вы тогда скажите. Верно или нет?

Нинель Николаевна кивала — верно.

Деловитый племянник, может быть, и не обирал, не обманывал ее в расчете; то есть, если переводить на деньги, он был прав, но ведь он забирал как-никак продуманное и приобретенное, *уже* внесенное в дом, из которого человеку чужому, как известно, вынести легче, чем внести.

— Я правильно считаю — но если арифметика меня подводит, вы мне скажите.

Нинель Николаевна кивала.

С ним однажды пришел его новоявленный приятель-москвич, и вот тут-то, один другому смущаться не давая, они вдвоем прибрали к рукам гравюры и томики. Квартирка поблекла и опустела. Особенно оголились стены. Но Нинель Николаевна не замечала.

Наконец племянник уехал.

А племянница оставалась: она продолжала сдавать экзамены. В отличие от брата, племянница была нежней-

шее существо, говорила ласково, готовила, стирала, и Нинели Николаевне было с ней хорошо. Благодаря ей она ожила.

Она бы и мебель, и полквартиры отдала деловитому родственнику, лишь бы его сестра жила здесь подольше. Невольно (и сама собой) племянница воздействовала на нее молодостью, воздействовала мягкой и деликатной провинциальной речью. Она оживляла, оздоравливала вокруг сам воздух.

— Тетя Нина,— говорила она,— такие юбки сейчас не модны...

Или:

— Тетя Нина, с морщинами надо бороться...

А тетя Нина, замедленная и заторможенная, слушала этот милый молодой щебет, оттаивала и улыбалась, вбирая эту удивительную теплоту провинциальной девочки, девочки из родных мест,— подспудная встреча с собой на уже забытой отметке времени — в отрочестве. (На глубине отрочества и детства Нинель Николаевна теперь что-то слышала: там ощущались тихие внутренние толчки, неясные шумы, там что-то смещалось или дышало, бережно ей напоминая... Что-то, чего не объяснить.)

Племянница недобрала двух баллов и, вся в слезах, хорошенькая и милая, вернулась к себе в заволжскую провинцию, а Нинель Николаевна, проводив ее к поезду, осталась одна.

Нина сделалась преувеличенно чистоплотной, словно бы всему белому свету в укор. Она оживала. Она в комнатах своих без конца чистила, что-то шила, мыла, стирала.

Она вновь прикупила вещи и вещицы в дом.

Глава шестая

Как фильм.

Полночь. Над крышами домов луна. Тихо. Лунный свет разлит всюду — на узких улочках, на домах с темными спящими окнами, на деревьях. Близко находится ночное кафе, оттуда еще слышны редкие голоса — уже негромкий, усталый смех затихающего веселья; и тихо.

Но вот осторожные шаги. Из полумрака появляется, движется человек — это женщина. (*Крупный план*: молода, хрупка, красива.) Она придерживает в руках сумочку.

Проходит мимо кафе, идет дальше... вот скамья; здесь же три тополя. Луна. Тополя чуть шелестят листвой. Женщина проходит раз и другой мимо скамьи, но на скамью не присаживается. Она как бы делает круги. Похоже, что она ждет.

Новый кадр. С противоположной стороны появляется мужчина. Он идет, пересекая улицу. Возле кафе, где расположилась уже затихающая пьяненькая компания, кто-то зазывает мужчину: «Вв-выпьем, эй!..» — но мужчина отстраняет его решительным движением и быстро проходит далее по темной улице, пересекает двор, подходит к забору — и перемахивает. И оказывается в том самом маленьком дворике. Вот скамейка. Три тополя.

Он видит ее — она видит его. Как и условлено, оба движутся к скамейке. Он. И она. Расстояние меж ними сокращается. Он тем временем опустил руку во внутренний карман. Она на ходу приоткрыла сумочку. Лунный свет освещает скамейку. Он протягивает свою полурыбку — опознавательный предмет и как бы пароль. Она извлекла из сумочки и тоже протягивает свою светло-серебристую вещицу. Рука приближается к руке, и луна освещает сближающиеся две серебристые полурыбки... Увы! Половинки одной и той же рыбки не сходятся. Совпадают, но не вполне.

Оба глядят друг на друга. После секундной заминки они вновь пробуют соединить две половины одного и того же опознавательного предмета. Они пробуют так. Затем так. Но нет и нет — полурыбки в одно целое не соединяются, возможен подлог, и потому он и она опасливо смотрят друг на друга (к р у п н о: глаза его — глаза ее), подозрение пересиливает все прочие чувства, и вот, уже не желая ни спросить, ни узнать, ни разобраться, оба вдруг встают со скамьи и быстро уходят в разные стороны. И исчезают в темноте ночи.

Луна. Пустая скамейка. Три тополя.

Когда после выговора сверху Птышков переманил людей и наконец приел, подобрал этот отдел, *давно валявшийся под ногами*, Голощекову оставили лишь двух юнцов, кроме того — переселили.

Теперь Геннадий Павлович в небольшой комнатке — он сидит, уткнувшись в бумаги, считает, пересоставляет, решает, как считал, пересоставлял и решал раньше, а два

молодых человека, вверенных ему и напрочь его не уважающих, сидят за своими столами как раз за спиной, сзади Геннадия Павловича. (Их трое в комнатке — три стола, три стула.)

Вдруг я думаю (и ни на чем это не основано), что Птышков, создавший себе отдел, создаст еще и идею, а там и направление работы, выдвинется, сядет в кресло, а став влиятельным, просто так — смеха ради — выпроводит Геннадия Павловича на пенсию как можно скорее. Или даже изгонит, не дожидаясь его пенсии, чтобы не мозолил глаза человек, столь долго казавшийся ему заслоном на пути. Казавшийся ступенькой, на которую надо влезть. Камнем-валуном, который горный поток должен свалить, отвалить, отбросить в сторону, не все же его обтекать, и не обходить же его стороной вечно. Именно, мол, по некоей инерции преследования Птышков станет Геннадия Павловича изгонять и изгонит до конца. Не столько мистика, сколько неизбежность узнавания себя. (Человек-ступенька, которого надо перешагнуть,— образ в динамике.) Но и обратное возможно: самоутверждения ради Птышков-злодей не выпроводит его на пенсию и не выгонит преждевременно, именно сохранит, посадит в своем собственном отделе, притом неподалеку, как живое напоминание. Как трофей. Как знак, который всегда будет ему показывать, как надо вести себя в современном бою. (Когдатошний двойник, а также черный человек превратился в человека-ступеньку, который...) И тогда я буду бояться и думать (и тоже необоснованно), что Геннадий Павлович, вырвавшись однажды из тумана апатий, осознает неявное свое унижение (в качестве трофея) и возмутится. Он вдруг заговорит. Вдруг его посетит какая-то героическая идея, и он начнет много, как в молодости, говорить. (Как в молодости — но не в молодости.) Он будет говорить без умолку. И, увы, без оглядки. Он взбунтуется по любому пустяку, а там его понесет, и он будет говорить и говорить, пока не угодит, бедный, в психушку. Я совершенно точно знаю, что ничего похожего не будет. Что будет обычный и спокойный пенсионер Г. П. Голощеков, который вполне смирен и вполне обычен, который не даст и не позволит самому же себе разрушить свой собственный домашний покой, обставленный высокими духовными размышлениями и миром книг,—

знаю и все же боюсь. Может быть, дело не в нем, а в чем-то еще. Почему я боюсь?

Мы не в состоянии утешить всех, кого хотели бы: мы просто не успеем в наши двадцать четыре часа в сутки. Мог быть рассказ о том, как человек прошлого века, точнее, *человек литературы прошлого века*, оказался в наших днях и, разумеется, откликался по чуткости своей на всякую болезнь всякого близкого или хорошо знакомого человека. Он был искренен в своем чувстве. Он выражался в нем. И свелось к тому, что он только ездил и ездил по больницам днем и ночью; он даже и ел, и спал сидя, так как времени он имел мало, а страждущих много. В сущности, он беспрерывно сидел на жестком стуле напротив того или иного больного. Затем опять ехал в больницу. И опять сидел напротив — слушая или утешая. И так прошла его жизнь.

Сохраняясь в главном и своем, Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, возможно, приспосабливались к жизни в мелочах, притирались; они менялись.

Вот, скажем, птицы — и среди них, для условности, некий дрозд-альфа,— распространяясь на восток, мало-помалу меняют оперенье, меняют чуть-чуть полет и повадки.

Распространялся тем временем дрозд и на запад; осваивая пространство за пространством и климат за климатом, он тоже чуть-чуть менялся — и тоже по-своему.

Но когда, передвигаясь по материкам (одни в одну сторону, другие в противоположную), и архипелагам, и по отдельным островам, этот вид птиц, эти дрозды-альфа опоясали земной шар, то в месте встречи, на той стороне Земли, они уже не узнавали друг друга: не вступали в контакт, не давали совместного потомства.

Хотя бы однажды Нина могла в свое время, во время их молодости, на какой-нибудь межвузовской конференции или на диспуте слышать, среди прочих, научного сотрудника Геннадия Павловича Хворостенкова.

К сорока с лишним годам внешний облик ее уже сложился окончательно: она худощава, чуть выше среднего



роста, с красивыми стройными ногами. Сейчас молодые девушки такого типа стали нарасхват, в наши двадцать пять они казались слишком длинными.

Возле дома — где ее общественная жилка не тронута, не пробужена,— Нинель Николаевна любит подолгу смотреть на детей, любит погладить по головке девочку или мальчика из соседнего подъезда. Но сердце от волнения у нее начинает стучать, в голове стучит, в ушах: она боится привязаться. И *после* — рвать себе душу. Как любить, если в этом случае узнавание себя — лишь способ, путь мучений? Так что, погладив, она скоро отводит руку от белой или русой головки, пронзенная не пришедшей пока любовью и знакомым страхом.

(Когда моложавый начальник несправедливо накричал, Нинель Николаевна едва сдержалась, чтобы не дать ему пощечину. Но сдержалась. Она немалое число раз — пять — била подлецов в молодости.

Двоих она помнила, остальных уже не помнила — за что.)

Не сразу же на ту ночную встречу под тремя тополями пришел разведчик, измотавшийся и издерганный жизнью среди чужих. Так что в фильме мог быть эпизод более ранний: разведчик только-только пробирается к месту встречи.

Он идет по крышам. Ночь. Луна. Сапоги на его ногах тяжелы, и по черепице надо ступать тише: не греметь. Крыша следующего дома оказывается выше той, по которой он пробирается. Тогда разведчик подтягивается на руках; он довольно долго висит, руки напряжены, лицо искажено от усилия. Взобравшись, он быстро пересекает освещенное, светлое пространство крыши, пригибаясь и как бы ожидая выстрела в спину,— ах, луна, что ж делаешь ты, луна!.. Следующая крыша — ниже этой, после некоторого колебания он прыгает туда. Шум падения. И где-то неподалеку смех, голоса пьяненьких, все еще гуляющих людей: он прислушивается. (На миг он вспоминает лица врагов. Крепкий усатый сержант. Рядом два солдата. «Куда же он делся, ребята,— неужели спрятался в колодец канализации?» — и пока глупцы, руководимые сержантом, побежали к колодцу, он уже был на крыше дома.)

Вновь черепичная крыша. Но за крестами телеантенн

уже видны три тополя. Вот они: недалеко. Уже слышен шелест их листьев. Луна заливает пространство крыш. Он вынимает из кармана полурыбку, разглядывает ее. Полурыбка излучает серебристое сияние — это его спасение, оно уже близко.

Ей тоже нужно добраться к тем трем тополям.

Она в купе поезда. Ситуация достаточно нехороша: с ней в купе какие-то командированные (коммивояжеры или просто подвыпившие попутчики),— перемигиваясь меж собой, пошучивая, они то зовут молодую женщину в ресторан, то вроде бы шутливо или нечаянно тискают. Стучат колеса. Поезд мотается на стрелках. За окном — деревни, полустанки. Молодая женщина не может, ни закричать, ни позвать, так как в этот час по вагону могут проходить как раз те, кто ее ищет,— патруль. Но как быть?.. Пьяные попутчики тем временем наглеют: принимают ее молчание за неумение себя защитить. Или даже за доступность. Та еще дамочка! Небось сама не прочь — сейчас разберемся!.. Дверь купе заперта. Они хватают ее за плечи. «Прошу вас... Ради бога. Ради бога!» — шепчет она, но ведь только шепчет, а не кричит; и они, пьяные, понимают, что она не кричит. Один берет у нее из рук сумочку, но сумочку с лежащей там полурыбкой, с надеждой своей и спасением, она отдать никак не может и тянет обратно,— пока же она борется за сумочку, другой, подгибая ей силой то одну, то другую ногу, ловко разул, снял ее туфли; третий, смущенно хихикая, расстегивает ей юбку. Она умоляет, шепчет, но выхода нет. Тогда, в тесноте купе, она выхватывает небольшой пистолет и отпрыгивает к зеркалу: те отшатываются — они ошеломлены. Воспользовавшись секундой их растерянности, она открывает дверь купе и выбегает в проход вагона. Там — никого... Руки ее дрожат. Голова кружится. Начинает мучить тошнота, подкатывая вдруг к горлу. Спазм. Еще спазм. Она выбрасывает пистолет за окно... Затем, сдерживая рыдания, в наспех поправленной юбке и с сумочкой в руках, в чулках, без туфель входит в купе проводницы. Садится там. Ее бьет дрожь. Проводница (пожилая женщина) первую долгую минуту смотрит на нее подозрительно. А затем придвигает ей стакан с чаем:

— Успокойся...

Геннадий Павлович как-то сказал, что жизнь челове-

ческую не обязательно проецировать на высокородный миф об Одиссее-Улиссе, ее можно проецировать на что угодно, на любой сюжет. Проецирование — это соотнесение. И сущностное родство. (И одновременно — комментарий со стороны.)

Так что можно проецировать человеческие отношения, скажем, на киноленту со шпионами и разведчиками — почему же нет?

Он промолчал; он не сказал, что и в сущностном родстве подобное соответствие не бывает вровень; оно понижает. (Скажем, Геннадий Павлович в эпизоде с наглым и чуждым ему Даевым, а затем с не менее чуждым Олжусом — это что? — это ли тот момент, когда пробирающийся разведчик среди врагов и, скажем, бежит по крышам, отстреливаясь?)

На юге Нинель Николаевна ни с кем не знакомится, разве что заведет разговор с какой-нибудь старой дамой, видавшей виды. Но именно в эти дни без людей Нинель Николаевна и лучше одевается, и лучше выглядит, так как тут задействована душа, и к этой духовной связке, к югу и отпуску, собираются в одно все ее внутренние силы.

В последние годы она ездит больше в Пятигорск, потому что море, и пески, и волшебство пустых утренних пляжей, как ни любила она их, подчеркивают (для себя самой — не для людей) подступившее увядание тела; да и жара не полезна.

Пятигорск и Кисловодск — это было то самое. Потише. Потоньше. Поизящнее. Юг, но не одуряющий.

Сидя на скамейке и долго, в задумчивости глядя на отдаленный предгорьями двуглавый Эльбрус, Нинель Николаевна вдруг встрепенется. Словно бы ее окликнули по имени.

Уже десять или более лет Нинель Николаевна собирается зайти к некоей Верочке Рыжовой,— вышла за Рыжова еще студенткой, осталась же в памяти просто Верочкой, и приятно было бы зайти к ней, поговорить о молодости и почитать друг другу стихи, которые, казалось, и на смертной постели вспомнят. Но механизм

разрушения как раз в череде спокойных и вполне мирных дней — самых мирных. Казалось, приди Нинель Николаевна неожиданно и разбуди ночью Верочку строкой стиха, Верочка, хотя и поседевшая, постаревшая, встрепенется и тут же продолжит:

а современник Галилея был Галилея не глупее, или это:

что она реет, стонет, дурит и сигареткой в тумане горит, — и подхватит, продолжит, чувственно подрагивая от слова к слову и приближаясь к той грани, за которой уже музыка.

А двуглавый Эльбрус недвижен и прекрасен. Он как луна. И можно смотреть не отрываясь.

(В нас, в одиноких женщинах, всегда можно разглядеть злое. Как бы ни улыбнулась и как бы ни растрогала тебя одинокая женщина, в ней почувствуется недоброта — и это не промельки затаенных обид. Вроде бы хороший она человек, вроде бы и улыбается, но в чертах лица проступает что-то подмененное — верно?.. Так вот, Игорь, я объясню: это вовсе не зло в нас — это отсутствие любви. Это любовь уходит из нас, а то, что в нас осталось, *оставшееся*, люди принимают за мелочность и озленность. Кажется, что дом темный, а ведь он не темный, это в доме нет света — верно?

Геннадий Павлович вновь вспоминает когдатошнего своего знакомца, сейчас известного скульптора.

— Представляешь,— он праздновал получение премии в огромной своей мастерской в подвале дома: пятьсот квадратных метров! И всюду скульптуры стоят... Ты танцуешь с милой молодой женщиной, но, оказывается, она модель, притом прекрасная. Можешь даже ее отыскать.

Он улыбается, повторяет:

— Представляешь — танцуешь с ней, а изваяние рядом.

Ведь если не жена, он может поискать просто дружбу с женщиной, которая его иногда навещает, а?.. В отглаженных брюках, в белой накрахмаленной сорочке и только что без галстука Геннадий Павлович Голощеков полеживает на диване и перебирает состарившиеся задумки,

в которых он непременно выискивает сначала хорошую чистую столовую или кафе, но не ресторан, там в кафе стайка официанток, да, да, он разговорится, разглядит, заведет беседу с той, чистенькой и опрятной, что на раздаче блюд. Мысль о семье приходит подчас через известную холостяцкую лазейку. Он пожалуется ей на жизнь, он не станет корчить из себя ни вздыхателя с деньгами, ни развлекающегося пожилого мужчину, он ей, пожалуй, книгу подарит, вкус у нее, возможно, невысок, надо считаться, но современную и *про любовь* он все же сумеет ей подобрать. Да, да, о книгах для нее надо подумать — книги в последнее время он покупает и с оглядкой, и слишком снобистски. *Книги для той, что в белом халатике, всегда чистенькая, стоит на раздаче блюд*, иронизируя, Геннадий Павлович тем самым шлифует свои планы-грезы, быть может, отрабатывает и уточняет подробности — живой пересказ как прикидка. В пересказе человек особенно чуток.

Она будет, возможно, немножко грубовата, станет смущаться и неловко держать руки, да, да, станет смущаться и чувствовать себя в его квартире первое время неловко. Но Геннадий Павлович не будет спешить, ни торопить события: только приглашать ее, и приводить, и угощать сладким, раз, другой, третий, пока, засмеявшись, она однажды сама не станет к плите — дай-ка, мол, я!

Этот и психологический, и бытовой поворот к плите, от стола, где она гостья, к плите, где она хозяйка, а также то, как она усмехнется и скажет: дай-ка я сама! — казались ему необыкновенно правдивыми и, стало быть, вполне возможными в жизни. Когда же в действительности одну из молодых женщин случаем (она искала родню по устаревшему адресу — и каким-то образом дважды пришла и выпила у Геннадия Павловича чашку чая с конфетой; и оказалась официанткой?..) занесло в его холостяцкую квартиру, до поворота к плите дело не дошло. Оробев, он даже не пригласил ее в гости. Нет, нет, она ему не подходит — молодая.

След стайки так или не так, но тянулся, а вот Нинель Николаевна в его памяти не осталась.

Ни на один из путей, ведущих к явному самовыражению (к самоуничтожению, как в театральной драме),

она не ступит. Не хлопнет дверью, уходя. Не скажет эффектного последнего слова. И не совершит поступка, который, хотя бы частично, вдруг объяснил ее *нынешнюю*. Она постареет. Она просто потухнет, потускнеет, без особых в ту или иную сторону дерганий;

кутаясь в свою интеллигентность и щепетильность... и подчеркивая свою избирательность по отношению к людям...

Как-то у нее разбушевались два слесаря, долго возившиеся на кухне с краном, однако она так быстро и так четко поставила их на место. У нее резкий, повелительный голос. В голосе — гордость и металл.

— Я нагнала на них страху,— говорит Нинель Николаевна.

Но и сама чуточку дрожит. (Девочка из Поволжья.) Вспоминает те минуты — и чуточку дрожит, руками и телом.

— Но должна же была я нагнать на них страху.

...Буду в отчаянии, почувствую, что я прожила жизнь и что меня предали, унизили, и потянет забиться в темный угол, в самый темный угол, тихо, тихонечко там взвыть; конечно, негромко, для самой же себя — не для людей.

Вчера Нинель Николаевна отпиралась:

— Я не пыталась отравиться, уверяю тебя. Да ты с ума сошел — я и не думала! Разве бы я тебе не призналась?! Нет, нет, Игорь, я просто забыла довернуть кран на ночь глядя.

Иногда думаю — сумела бы, скажем, *современная* жена оживить, встряхнуть его?

(Скажем, Аня и я?)

Мог быть рассказ о том, что они не из тех, кто умеет добывать блага,— Геннадий Павлович и его жена. О том, что они, кажется, могут только терпеливо ждать — ждать, что в результате тех или иных общественных новаций от общего огромного пирога какие-то крошки упадут и к ним; и таких, как они, миллионы. Судьба и несудьба. Они, мол, из тех, кого так или иначе ждет на своем пути пора-

жение. Жизнь коротка. И если бы Геннадий Павлович оказался идеальным семьянином, оказался тем муравьем, что все тащит и тащит в дом, поражение было бы только заметнее.

Когда Нинель Николаевна всматривается в окна соседнего дома-башни, всего больше привлекают ее сюжеты семьи — празднество или ссора за столом; тощие мужчины и очень толстые женщины размахивают руками, курят, немо поют или немо, неслышно ссорятся, в то время как за стеной (в соседнем окне) их дочка, девочка лет тринадцати, трет глаза, но, вновь и вновь перемогая сон, заглядывает в учебник, читает и пишет, пишет и читает, будто это и впрямь сделает ее будущую жизнь счастливой.

Геннадий Павлович наслаждается природой по телевизору, когда на голубом экране, *если он исправен и работает*, показывают перелет птиц, и дорогу, и листья на ветру. Череда изб, церквушек и пейзажей. Сердце Геннадия Павловича бьется в такую минуту трепетными пульсирующими толчками, душа млеет. Сейчас он там — с теми птицами, с пылью той дороги, с листьями, на что они, телевизионщики, и рассчитывают, прекрасно зная, что Геннадий Павлович никуда и никогда не поедет и однажды помрет среди огромных зданий города, среди непрекращающейся суеты людей.

— Напрасно ты меня коришь.— В его голосе послышалась обида. (Ну, не хочет, не любит он никуда ездить!..)

Помолчав, он добавил:

— Я как раз из тех, кто в одиночестве не опустился,— ты же видишь, я опрятен, пристойно одет и как-никак слежу за собой.

В тот вечер, провожая меня к метро, он предложил сделать изрядный крюк и привел, конечно, умышленно к одному из тех, с кем он общался в золотую пору юности. Это и точно была холостяцкая квартира, запущенная, захламленная, вонючая и к тому же сильно прокопченная, так как хозяин частенько обогревался огнем газовых

горелок (радиаторы отопления у него не грели, а вызвать сантехника было все недосуг и лень, а заклеить к морозам окна — еще бо́льшая лень), копоть на потолке, копоть даже на стенах...

Он был тоже их выводка, ветеран шестидесятых,— там и тут много выступавший, бесконечно влюбленный в поэзию, в театр. Научный сотрудник, даже и автор нескольких интересных работ в прошлом, он с годами опустился (невосприимчивость к формам живого), пропахший, нестираный и, чуть что, агрессивный — а только так, мол, жить мне и нравится! а это, мол, лучше, чем делать шаги по службе! куда лучше, чем защищать диссертации! — заорал он, едва Геннадий Павлович завел обычный и вполне нейтральный разговор, притом заорал на меня, словно это я, только защитившийся, звал его на банкет.

Притом же и нездоров: судорожный кашель, воспаленные глаза — куда лучше так, лучше! лучше! — кричал он, чем устраивать, мол, внуков в математические школы и дарить директрисам тюльпаны...

Мы скоренько ушли.

— Пьет он? — спросил я.

— Нет. Не думаю. Разве что потихоньку...

И Геннадий Павлович рассказал, что однажды этот человек вдруг стал выть в своей квартире. Соседи чуть с ума не сошли. Затем стихло. Соседи стучали к нему долго и напрасно, взломали дверь — в квартире пусто, но, обойдя комнаты, обнаружили затем, что он спит в ванне. Совершенно голый, он уснул в ванне, в которой не было ни капли воды.

Однажды Геннадий Павлович, подняв телефонную трубку, чтобы уточнить время, попал на разговор: неизвестные собеседники не спешили, и меж их фразами тишина за мембраной словно бы переливалась от одного к другому. «От одиночества надо уметь избавляться»,— произнес голос. Другой голос, с некоторой иронией, спросил: «В театры ходить?» — «Театры очень прибавили. Театры *вновь* получшали»,— разговаривали люди, которых он понимал. И, конечно, одинокие. От волнения Геннадий Павлович кашлянул.

— Что? — спросил первый голос.

Геннадий Павлович затаил дыхание.

— Нас никто не слышит?

— Нет.

Разговор потек вновь, становясь чем далее, тем мечтательнее и наивнее: один голос советовал другому пойти в театр и познакомиться там с молодой провинциалкой (они как раз ходят в театры, как сойдет с поезда, уже смотрит афиши и топчется у касс),— познакомиться, а затем и переписка, заочная дружба, долгая, томящая, и, наконец, поездки к *ней* в провинцию, редкие, но насыщенные чувством. Да, да, именно впасть в затею, в эту дружбу и в эти письма, долгие, бездонные и чувственные, как сама провинция, заманивающая тебя и затягивающая. Да, увлечься...

— Наивные.

Геннадий Павлович (подумал?) неожиданно для самого себя сказал это в трубку. И испугался.

Но они не расслышали.

— Треск у тебя в аппарате...

— Да, шумит что-то.

Так что Геннадий Павлович даже и вклиниться не мог. Раздосадованный собственным порывом, он бросил трубку. И тут же пожалел. Ведь трогательно, больно, *близко*. Взяв трубку вновь, он крутил диск — он еще и еще крутил диск телефона, он даже и попадал на разговоры, но разговоры совсем другие, других людей, и диск все тарахтел и тарахтел попусту, словно напоминая, что в одну и ту же воду нельзя ступить дважды.

Геннадий Павлович объясняет, что если спроецировать его жизнь на телефонный разговор, то юность — та часть разговора, когда он их слышал, *время, когда он слышал людей*, пусть даже они меж собой говорили наивно. Не всякий опыт вмещаем. А затем как-то так случилось, что он упустил из рук телефонную трубку; люди продолжали говорить, но он уже не мог их услышать, как ни пытался начать заново и как ни крутил диск. Может быть, они все еще говорят — те люди.

Но более всего Геннадий Павлович — и тоже словно бы шутливо — любит проецировать свою жизнь на тот случай (по сути, случай-перекресток), когда однажды его выбросили из электрички молодые парни. То есть он вошел в электричку, сел, начал разглагольствовать и чем-то их

задел — это, так сказать, его говорливая юность. Но внезапно все кончилось: поговорил — и вот уже оказался на снегу, в сугробе. Ничего не случилось. Электричка-жизнь отправилась себе дальше, люди ехали, и люди все еще едут, а он остался там, в снегу, вместе с так быстро кончившейся юностью.

Он любит подчеркнуть оттенок:

— Жизнь вдруг ушла без меня, *все было так быстро!*

Когда после окончания вуза какого-то студента не взяли в аспирантуру, что было следствием интриг и было явной несправедливостью, Геннадий Павлович также отказался от аспирантуры, которую ему тогда предложили. Он блестяще учился.

Он едва не распределился в Кострому.

(*Панорама:* море, береговая линия.) Утомленная, издерганная неудачами молодая разведчица наняла яхту: еще есть надежда на встречу вдали от чужих ушей и глаз. Легкий ветер. Яхта, управляемая матросом, пересекает залив. Красивая женщина, разведчица, предполагает, что *он* также догадается нанять яхту и выйдет в море, откуда будет хорошо виден удаляющийся пляж с гомонящими чужими людьми, в то время как их яхты все более станут сближаться. Сначала они — она и он — лишь издали покажут друг другу свои полурыбки, и серебристые вещицы радостно сверкнут, как бы подмигивая с расстояния одна другой на солнце: это я! я!.. Яхты сближаются, красивая разведчица в нужную минуту кричит матросу: «Давайте подойдем к той яхте!» — «Зачем?» — «Какая чудесная и неожиданная встреча, представьте — на той яхте мой родной брат!..»

Но все это грезы. Яхта одиноко идет вдоль берега. Молодая женщина ждет полчаса, час. Ее красивое лицо опечалено. А вокруг солнце, играет море. Легкий ветерок, отблески, грубое лицо матроса, а вдали все тот же пляж с чужими людьми, которых надо опасаться.

— К берегу,— говорит она.

Только тут она сядет на поезд, который пересекает страну в восточном направлении. И в купе к ней при-

станут пьяные попутчики, после чего она босая выбежит в проход вагона, а затем постучит в купе проводницы. И та поймет ее, как женщина женщину, и даст чаю, даст спокойно поспать и на нужной станции ее разбудит.

Затем произойдет встреча-неузнавание возле трех тополей. Скамья. Луна сияет. И на пустынной ночной улице так тревожно стучат приближающиеся шаги.

Вчера Геннадий Павлович стал вдруг оправдываться в том, что он не сажает деревья возле дома и не предлагает интересные книги подросткам, бездельничающим во дворе. Теория малых дел невыносима. Сами же малые дела, как и взывания к доброте, тускнеют, мол, в наши скорые дни; они сродни милостыне, сродни благотворительности, и от добрых этих дел невыносимо несет ведомственной фальшью, даже если дела не фальшивы.

(Он боялся, что я его упрекну... Но в чем?)

Когда рассказываешь как бы о давно прошедшем, то есть в прошедшем времени, известная крутизна рассказа придает ему ближе к концу привкус завершенности жизни. Выведенный из бесконечности бытия, человек замыкается на бесконечность литературы — он словно бы и не человек, и конец рассказывания как конец жизни.

Когда человек здесь — его нет там.

Уже после золотой юности был период, когда у Геннадия Павловича возник своего рода небольшой, очень камерный клуб на дому (в возрасте тридцати лет, но и свои тридцать Геннадий Павлович не любит: он, мол, тогда *топтался на месте*). К нему приходили сотоварищи по юности, переставшие слыть знаменитостями и ищущие, куда бы себя приткнуть, хотя бы и в позднюю дружбу, хотя бы и просто в говорливые ночные бдения, лишь бы не ощущать вновь обязательности кем-то стать. Смена времени как смена шага. От встреч у него на дому все больше и все явственнее веяло запашком неудачников. Встречи казались бессобытийным фоном. Встречи укорачивались, тускнели. Затем прекратились. В юности, мол,

он, Геннадий Павлович, опережал свое время, сейчас явно отставал, а значит, в тот камерный период он шел, уже не обгоняя, но еще и не отставая: шел со скоростью самого времени — а что может быть скучнее времени самого по себе?

Некоторые срывались в пьянство — этакие легкие поначалу, звонкие мостки меж юностью и старением. Эти мостки надо проходить скоро и ни в коем случае не оглядываясь, не видя бездны, что под ногами. Оглядываться можно, когда уже за сорок.

Геннадий Павлович дома вальяжен, в отглаженных брюках, рассуждает.

Если вслушаться и если вникать придирчиво, слова его от повторяемости как бы бесцветны, пусты.

Однако это не пустословие. Не просто говорливость, когда к нему раз в полгода зашел человек. Это тихий, но от тихости еще более отчаянный призыв к кому бы то ни было, зов, клик освободить его от неведомого заклятья, от ворожбы, приковавшей его после ослепительной юности к судьбе одиночки.

Как-то спросил, не начал ли Геннадий Павлович вести какие-либо записи, заметки.

Он ответил: нет. (Оживут единицы, а сколькие замерзли.)

Воинственная Нинель Николаевна предложила как-то в случайном разговоре свой кинообраз — тоже, впрочем, уловимый. Время — средневековье. Ночь после битвы. Ночь лишь для пущей образности: ночь придает колорит холмам, полянам да и самому блужданью раненых по этим темным холмам и полянам; блужданье отставших и уцелевших; ищут своих. Едва намечается утро. Утро какого-нибудь 1128 года.

Зари еще нет. Опустевшее поле. Появляются два дружинника. Потом еще один. Потерявшиеся после поражения, они кое-как сошлись на холме. Развели костер. Но еще не успели к ним подойти другие, как они у первого же общего костра ссорятся... Они начинают выяснять. Ты, мол, в сражении копье потерял. А ты вообще слишком прятал за щит свое красивое лицо. (О незабвенный Чичиусов-Чимиусов!) А ты, мол,

робел. А ты знамя выронил. И так далее. Взаимные упреки переходят в брань. В довершение они кричат, что из-за тебя, мол, и проиграли. Плюют друг на друга. И в гневе расходятся. Этот — туда. Другой — туда. А третий — и вовсе куда-то. Ищут своих, ночь; зари еще нет.

Как хорош, и как человечен, и, возможно, как пошл был бы рассказ, где Геннадий Павлович приходил бы к нам в семью ужинать раз в неделю, скажем, по воскресеньям или по субботам, когда и Аня может посидеть с нами за чаем допоздна.

Мы бы ужинали и говорили.

Однако у Геннадия Павловича нет ни малейшей тяги бывать в семье, в чьей бы то ни было.

Ему думается, что если он привяжется к какой-то семье, это уже пахнет финалом, концом, пахнет развязкой и судьбой приживальщика, и он не дает своему сердцу никуда приткнуться, прижиться, быть может даже и зная, что сердце мягкое и что оно тут же войдет, вживется в приживальческую роль. Он пошутил однажды, что хочет как можно дольше остаться в предпоследнем акте своей драмы. Более того, сделать предпоследний акт последним.

А может быть, он ничего такого не хочет, и все это домыслы, а, в сущности, его жизнь — это его жизнь. Он сам по себе, без возможности что-либо менять. А мы с Аней сами по себе. И никто ничего не хочет, не может.

Мог быть такой вот *нерассказ*.

И такой вот *неразговор*, когда Нинель Николаевна замыкается в себе. Сидит рядом, но ее нет.

Я пробую понять, достучаться. Произношу слова, которые век за веком излучают все еще свет, даже надежду.

Спрашиваю:

— Обидно было?

— Да.

Голоса наши звучат ровно, на одной ноте.

Титры в конце фильма, где уже завершились судьбы тех, киношных разведчиков, которые так и не нашли, не

узнали друг друга, а их полурыбки от времени напрочь стерлись и стали похожи на огрызки карандашей. (Посеребрение сошло — есть темный, тусклый предмет, обломок, который непонятно зачем удерживается еще в кармане.)

Разведчик и разведчица — порознь — постарели и живут, не смирившиеся и в то же время смирившиеся с окружением иных людей. Их не интересуют речи премьеров. Их уже не интересует политика. Они просто живут. Они стоят в очереди. Они покупают кефир, хлеб.

Сильно постаревшая Нинель Николаевна приезжает однажды летом в свой Пятигорск; вот она ходит по парку или вокруг Машука, вспоминая былые годы и смаргивая слезы в счет ушедшей, утекшей жизни. Солнце мягко. Прогулка прекрасна. День удался. Нинель Николаевна возвращается к нарзанному источнику, подставляет свой стакан, и в стакан сочится целебная вода — и это, допустим, капают некие слезы, *слезы неузнавания...* и как раз тут шаги. Кто-то приближается к источнику с другой стороны. (Геннадий Павлович, как известно, в отпуск никуда не ездит, но вдруг же и его однажды угораздит.) И вот они оба — старики, и я их вижу: поблекшие, седенькие, сильно сдавшие, подходят к нарзанной галерее в общей толпе, но с разных сторон. Подошли. Они в шаге друг от друга.

Им будет, скажем, тогда уже под семьдесят.

Далее психология: беспокоит что-то Нинель Николаевну, *что-то* неясное беспокоит ее, и, хотя ждать ей у источника нечего и некого, Нинель Николаевна почему-то ждет. Пьет медленно. Наконец уходит в задумчивости. Тут же (почти одновременно, но все-таки полуминутой спустя) у нарзанного источника стоит Геннадий Павлович (белоголовый, старый, щурящийся), который конечно же лечится без охоты и к источнику ходит редко, лишь иногда и, как он сам говорит, исключительно *из ройного чувства.* («То бишь из стадного?»— «Из ройного!» — настаивает на своем и даже сердится старенький Геннадий Павлович. Рой для него — на старости лет — слово уже совершенно возвышенное, почти святое; пчела мудра; архитектура сотовых перегородок безукоризненна.) Он приходит пить нарзан, только чтобы побыть, потолкаться с людьми или когда уж совсем скучно. Он сохранил ум. Ничуть

не верящий в исцеление от своих стариковских болезней, он, вероятно, приведен сюда соседом по санаторской комнате, напарником, тоже седеньким, беленьким старичком, однако полным энтузиазма и веры в лечение водами.

Геннадий Павлович постоял, выпил теплой отвратной водицы, поморщился и неожиданно тоже ощутил, что его *что-то* беспокоит и смущает — но что? — уж едва ли та старушонка, что только что отошла от источника, разумеется, не она, но ведь что-то же его беспокоит, томит, и он вновь подумал — что? — и еще раз поморщился, вспомнив вкус теплой воды. С тоской и с некоторым даже омерзением оглянулся Геннадий Павлович на своего сотоварища, на беленького старичка (который нарзан боготворил, но также ценил и целебный серный источник). Тот медленно, благоговейно подносил наполненный стакан ко рту. Старичок как старичок. И вновь Геннадий Павлович отметил свое смутное беспокойство, да что ж это в самом деле?

Оглядев незнакомые лица, тоскуя, он ушел.

Можно представить себе этакую сентиментальную неоднократность их встреч. Скажем, три или четыре раза, подходя случайно к источнику в один час, он и она не узнавали друг друга в лицо и испытывали оба неясное смущение духа. Этакие качели в течение всего сезона: он подошел — но она уже ушла; она подошла — он ушел.

Глава седьмая

Прочитав на жэковском щите объявление, Нинель Николаевна стала было ходить в только что организовавшуюся группу здоровья, где познакомилась с местным йогом и его системой. Она хотела занять себя, может быть, увлечься, но приобщение не давалось, а причудливую гимнастику она делала слишком яростно, жестко, словно и тут мучилась укорами совести, так что кроткий йог беспрестанно советовал ей себя и свои порывы сдерживать. Скоро медитативная расслабленность ей прискучила, руки затосковали по спицам. Она перестала туда ходить. В сущности, моду не приобрели, моду позволили. Тем более что зал посещала в основном молодежь, и Нинель Николаевна с каждым разом видела отраженное

в чужих, в холодных глазах, как ей казалось, увядающее свое тело. Кажется, что молодые глаза, пробегая по залу, стараются на тебя не наткнуться, увядание подчеркивалось, как-никак скоро пятьдесят, Игорь, сорок с лишним, и не говори, пожалуйста, что для женщины это самый расцвет.

У них на работе одна женщина, старший научный сотрудник, принесла однажды своего попугая — показать, порадовать. И правда, всем уставшим к концу дня сослуживцам замечательный попугай советовал:

— Дерррр-жи спину пр-ррррямо!

Хозяйка же называла его ласково: «Ромаша, птичка моя!..» — что всех умиляло. Когда же она, старший научный сотрудник, к примеру, хохотала, смеялась, маленький ее попугай начинал волноваться: он подлетал совсем близко и заглядывал ей в рот, вероятно не понимая и доискиваясь причины столь своеобразных звуков смеха,— он зависал в воздухе над ее смеющимся ртом, бил крылышками и смотрел, смотрел. А дома, рассказывала старший научный сотрудник, попугайчик моется в обычной струе воды из-под крана, подставляя то крыло, то тельце, то голову,— а в обед, представьте, подлетев к столу, он вдруг садится на самый кончик вилки к хозяйке или ее мужу и, легкий, крошечный, покачиваясь на вилке, говорит им:

— Р-рррромаша... птичка моя.

С ней, как, впрочем, и с другими женщинами и мужчинами отдела, Нинель Николаевна была в известных натянутых отношениях, а жаль — хотелось к ней подойти, поинтересоваться, как попугая можно достать, где и за какую цену. Впрочем, Игорь, я буду бояться, что птичка вылетит в фортку, они же гибнут на воле, это известно...

Казалось, исчез навсегда, однако по весне Геннадий Павлович, возвращаясь как-то с работы, вновь увидел своего кота, выскочившего из подвала дома, что напротив. (Глаза у Вовы изжелта-янтарные. Теперь это могучий красавец кот с броскими мужскими достоинствами.) Там, на солнечной стороне дома, на молодой весенней траве сидели кошки, выгибали спины коты. Вова полинял, но был крепок, глаза его горели неукротимо.

— Вова,— позвал Геннадий Павлович.

И черный кот с белым галстушком оглянулся — а-а, это ты, хозяин, нет, нет, нет, сейчас мне некогда: весна!..

В молодости Геннадий Павлович дал какому-то негодяю по физиономии, что также вошло в легенды тех лет,— он сделал это достойно, притом нимало не думая о возможных неприятных последствиях. Сейчас суть случившегося почти забылась, означая тем самым, конечно, не его забывчивость, а просто избыток таких или иных событий и поступков — известную наполненность той поры. Тем более в отношении интеллектуальных отступников он держался на высоте, и *ведь это было, было, я умел это, Игорь,* и почему же я так сник после, почему сник и поверил, что произносимые мной высокие слова — это только говорливость. А ведь слова — это *слова*! даже если их осмеивают и стараются принизить, это *слова*! — (весна действует) — Геннадий Павлович начинает восклицать, глаза его горят и делаются неукротимыми, как у Вовы. Но лишь на миг.

Есть в детстве плоский овражек, и в овражке — неторопливая речушка-ручей, с красноватыми, ржавыми валунами, полуспрятанными под водой. И телега, запряженная парой, которой правила женщина, так и не оглянувшаяся. Пересекая речку, женщина раз и другой хлестанула лошадей перед подъемом — лошади наподдали и дружно, не теряя скорости, а даже и наращивая, лихо вынесли на пригорок. Затем лошади и телега, и с ними женщина, державшая в левой вожжи, а в правой короткий кнут, скрылась из виду. А когда пыль рассеялась, я увидел, что в речушке лежит мужчина. Он и раньше там лежал, но я его не видел.

Побитый в драке, он почему-то ушел далеко, переходил речку, упал и ударился затылком о гладкие красноватые камни; он так и остался лежать в воде, раскинув ноги в хромовых, тонкой кожи, сапогах. Когда я, городской мальчик семи лет, подошел ближе, он постанывал, просил пить. Он лежал затылком в воде, лицо было наружу, так что вода обтекала его лицо с двух сторон, несильно и негромко журча. Вероятно, через боль и смутное сознание он ток воды слышал и, лежа в речке, просил: «Пить... Пить... Пить...» — я (помню) подошел ближе.

Мое детство навязчиво, но ведь навязчиво и все другое. (Однажды, вдруг посуровев, Нина ответила мне, что есть только юность и что ей согласиться с чьим-либо детством — значит себя уступить или приуменьшить.)

Не поступаясь детством, не предлагая его в обмен, я все же жалею, что у меня не было юности.

Был некто Л. среди однокурсников Геннадия Павловича; как и многие вокруг, Л. тоже был *опрокинут в юность*, однако в юность не боевую, не воинственную и не реформаторскую, а в юность как бы весьма старомодную и, в сущности, сводящуюся к любви. Настя или, может быть, Надя, первая, пламенная, студенческая любовь Л., на третьем, что ли, курсе заболела, учиться не смогла и уехала, вернулась к себе в провинцию, где и умерла. А Л. остался. Этот Л. продолжал говорить о ней и, бесконечно рассуждающий о любви к умершей, о нетленной ее памяти, казался в те времена карикатурой. «Мы не всё понимали тогда,— рассказывал Геннадий Павлович.— Огромность смерти казалась особенно неуместной».

Дома Нинель Николаевна иногда подходит к шкафу и как бы рассеянно вынимает оттуда свой девичий портрет, фото, где ей семнадцать лет, в округленной, овальной рамке. Она может долго и без всяких таких размышлений или слов держать портретик в руках: с провинциальной фотографии на нее смотрят боевые, несколько вызывающие серо-голубые глаза, к которым подходят и хорошо скрепленные губы. Но боевитости наперекор лицо окаймлено неожиданно безмятежными и совсем светлыми детскими локонами. И ясно, что это лицо — личико совсем маленькой девочки, с гладкой кожей и детским цельным прочерком рта, с локонами, за которыми далее, как продолжение в охвате пространства, овальная и тоже светлая резная рамка под старину. Нинель Николаевна утверждает, что ничего особенного при созерцании фотографии она не испытывает: только смотрит. Тут есть чувственная пауза. (Нереализуемый переброс чувства из одного возраста в другой.) Но что-то она усваивает таким молчанием — саму себя? Иногда юное лицо ее пугает, потому что на этом вот, с ладонь, пространстве фотографии ей слышатся вдруг, как она уверяет, стуки маленького, напористого сердчишка,

но, в сущности, робкого: да, да, боевитого сердца, но за боевитостью которого уже и тогда не прослушивалось чего-то особенного, кроме обычной мольбы недолго, невечно длящейся человеческой жизни.

Над дверью квартиры Нинель Николаевны (чуть левее, если смотреть от лифта) есть этакое небольшое пятно, желтоватое и похожее по форме на карту Австралии: след давних ремонтных работ. Но оказалось, что такой же след есть этажом выше. И, выскочив однажды вечером из лифта на том этаже, я мельком увидел желтую, привычную мне Австралию, нажал звонок, стандартный и также привычный, и вот на пороге за открывшейся дверью стояли два старых, незнакомых мне человека, старик и старушка, а Нинель Николаевны не было. Умерла. Во мне замерло, а затем екнуло с совершенно непредвиденной болезненной силой: я не был у Нины год или около. А старик и старушка на тихие мои расспросы, *у меня упал голос,* отвечали, что ничего о жилице, которая здесь жила до них, не знают, нет, никакой Нинели Николаевны не знают, полтора года как въехали. Они говорили, а я все еще был пристукнутый и непонимающий: разумеется, где год, там и полтора, кто и как считает — быть может, я у нее не был уж больше года?! Словом, я тупо стоял у порога и не пытался переступить, а они, старик и старушка, стояли по ту сторону порога и, в общем, тоже не приглашали войти, а только вежливо и даже чуть опасливо объясняли, что не знали и не знают они никакой жилицы. Минуты три или, может быть, пять минут Нина была для меня мертвой. И только после я перевел глаза на номер их квартиры, на тусклый кругляк с цифрами.

Конечно, я знаю, что Нинель Николаевна следит за собой, и что она всегда худощава, стройна, и что она как бы не стареющая в своей полустарости. Но существует некое второе зрение, не вполне данное мне, и, быть может, тем, вторым зрением видно, что она сдает, что тело ее худеет слишком.

— Что ты меня разглядываешь? — говорит Нина и легким движением руки как бы отряхивает с плеч прилипшие там несуществующие пылинки. И плечи становятся еще изящнее — и будто навсегда изящны! Она



улыбается. И я успокаиваю себя: ведь ничем не больна; и ведь в форме! — в сущности, она законсервирована, а такие живут и живут. Но что-то во мне опять пугающе екает, как в ту минуту, когда дверь открылась и на пороге, по ту его сторону, оказались старик и старушка. *вдвоем они, что ли, открывают свои засовы,* — они там стояли, двое, и недоуменно глядели. А сзади выглядывал мальчишка, вероятно, внук.

(Откроют мне однажды дверь — спросят: а кто вы? И я узнаю, что Нинели Николаевны больше нет. Я переспрошу, уточню — и мне обстоятельно ответят. И тогда я уйду. Я не закурю сразу на лестничной клетке, под желтоватым пятном на стене, чтобы не уподобляться кинокретину; я не выпью также сразу водки на ближайшем углу, у гастронома. Я просто буду идти, шагать — я выберусь на набережную Москвы-реки и буду долго-долго идти по набережной против течения, с тем чтобы вода уносила Нину куда-то мне за спину, все дальше и дальше.)

...Будет похоже на свободу. Я не буду в полгода раз приходить к ней, ни вздрагивать иногда ночью в страхе за незакрытый газ, ни покупать ей кофе, ни даже думать о ней. Труд быть, и труд не быть. Не буду больше представителем туповатых и практичных людей нашего времени, которые вытеснили ее из жизни (которые не дали ей настоящего и не дали будущего, оставив лишь прошлое в виде прекрасной юности, которая все дальше и дальше убегает за спину, как вода, если идешь вверх против течения по набережной). Перестану быть воплощением успешного контакта с жизнью. Перестану, подыгрывая ей, говорить иногда заведомо заземленно и перестану про деньги. Что еще? Не стану похваливать ее любимый театр «Современник» поры его расцвета (и так тяжело волочить его в контексте). И романы тех лет, возможно, упоминать не стану. И вообще — мир разомкнется и сомкнется как-то наново. Стану ли я беднее? или богаче?.. Стану ли на сколько-то несчастнее, когда пойму, что Нины нет, когда прорвется подспудная напряженность многих лет и когда я, пожалуй, банально раз и другой вытру слезы, хотя совсем не исключено *при всех таких мыслях*, что Нинель Николаевна меня переживет, и переживет намного, как это часто делают женщины против мужчин.

Нинель Николаевна не увидит того придуманного ею человека, который каким-то образом пригласил бы ее поговорить с нынешними молодыми, мол, так уместно сейчас рассказать о прошедшем времени. Под каким соусом? Да под любым: идеалы наши и мы. Мы и наши идеалы. В молодости, в их общей молодости пятидесятых — шестидесятых годов она входила в самую активную студенческую группу, занимавшуюся до поры пропагандой наиболее талантливых спектаклей, книг, фильмов — ах, так? ну и чудесно! ну вот и расскажите нашим молодым — время пришло, пусть сравнят! Кстати, так легко давшееся чувство освобожденности! Знаете, ничто так не полезно, как сравнение, очень-очень вас прошу, Нинель Николаевна. Да, да, мы назначим удобный для вас день. Да, да, можем заехать на машине. На метро?.. Пусть на метро. Как хотите и когда хотите.

Не представляю себе рассказа, в котором мы оба доживем до старости в обычном ее варианте, и много-много лет спустя (столько лет спустя, что и не дожить, не докарабкаться ни при каких чудесах медицины и самоограничениях) я прихожу сюда стариком, дверь мне открывает старушка Нина,— мы оба ахаем, и она, как в некие прощающие всё и всех времена, говорит: Игорь, мы никто и ничто, мы ничего не выразители, мы просто люди, мы обычные люди, и мы обычно доживаем свою жизнь, *старики в автобусах бывают сварливы и невыносимы*, но мы терпимы, мы, допустим, хорошие старики, садись к столу, продолжает Нина, мол, замечательно, что ты пришел, ты и я — мы же просто люди, и это так неожиданно хорошо, так чудесно. Как твои ноги, а как почки, спросит она, а я заговорю о ее, допустим, гастритном желудке и иногда ноющих суставах, *сейчас она этих разговоров не выносит*, на что она, улыбнувшись, заведет затем о погоде, *сейчас я этого не выношу*, да, да, потекут те самые, тихие и сумеречные, разговоры, общение, когда все-таки детство пересилило и зрелую нашу жизнь, и героическую юность, и все прочее, пересилило и на витке совместилось со старостью, совпало, сомкнулось, сближая самых разных людей — и друг с другом, и с надвигающейся вечностью покоя. Не может быть такого рассказа, не вижу его и не чувствую, хотя уже сейчас, кажется, готов я к расслабленному разговору двух стариков, *мне только научиться о погоде — в сущности, не так много*, но вот она-то не готова.

Не могло быть и такого рассказа, что она вышла замуж и что однажды я позвонил в дверь, а там, за порогом, их двое: Нинель Николаевна, а за ней или с ней рядом маячит некто седоволосый, и видно, что он уж здесь законный и свой. И что приглашают войти, проводят в комнаты, и что седоволосый мужчина, знакомясь, без особой охоты жмет мне руку, подозревая, хотя бы и вяло, хотя бы и с ленцой, что на этой самой тахте я когда-то пробовал заночевать, *ох уж эти старые друзья,* а все же я прохожу, сажусь за стол, и втроем мы тонко заплетаем наш разговор, веселеем, и седоволосый мужчина сам помалу вплетается, нельзя же быть невежливым, и нехорошо быть букой, и мы говорим, слово за слово добрея и подливая друг другу кофе, а то и винца.

Юмор бы тоже не выручил; в том смысле, что седоволосый ее мужчина оказался бы вовсе не интеллектуалом и не утонченным театралом, а, скажем, седым озорным мужиком (с юморком под простоту), так что, даже отчасти ревнуя, простил бы мне предполагаемый здесь хоть однажды ночлег: мол, конечно, не сладко, а все-таки этот Игорь Петрович — мужик свой, нормальный и из нашего, кажется, района.

— ...Я для тех ее старых знакомых, кто из нашего района, скидку делаю, ха-ха-ха-ха-ха. Люблю свой район. И живу здесь совсем неподалеку — *отсюда, между прочим, видно мое окно,* а Нину я так и увидел впервые, когда курил: люблю покурить на балконе...

— Может, покурим? — скажу я, еще более роднясь и сближаясь.

— С удовольствием. Но только, ха-ха-ха-ха-ха, на лестничной клетке — Нина не выносит дыма.

Не могло быть такого.

Он лежал в речушке лицом кверху, его ноги, в хромовых сапогах, были почти на сухом, а вот голова в воде — и было так, что вода, небольшая, но быстрая, обтекала, обегала с обеих сторон его лицо. Вроссыпь лежали поросшие красным мхом камни, просвечивающие сквозь воду; он просил: «Пить... Пить... Пить...» — а речушка почти равнодушно журчала, бежала своим путем.

Она и сейчас там бежит.

Геннадия Павловича пригласил вдруг на свою свадьбу толстенький сослуживец из смежного отдела Брагин, который был совсем забыт, но который когда-то, расплывчато давно ездил с Геннадием Павловичем в командировку. Теперь Борис Никитович Брагин женился заново: он женился, что называется, по любви, притом на совсем молоденькой женщине.

Брагин был сед, был он ровесник Геннадия Павловича — да и другие человек восемь или девять, приглашенные на торжество, были пятидесятилетние с лишним мужчины; и кто-то из них, из приглашенных, шутейно сказал Геннадию Павловичу, что тот выглядит свежее других и тоже мог бы жениться хоть завтра. Затем более грубо, после нескольких стопок водки, он повторил, тыча вилкой, что Геннадий Павлович совсем неплохо сохранился и похож на человека, прожившего жизнь в консервной банке рядом с вон той горбушей. Понравилось. Посмеялись. Все они были давно уж отцы и деды, с трех-, пяти- или десятилетними внуками, однако же бодрые, шумные и весьма молодящиеся деды, соленые, когда о женщинах и о водке, грубоватые, когда о делах, о политике, о машинах и гаражах. Геннадий Павлович интеллигентно отшутился, даже и удачно, остро́ отшутился — опять все посмеялись. Но и смех их, и оживление, и рискованные рассказцы вполушепот так или иначе оттенялись, сдерживались, становились скромнее от присутствия здесь молоденького и очаровательного существа с тонкой шейкой — жены Брагина.

Не только Геннадия Павловича, но и остальных старых барбосов задела за живое и взволновала совсем молоденькая женщина — то, как она смущалась, и как протягивала руку, знакомясь, и как вновь и вновь обносила вином шумливых своих гостей. Образ не шел из головы: такая она сразу оказалась *жена*, такая юная и одновременно понятная в своей скромной женственности, в назначенности именно что для домашней, для семейной любви.

Геннадий Павлович был потрясен.

Он, конечно, ничем себя не выдал; он в меру пил, поздравил, чинно преподнес приготовленный подарок, однако уж прошло несколько дней, прошла неделя и другая, а он думал все о том же: да, да, это чудо, и как хорошо, что он чудо увидел, и, вероятно, это какой-то особый женский тип — и конечно же подобный тип женщины

одинокому человеку и следовало бы искать и, обретя цель, при неудачах не падать духом. (Брагин вовсе не единичен, у целого ряда сверстников идут сейчас полосой вторые, а то и третьи свадьбы: разводятся, оставляют семью, женятся на молоденьких и именно на рубеже или чуть за рубежом пятидесяти лет...) Всякая избирательность еще более подчеркивает самоизоляцию, но пусть, пусть! Как все одинокие мужчины, Геннадий Павлович был склонен к теоретизированию отношений, так что теперь он не сомневался, что в поиске не следует ничем руководствоваться, кроме главного,— да, да, надо именно *типа* держаться: искать и пробовать удачу среди похожих на нее, на ту, что он видел и узнал, искать среди женщин, кто вот так же мил, кто вот так же открыт и ясен и кто уже с молодости — жена.

Робеющий и стесняющийся своего столь активного замысла (замысел казался ему слишком практичным), Геннадий Павлович тем не менее уже посматривал невольно по сторонам: высматривал в метро, на скамейках весенних скверов и даже в коридорах своего суетливого НИИ. Был май или июнь, что, в общем, способствовало высматриванию. Но и волновало излишне, отчего Геннадий Павлович забегал мыслью сильно вперед: он уже думал о том, как не станет ни в чем ее ограничивать, он не тупица; он будет с ней всюду ездить, покажет юг и красивые старинные северные города — он же взрослый, поживший человек, за ним опыт.

Одновременно и она, молодая, будет его воспитывать, учить этому дисгармоничному чувству современности, заземленному вкусу, мимолетностям, пестрой эстетике песенных ансамблей — его даже подхлестнуло: ах, как замечательно все это будет, если будет!.. А дети? Если мысль о молодой жене была ему теперь словно бы кем-то подсказана, была свежа и определенна, мысль о будущем ребенке оставалась глуха, умозрительна. Но ведь все — в свой срок, и Геннадий Павлович пока попросту подавил этот наметившийся вздох неготовности, вздох неотцовства, бесследности на земле.

Милых, юных и добрых так скоро разбирают в жены, что, по сути дела, их в природе нет, их отыскивают и хватают быстрыми, почти неуловимыми движениями. На днях в прозаической очереди, в гастрономе, прости, Игорь,

за сравнение, подошел я к цыплятам — куплю, мол. Мой глаз еще только скользнул по тележке с насыпанными, наваленными горой цыплятами, а опытная хозяйка — красномордая, плечистая, с торчащим пузом — уже хвать! хвать! хвать! — и трех цыплят выхватила; и с каждым ее хватаньем я только и успевал заметить, что надо было мне именно эту цыпку, или эту, или ту — молниеносный был выхват, притом выхват избирательный и как раз тех самых: лучших. Только-только посожалел, как еще одна втиснувшаяся хозяйка повторила вновь, уже дважды, свое хвать! хвать!.. — и вновь я, разумеется, увидел, что из остававшихся это были те самые, которых мне следовало поскорее брать... и, наконец, еще подошла хозяйка, и тоже хваткая, после чего я надолго остался стоять возле тележки, медленно ощупывая тушки, переворачивая их, притом недовольно ворча и неизвестно кому выговаривая, мол, разве это цыплята, и синие, и какие-то оттаявшие, и вообще вид не тот.

— ...У тебя, Игорь, нет ли знакомой? я хочу сказать — молодой?.. Бывает же так, что молодая девушка и совсем одна.

— Такой нет.

— А у жены — вдруг у нее на работе есть подруги?

Я объяснил довольно прямо: мол, моя жена, Геннадий Павлович, не захочет знакомить вас с молоденькой. Щепетильна.

— Ну да. Ну да. Я понял... Это даже справедливо,— смутившийся Геннадий Павлович тут же и признал, закивал.

Да, да, он понимает, он хорошо понимает, что молоденьких, если уж так захотелось жениться, надо находить самому и добиваться самому. Мало ли, Игорь, что выйдет,— а после придется твоей Ане это переживать, нести крест ответственности. И ведь у молодой девушки есть мать и отец — как им в глаза смотреть? Нет, нет, я хорошо это понимаю. Это же не цыплят выбирать.

Он нашел: она работала в одном из корпусов смежной организации — в многоэтажной коробке из пластика, стекла и бетона. Деликатный Геннадий Павлович уже старался попадаться молодой женщине на глаза, дальше

этого, однако, дело не шло. Он, правда, собирался пригласить ее в концерт музыки Новой венской школы, у него уж были два хороших билета, но он колебался: не покажется ли старомодно? и не станет ли с самого начала это ошибкой? (Билеты так и пропали.) С опасениями и не сразу решился он наконец на разговор. Да, молодая женщина была удивлена. Да, смутилась. Но она оказалась спокойной, вдумчивой, и Геннадий Павлович решил, что волненья волненьями, но, кажется, ему все-таки посчастливилось. Он даже успел помечтать. Сердце у него билось, и он запинался, когда с ней говорил. Он удачно и очень тонко, как ему казалось, ее высмотрел — сумел подойти, познакомиться.

Они сидели на скамье в сквере, и Геннадий Павлович рассказывал о себе неплохо (над собой же, старым, подсмеивался, шутил, чувствовал ее интерес), она согласилась и на вторую столь же исповедально-разговорную встречу, но во второй встрече — здесь же, на скамейке, в длящемся свидании — Геннадий Павлович раскрылся излишне и рассказал ей вдруг о свадьбе, куда пригласили его не столько участником, сколько статистом застолья, рассказал о молоденькой жене, об очаровании ее, а также о возникшем тогда же желании жениться. Раскрыв себя слишком, Геннадий Павлович ее испугал — неизвестно чем, но испугал. Ее тогда же что-то встревожило, хотя слушала она его участливо и понимающе переспрашивала. Глаза ее погрустнели. В конце свидания она уже молчала, как-то замкнувшись и сжав губки. Они побродили по аллеям, где-то поужинали, даже и с вином, но все как-то молча. В третий раз она не пришла — адреса же ее или телефона он не знал.

Геннадий Павлович ожидал, вновь выглядывал ее возле корпуса смежников и до, и после работы, но неудачно: вероятно, она его избегала. Он как-то сумел войти внутрь их огромного корпуса, надеясь на случай, но и там не встретил. Прошла неделя. Он не обманывал себя тем, что она ушла в отпуск или заболела. Он уже понял. Но однажды он все-таки увидел ее среди идущих с работы, увидел вдалеке — он прибавил тут же шагу и нагнал. Молодая, она шла быстро, была на виду, от него шагах в пятнадцати, не больше, но, когда он уже собирался с ней поравняться, вдруг свернула и вошла внутрь приземистого здания, оказавшегося бассейном ведомственной организации. Пришлось суетиться, спрашивать

у входа, что и как,— впрочем, за плату бассейн был в эти часы доступен всем желающим. С колотящимся сердцем, неизвестно на что надеясь, Геннадий Павлович купил в будочке первые попавшиеся, ужасающего вида, красные плавки, шапочку микроцефала, полотенце и, обрядившийся, кинулся в воду, чтобы добраться наконец до сектора «Д», где плавали. В воде (белотелый, давно не загоравший и застыдившийся вдруг своего возраста) он отыскал ее среди плавающих — приблизиться все же не решался. Бассейн парил. Геннадий Павлович почти сразу увидел их, ее с каким-то парнем. Через клочки тумана он то отплывал в сторону, то вновь медленно приближался к ним, словно бы по системе зигзагообразного подплывания, но неожиданно оказался совсем рядом и увидел, на расстоянии чуть больше вытянутой руки, что это не они. Да, ошибка. Правильнее сказать — *не она.* (Теперь облака испарений видеть не мешали. Та, за кем, торопясь, он шел следом, была лишь похожа на нее, так что и шел, и плыл он за некоей похожей миловидной женщиной: шел за *типом*?) Он вдруг устал. А бассейн все парил, вода в просветах была спокойно голубой. Для полноты недоставало только гор вдалеке. Впав в покой, Геннадий Павлович покачивался на протянутых поплавках. Затем он вяло проплыл туда и обратно, ожидая конца времени, отведенного для плавания группы, с какой он вошел в воду. Да, на скамейке он ее тогда напугал: слишком скоро заговорил он о женитьбе, и молодая женщина, конечно, удивилась, а от удивления до настороженности и испуга один лишь шаг. (Не заговори он о главном и продолжай простенько вести интеллигентные разговоры, а даже и слегка ловеласничая, он мог, пожалуй, удержать ее. Она бы сама, быть может, мало-помалу подумывала о замужестве, боясь, как все молоденькие, увлечься и быть обманутой. Ошибся. Да, теперь только рефлексировать...)

Геннадий Павлович подолгу стоял в те дни в очередях, чтобы купить те или иные продукты, не слишком ему нужные. Покупал одно, другое, хотя есть не хотелось: он просто жался к людям. Сделав покупки, он становился в очередь заново и покупал хлеб, про который, как оказалось, забыл: он все еще пребывал в своей неудаче, в той заслоненности пеленой пара, что поднимался облачко за облачком над гладью синеватого бассейна.

После бега по улице и того плаванья цифры давления, как он и ожидал, прыгнули и держались высоко

несколько дней. Сердце побаливало не пугающе, но неприятно. Груз лет ощущался к вечеру так, что Геннадий Павлович, придя с работы, сразу валился в постель. Он бы, пожалуй, побюллетенил, но не хотел одиночества.

На работе, в комнате с двумя молодыми хамами, для которых он был Дублон, отживший свое, казалось все-таки лучше, чем дома: казалось теплее.

Вечерами он, как всегда, читал; курил одну за одной — он стал много курить.

Признак: его перестала интересовать улица — вдруг возникающая толпа людей, или ссора, или просто упавший человек. Не интересовали чьи-то разговоры, и Геннадий Павлович морщился, оттого что в автобусе, скажем, разговоры (особенно рассуждения) приходилось невольно слышать. Геннадий Павлович лишился и любопытства, простенького даже любопытства, так что ни на громко вещающего старикана, ни на группку молодежи с музыкой он равно не поднимает глаз, не смотрит из окна автобуса, что везет его на работу. А в метро Геннадий Павлович всегда читает — сидя ли, стоя ли, лишь бы читать.

Но, как оказалось, именно в эту пору следом за подавленностью нарастали новая вспышка сил и новое, может быть, последнее желание Геннадия Павловича угнаться за своей молодостью. (Подспудно прикапливала силы все та же мысль о рое, о том, что в ройности счастье и что одинокость Геннадия Павловича Голощекова — это своеобразная расплата за неполную реализацию себя в юности. Они, мол, Хворостенковы, в то давнее время так или иначе оробели, недовоплотили себя, и жизнь им в отместку постаралась обойти их стороной. Мысль о рое обернулась мыслью о биологической расплате за юность в дни старения. Нам надо было не только говорить, но и договорить свое! — а мы, когда нас одергивали, когда подводили под разнос, деликатно отходили в сторонку... и замолкали надолго. А как сейчас кстати было бы вернуть из времени силу нашей молодости, волю, напор, смелость и даже *удар кулака*, ах, Игорь, какие мы были тогда интеллигенты.)

«Один старикан предлагает замуж».— «Да ну?» — «Я так удивилась!..» И вот она рассказывала подружке, столь

же юной, о том, как Геннадий Павлович сам же и напугал ее поспешностью своего желания и своего предложения создать семью. «Смотри: вдруг он не в полном порядке? Обычно эти старички совсем не спешат жениться. С виду он как?»— «Симпатичный».— «Не нужен он тебе...» — отговаривала ее какая-нибудь подружка, милая крошка, когда они шли к кафе-мороженое кушать пломбирные шарики.

Он словно бы опален был тем образом и обликом — *типом.* Почему эти милые, трогательные существа в текучей жизни незаметны и почему он, Геннадий Павлович, в повторяемости бытия видит их уже только в качестве жены? — да ведь тут обман, тут грандиозный обман, он теперь, пожалуй, всерьез станет думать, что милые эти существа где-то хорошо припрятаны и что их выкапывают из земли непосредственно перед свадьбой. Почему он не видит их в обычной жизни? где они?.. Он специально звонил Брагину тогда, после его свадьбы, и сначала о том, о сем, а затем, отвердев в слове, спрашивал впрямую:

— А как вы впервые познакомились?.. А где?

Или:

— А что первое ты ей сказал? первые слова — какие? (Опереточные расспросы старого холостяка — да, да! А прибавь, что и зван на свадьбу был лишь потому, что одинок и что такой непременно придет, тогда как прежние многочисленные друзья-приятели от Брагина временно отвернулись. Друзья просто-напросто хотели переждать время и не хотели ссориться с прежней и оставленной женой Брагина, с постаревшей подругой, которая столько лет зазывала их на Майские праздники, кормила, поила, делилась новостями и одалживала им и их женам деньги. Так что некого было звать — и не сидеть же *молодым* в ресторанном одиночестве!) «Смотри: вдруг твой дед не в полном порядке. Ни к чему он тебе...» — отговаривала и в конце концов отговорила ее какая-нибудь подружка, миловидная крошка, когда они шли в кафе кушать стылые пломбирные шарики, размазывая их ложечкой, и когда следом за ними тащились их юнцы с орущей магнитофонной коробкой через плечо.

В эти же дни Нинель Николаевна на улице столкнулась лицом к лицу с мужчиной, так что сначала оба они

отпрянули и глянули даже гневно, а затем разом улыбнулись, узнав: «Ну, здравствуй!» — «Здравствуй, Нина! Вот не чаял!.. А ведь я живу в двух шагах отсюда»,— тогда-то и случилась та неожиданная встреча, когда давний знакомец (бывший ее однокурсник!), мужчина лет сорока пяти, несколько сдавший от времени, но веселый и вполне еще держащийся, зазвал ее, шедшую с работы, к себе домой. Квартира была обычна, скромна, и Нинель Николаевна просто, без натуги у них посидела. А полная, кажется, чуть отекшая женщина, жена однокурсника, за Нинелью Николаевной ухаживала и говорила: «В айве много железа, как и в яблоке,— поешьте, это полезно»,— и так мило улыбалась, угощая.

А днями спустя, когда Нинель Николаевна шла по коридору, появившийся вдруг начальник (их моложавый начальник) остановил ее и упрекнул тем, что в рабочее время она не сидит на месте, он убежден, что сейчас, мол, она спешит по своим делам, если и вовсе не в магазин обуви. Это было несправедливо, обидно — это было даже смешно, но Нинель Николаевна не ответила. Снесла. Однако в конце рабочего дня неожиданно расплакалась.

Опыт говорил, что выговор — случайность, однако в боевитом сердце Нинели Николаевны уже поселилась известная в себе неуверенность. «Жаловаться высоким руководителям легко, и вы это умеете, а вот досидеть до положенного часа на работе вам трудно!» — в сердцах выговаривал ей начальник, возможно вдруг вспомнивший на фоне тусклых трудолюбивых лиц своего отдела красавицу Валю, навсегда исчезнувшую.

Нинель Николаевна шла по улице и плакала.

Но шла она по той же улице; обиженная и в слезах, вспомнив о добром слове и о чае с айвовым вареньем, она захотела вновь зайти — да, да, хоть на минуту, на две! — и зашла! Она даже взбежала по лестнице, так торопилась рассказать и быть понятой... На этот раз бывший ее однокурсник был дома один, жена и взрослая дочь куда-то уехали, их допоздна не будет — тем не менее он как бы сразу понял ее обиду и оскорбленность; понял, откликнулся, и сказал слова, и дал ей таблетку от головной боли. Заплакав с новой, уже с радостной силой, Нинель Николаевна взахлеб рассказывала, и кто же поймет ее лучше, да, да, постарели лица, поредели волосы, но это же мы, это мы, и времени вопреки толика некон-

чавшейся, непреходящей юности светилась в ее и в его глазах. Он дал ей таблетку от головной боли и принес воды, чтобы запить, уложил на тахту, ухаживал, отчего она, человек одинокий и к ласке не привыкший, еще больше расплакалась; и почти тут же, под ее слезы, он оказался рядом и как-то стремительно, умело и быстро добился ее близости, хоть она и успела его ударить. Вновь утешая, сбивчиво что-то говоря и дав ей еще минут пять полежать, поплакать, как ни в чем не бывало он принес ей еще таблетку от головной боли, еще воды. Нинель Николаевна встала, оттолкнула его руку и принесенную воду, быстро собралась. Она лишь на секунду оглянулась: глянула в его глаза, оттуда уже напрочь исчез тот горний свет и та толика юности, а взамен была лишь настороженная вороватость, беспокойство нечистых мыслей. Да улыбка. Она ушла молча. На улицу она вышла потрясенная, губы ее прыгали. Она вспомнила, что ведь пришла ему рассказать, пришла к нему с обидой на людей, куда меньшей, чем обида этих минут. Она шла по улице не видя. Осенний ветер сделался к вечеру порывист. Листья тащились, легко скребли по асфальту. Она шла по улице и ненавидела мужчин, всех, всех до единого; ей хотелось их заплевать, оскорблять их, бить, бить...

Геннадия Павловича теперь даже успокаивала и расслабляла обернувшаяся мысль о том, что кто-то женится по второму и по третьему разу, даст бог, и по четвертому, а ему, мол, не светит ни разу, и мстительный рой, воздавая, уже ничего не даст ему, не выделит, не отломит...

Бывший однокурсник, открывая ей дверь и проводя в комнату, сочувственно улыбался и с пониманием поддакивал, а в нужную минуту делал соответствующее гневное лицо — мол, начальники наши известные хамы! да разве не знаем мы, что они хамы и самодуры?! — и ей так хорошо, так тепло сделалось от обыкновенных сочувственных его слов, что она расплакалась, а после никак не кончающихся слез в глазах темнело, и голова кружилась — и как могла, могла ли она отказаться, когда он сказал: «Тебе сейчас надо полежать, Нинель... Обязатель-

но полежи. Вот и ложись»,— говорил ей бывший ее однокурсник, серьезный мужчина сорока пяти лет, солидный, с сильно поседевшими висками и с уже малознакомым от времени лицом, в чертах которого, однако, угадывалась, узнавалась и чуть-чуть отсвечивала былым светом их юность. «Не хотелось мне у вас плакать...» — «А поплачь. Поплачь, Нина... Жены нет, она бы, конечно, лучше тебе посочувствовала»,— мягко улыбался он, и Нинель Николаевна согласилась, в точности так подумав о его жене — мол, добрая. Но теперь она думала о том, что неужели эта полная, чуточку отекшая, добрая женщина не дает ему счастья, а если дает, чего ему не хватает и откуда это вот грубое, мужское, скотское, что не умеет, не может (хуже — не хочет!) себя сдерживать, если подворачивается маломальская возможность, отчего на поверку они уже не люди.

Она ничем не спровоцировала, ни на полмизинца, ни помыслом, ни глазами. Одета строго, и в речи собранна, и ей нет нужды в себе копаться, чтобы найти что-то *такое* и, найдя, себя же (как это сейчас модно) отчасти обвинить. Запах сухого цветения? Возраст? — что ж, разве возраст женщины не становится ее защитой и порукой, вот разве что доверилась, плакала от обиды, но ведь и дети плачут — и пусть даже она прижалась к нему на миг и плакала, куда ж ей деться, ведь человек, ведь в глазах его была та частичка теплящейся их юности... и ведь знал, знал про ее одинокость!

Нинель Николаевна перебирала весь калейдоскоп его мелких движений — да, открыл окно, чтобы ей было больше воздуха, затем метнулся к телефону, не вызвать ли «скорую»,— она, лежа на тахте, крикнула: «Не надо!.. Не надо «скорую»!»— неужели простые, прямые слова могли как-то его подтолкнуть? Он тогда вновь пошел к окну, открыл, отвел еще больше уже отведенные створки окна, а вот шторы призакрыл, возможно, уже тут замысел был, ну хоть не замысел, но полузамысел уже скользнул в его мыслях... да, да, он подходил к ней, и Нинель Николаевна заметила про шторы, но не поняла, а только подумала, что ж за походка у него стала нервная, пританцовывающая, или боится ступать громко, но я же не сплю!.. Лежа, она совсем расслабилась, она вяло думала и не думала, а он уже шел к ней походкой определенной и знающей и выжидающей свою минуту, уже, может быть, приготовился — *знал*, и тогда это еще



неблагороднее и подлее, чем если бы его вдруг, внезапно распалило соприкосновение с женским телом, когда он помогал ей расстегнуть блузку и рука наткнулась на ее грудь.

Увидев скамейку, она пошла к ней. Села. Мимо нее шли люди (вечер как вечер), Нинель Николаевна сидела, стиснув на какой-то миг виски руками.

— Вам плохо? — спросила ее, приостановившись, молодая женщина.

Нинель Николаевна покачала головой, нет, нет, ей не плохо — вечер как вечер. Молодая женщина ушла.

Нинель Николаевна уже не плакала. И не думала. Скоро она поднялась со скамьи и пошла улицей по тротуару, затем по набережной Москвы-реки, по пути к дому,— на одной из остановок она сможет сесть в троллейбус, если захочет. Солнце садилось, но было не красное, а белое, осеннее. Люди шли к метро. И, конечно, по пути домой она увидела изгиб дороги и нависшую скалу,— внизу журчала быстрая горная река; в белом жарком зное навстречу Нинели Николаевне шел по тропе человек — молодой офицер прошлых войн, в эполетах; быть может, молодой человек не был красивым, но достойный, честный и с приятным легким металлом в голосе.

— Не плачьте, милая женщина,— сказал он.— Не надо плакать. Я вас прошу.

Она кивнула. Приблизившись, он предложил ей руку — он хотел ее проводить. Теперь они вместе спускались по тропе; шли не спеша. Шаг у него уверенный, крепкий. Она улыбнулась; вокруг нее не было теперь ни одного обидчика, ни подлеца: их всех как бы унесло, сдуло ветром. Солнце так приятно грело. Ветерок чуть шевелил траву.

Она сказала:

— Солнце садится.

— Нет-нет, Нина. Не волнуйтесь... Вечер не будет холодным.

За своим рабочим столом, задвинутая в глубине комнаты в нишу, Нинель Николаевна трудится над сметами молча и от всех отделенно: с ней даже можно не

встречаться глазами. Но курцы и любители побалагурить помнят, что тишина обманчива и что их враг не дремлет.

Когда Нина уйдет на пенсию, они, вероятно, неделю или две будут на радостях пить и со слезами на глазах поздравлять друг друга с ее уходом.

Только уборщица здоровается с ней приветливо, и Нинель Николаевна дарит ей шоколад на праздники и под Новый год.

И когда спустя время Геннадий Павлович увидел девушку на улице среди бела дня, он оказался настолько растерян, что лишился слов: как бы в насмешку, когда он уже покончил с беспокоящими мыслями, когда сник и смирился с тем, что *такие бывают уже только в загсе*, а на улице и в метро таких милых существ нет, как раз теперь он ее увидел — и именно возле станции метро стояла она, не торопилась, никого, в общем, не ждала и даже, кажется, скучала, рассеянно играя ремешком своей кожаной сумочки. И мало людей вокруг... Геннадий Павлович, обезоруженный ее существованием, был не в состоянии сделать шаг в ее сторону, не мог мягко и просто спросить, который час... хотя бы голос ее услышать. Ну, пусть ответит она грубовато, пусть ответит скучно или отвернется с усмешкой — но разве можно бояться красоты? Минута давила на сердце. И тогда Геннадий Павлович отвернулся, ушел: он ушел, ничего не дожидаясь и не затевая. Сам все и закончил. (Ночью, засыпая, он некоторое время перебирал вяло и без всякой цели две-три остроты, подходящие для знакомства на улице, которые возникли только теперь и которые в былые времена могли, кажется, считаться удачными.)

Но на следующий день надвинулась зима, выпал первый снег,— и в это как раз утро, белое от снега, Геннадий Павлович увидел ее опять. Оказалось, что молодая женщина здесь не случайно и не одна: их было несколько. (Пять не то шесть лет назад закончившие вместе школу молодые женщины все еще не могли расстаться вполне и встречались теперь перед работой или после работы у станции метро: он увидел их и на другой день, и на третий.) Связанные легкими, беспечными дружескими отношениями, они, казалось, без конца смеялись. А Геннадий Павлович ненавязчиво ходил поодаль, курил, и ему было

достаточно их просто видеть. Он вполне удовлетворялся знанием их ежедневного счастливого состояния (узнаванием счастья?). Он ничем себя не обнаруживал, так как мало ли кто и кого ждет у метро в часы пик. Он приходил теперь чуть раньше и, лишь дождавшись и посмотрев на них, как они собираются и как смеются, шел на работу.

От этих, в сущности, простеньких совпадений с ними по времени Геннадий Павлович мало-помалу сделался иным — он наблюдал, он любовался, а иногда, хотя и робко, загадывал, переменится ли, и если переменится, то как, лицо той или этой, когда она будет не здесь, на пятачке у метро, а будет сидеть за столом в звании молодой жены. На воображаемой картинке (черно-белая и словно бы рисованная тонким пером — гравюра) за свадебным столом с ней рядом сидел мужчина, достойный ее, красивый, яркий, но ведь иногда как запасной вариант (психологическое баловство, шутка!) с ней рядом можно было посадить кого-то, похожего на Геннадия Павловича. Можно было на миг сойти с ума и думать, что стайка на этой станции метро вьется именно вокруг него, хотя молодые женщины, как он прекрасно понимал, вились друг возле друга и своих дел — но тем более Геннадий Павлович был благодарен случаю. Ему было хорошо. Ему и работалось лучше! Г. П. Голощеков, начсектора, вдруг затеял переделать справочные таблицы в масштабе всего НИИ. Г. П. Голощеков не только вгонял в пот своих двух молодых подчиненных, но и просил у начотдела Птышкова кого-то себе для пользы *общего* дела. Шла зима.

Приглядываясь, Геннадий Павлович постепенно научился читать их лица, чем озабочены, чем взволнованы. Он прислушивался к новостям, которыми обменивались молодые женщины, наблюдал, как поглощают мороженое и как одна из них уже покуривает, притом что учит, такая нехорошая, дает пробовать другой; отчего та кашляет и все они смеются. Чаще всего — о фильмах; как раз американский обсуждали они, когда та, покуривающая, даже прикурила у Геннадия Павловича, а даже и *стрельнула в другой раз сигарету* — несомненно, лицо его было им уже привычно, знакомо. В те дни Геннадий Павлович очень энергично вставал ото сна. Принимал душ, брился, надевал ежедневно белоснежную сорочку и, насвистывая, а то и напевая вполголоса, шел на работу,

думая вовсе не о работе, как и положено вдруг молодящемуся мужчине. Он уже особенно отметил себе ту, что хорошо и даже талантливо, вдохновенно рассказывала о фильмах: в шубке, в пушистой шапочке, с ямочками на порозовевших щеках, она удивительно счастливо смеялась. Пересказывая содержание, она столь бурно сопереживала, что, увлеченные, они тут же сговаривались идти вместе на расхваленный ею фильм, притом что она вскрикивала, что идет с ними, так как хотела бы смотреть еще и еще.

Пятнадцать — десять минут общения у метро — и вот молодые женщины разбегались, расходились по учреждениям, где предстояло день скучно или нескучно — кто знает?! — работать. Пути расходились, юные женщины следовали в различных направлениях, размахивая сумочками и немного уже торопясь. Попривыкнувший к ним Геннадий Павлович вполне мог последовать за одной из них, по пути осторожно ее окликнуть, заговорить, а если на обратном пути (их снежные тропки на этом же пятачке у метро иногда вновь пересекались, чтобы теперь разойтись в направлении дома и ночлега), то есть если на пути с работы домой, то он мог, окликнув, и познакомиться с ней, и как бы даже заботливо ее проводить.

Что он однажды и сделал. Он познакомился, он сумел не только сказать первое довольно робкое слово и заговорить с ней, но и разговориться, что оказалось в итоге для него несложным, а для нее достаточно приятным, так как было нескучно и провожающий — это все-таки провожающий, тем более что лицо его у метро ей уже примелькалось, было «своим». Геннадий Павлович не выбирал, а все же как-то нечаянно и само собой выбрал именно ту, что в шубке и в белой шапочке. Она так славно пересказывала фильмы, так славно улыбалась. Она — была! (Что все еще казалось невероятным.) Пожалуй, более других она подходила под тип милой, и доброй, и обаятельной, кстати сказать, не курила и от шуток заметно смущалась.

Познакомившись, он принялся ездить — провожать ее в Подмосковье, где она жила.

Кончилось плохо. Он съездил раза четыре, может быть, три — не больше. (Как раз в те дни он стал говорить о необходимости ответить за юность. Никто, мол, не оттеснил его, он сам дал себя оттеснить от жизни,

от роя: да, да, поэтому сам и должен нести груз отстраненности. Он говорил вдруг громко, нажимно, так что образная его речь из высокой становилась высокопарной. Он говорил, что тени не теряют контура. Он говорил, что представляет себе лица, тысячи и тысячи лиц,— размытые временем, канувшие в никуда, в вечность, в Лету лица тех хворостенковых, которые недоговорили свое. За них — не только за себя он теперь мучился.)

Возможно, он даже нравился той молоденькой женщине, что в шубке и в белой шапочке; ей нравились и отчасти льстили его солидность, внимательность и мягкая предупредительная речь, а также поседевшая и не лишенная известной красоты крупная голова. Он хорошо одевался. Он помолодел. Однако произошел сбой.

Для бодрости и для относительного, вполне скромного суперменства Геннадий Павлович стал носить с собой, в кармане пальто, стеклянную фляжку с дагестанским коньяком, чтобы глотком-другим придать свежую силу и запал разговору. После проводов, ночью, когда Геннадий Павлович с этой фляжкой в кармане уже возвращался домой, какие-то парни, сговорившись, выбросили его из электрички на полном ходу. Он был излишне говорлив, и, быть может, он сам дерзил и насмешничал, полез к ним, но, быть может, и парни были из той известной породы молодых волков, что смелы, и держатся стаей, и особенно же привязываются к одиноким. Что-то там произошло. Он уже не помнил, не хотел помнить. Есть такие двери, заклинивающиеся в электропоездах, и есть такие бедовые, волчьей закваски парни, которым ночью в пустой электричке лучше ничего не доказывать, не грозить и которые без труда умеют найти в вагоне заклинивающуюся дверь или даже заклинить ее на недолгое, нужное им время. Заклинили. Ударили по голове — подтащили к тамбуру и выбросили. Втроем или вчетвером.

Он был сильно разбит. С множественными переломами он долго лежал в больнице. А когда Геннадий Павлович вышел из огороженного мира светлых больничных палат, прошло время, и он даже не попытался к ней съездить хотя бы однажды, к той молоденькой женщине в шубке и в белой шапочке; и на выходе из метро, на пятачке, он также по пути на работу больше не выглядывал ее в стайке

юных женщин. Чувство окончилось, сошло на нет; после больницы он был тих и обычен, покорен самотечности жизни, которая как идет, так и идет. Он тотчас притих, как, возможно, притих и в молодые свои годы, когда на него вдруг прикрикнули.

Не случайно, при любви соотносить и сравнивать, Геннадий Павлович проецировал свою жизнь на тот ночной случай. Мол, выкинули, он уже был в снегу, а электричка ушла, помчалась дальше, и уже у них, у других, были дальше станция за станцией, была возбуждающая душу скорость, пейзажи и виды за окном. Он остался там, годы юности промелькнули так быстро.

Он долго полз по снегу, крича, теряя в отдельные минуты сознание, пока не наткнулся на старую бабку. Правильнее сказать, старая бабка на него наткнулась, подошла близко, охнула, означив ясную форму сострадания, после чего он, вдруг расслабившись, сказал себе: спи,— а охающая, причитающая бабка побежала к дороге; она подтащила сюда свои санки, в которых возила уголь, и с оханьем же положила человека на них, ноги его свисали — и так дотащила его, разбитого, до поселковой ближайшей больницы. Он был в полубессознательном состоянии. В больнице его сочли выпавшим из электрички по причине подпития: он и правда выпил в вагоне несколько глотков, а в грудном кармане пальто врачи приемного отделения обнаружили его фляжку. Он с ними не спорил. Он вообще не спорил и со всем происходящим смирился, как только пришел в себя.

Когда его выбросили из электрички, он едва не замерз: он рассказывал после, что долго лежал в снегу, и вокруг была ночь, был снег, и по ощущению холод и стужа просачивались в тело быстрыми тонкими струйками. Стужа была как вода, приостановилась где-то в области лопаток, обходила, обтекала спину, как препятствие, а затем сильно побежала справа и слева по не защищенным изнутри его костям, отчего он беспрерывно дрожал. Руки, когда он прикасался к своему телу, натыкались на посторонний твердый дрожащий предмет. С болью и стонами он первый раз повернулся тогда на бок. Прежде чем ползти, он все ощупывал поломанными руками свое дрожащее тело-предмет, словно убеждался: я или не я?

Уже стемнело, когда, ползущий, он увидел на белом снегу кота. Что-то в сознании Геннадия Павловича тогда сместилось: вроде бы в ту минуту был он не в Подмосковье, выброшенный из электрички, пронесшийся метров шесть по снегу лицом и руками вперед, а был — где жил. Он забыл, что он вдали от города, что лежит, замерзает в ночной тьме.

— Вова!.. Вова! — позвал он, как бы в трех шагах от своего дома, а чужой кот глянул, оранжево-огнисто стрельнул глазами.

Кот исчез.

— Вова-а!

Тут его крик и настиг (Вова спас?) шедшую по дороге, параллельной железнодорожной насыпи, старуху, которая сначала боялась в темноте, как он ни звал, подойти ближе, но затем подошла и заойкала, заохала, запричитала и побежала к своим санкам на дороге, в которых возила уголь.

В больнице его чинили и латали.

Операционный стол, после чего тяжкая и болезненная терапия, снова стол и снова терапия — это тянулось долго, бесконечно долго, немыслимо долго. Понять это возвращение боли было нельзя, он и не понимал. Измученный, он повторял, как повторяют заговор себе ночью, чтобы забыться: *бывает со всеми, спи... Бывает со всеми, спи...* В какой-то книге, плохонький переплет, сиреневая, с давним пятном на обложке,— в ней были слова о неизбежности смерти, но что они там означали и что за книга?..

Он появился на работе. Но, конечно, слушок о его беде просочился уже прежде. Во всяком случае, в коридорах и в курилке двое молодых людей, что в подчинении Г. П. Голощекова, уже пошучивали:

— Наш-то, Дублон, из электрички вывалился — и даже сам не знает как. Может быть, он ехал на крыше?

Это были вовсе не те два молодых нахала, так как те уже подросли, время шло, и однажды они в коридоре подошли к более перспективному начальнику, подошли, представились, переговорили, после чего и сбежали вскоре от Голощекова, а вместо них к нему определились за-

кончившие вуз два других молодых человека. Они были веселы, красивы, совсем молоды. Двое этих с теми двумя, сбежавшими, успели, впрочем, какое-то время пообщаться, побыть вместе, так что новенькие мигом усвоили, кто таков их начальник по прозвищу Дублон и как себя с ним держать.

Вернувшийся из больницы и погруженный в свое Геннадий Павлович как-то не сразу заметил, что двое молодых людей сменились. Геннадий Павлович даже несколько удивился, как это они *оба* так сильно переменились внешне, и подумал, не случилось ли в ряду прочих потерь чего-то с его зрением, чего не обнаружили врачи в больнице.

Геннадий Павлович вновь выглядел теперь человеком солидным, сдержанным, вполне спокойным, и трудно было поверить, что всего год назад каким-то ожесточившимся парням захотелось или даже показалось обязательным выбросить его из электрички. Он утверждал, что все забыл. Он и правда постарался стереть в памяти происшедшее. Но иногда среди разговора о том, о сем, о книгах, о погоде он вдруг странно вглядывался в меня и удивлял вкрадчиво-настороженной репликой или даже прямым неожиданным вопросом:

— А ты, Игорь, никого из тех парней не знал?.. из тех, что меня побили?

— Да бог с вами, Геннадий Павлович,— откуда?!

Тонуса ради, или, лучше сказать, боевитого настроения ради, или просто для красной, цветистой говорливости, *что в юности, Игорь, давалась сама собой*, ему нужны были в те дни два-три глотка спиртного; пить более двух глотков он не хотел, да и, как известно, побаивался, а носить с собой початую бутылку было, конечно, неинтеллигентно. Он купил тогда плоскую 200-граммовую фляжку дагестанского коньяка, которую и приспособил: она была удобна руке, компактна и, ничуть не болтаясь при шаге, крепко, туго входила во внутренний карман его пальто. Геннадий Павлович был доволен. В подмосковных провожаниях молодой женщины, что в шубке и в белой шапочке, приходилось преодолевать изрядные

расстояния, к тому же стояли морозцы, так что холод в выстуженных ночных вагонах на обратном пути как бы даже заставлял брать эту фляжку с собой. На фляжке была удобная и ловко навинчивающаяся пробка, которую можно было использовать как микростаканчик. Его и попросили: сказали, ладно, мы не слушаем твою заносчивую болтовню, дядя, ладно, ладно, мы прощаем, но дай-ка на две минуты твой стаканчик, чтобы нам тоже было удобнее выпить. И когда он сунул руку во внутренний карман пальто — его ударили.

Пересказывая подробности, Геннадий Павлович сначала мне лишь намекнул, а затем дал определенно понять — он, мол, еще и не сделал глотка, а они уже знали про существующую у него в кармане фляжку: мол, знали заранее и подстерегли минуту. Он предполагал, что, может быть, они уже в прошлый раз приметили, как он провожал молоденькую женщину и как, храбрясь, выпивал из фляжки,— и, может быть, им уже в прошлый раз захотелось проучить стареющего донжуана? Это реально. Но могло быть и другое — они не сами приметили, а кто-то. им про фляжку проболтался, *кто-то им сказал, а?* (Когда разбитый он полз по снегу и кричал, фляжка ползла с ним вместе в кармане пальто, а после фляжка ехала с ним в бабкиных санках для угля, после лежала с ним в приемном отделении больницы, где была обнаружена и, наконец, от него отделена.)

Говорил Геннадий Павлович первое время с трудом, но не шамкая и не шепелявя, что было удивительно, так как после удара в лицо два зуба у него повыпали сами собой, еще два обреченно шатались.

Геннадий Павлович уже шел тогда на поправку, охотно ел и, не желая обременять меня слишком, лишь изредка просил прикупить какие-нибудь фрукты к больничной пище. Помню: он брал принесенные мандарины и бананы, перекладывал их, штука за штукой, в безмерную больничную тумбочку, что возле кровати, и вдруг, на какой-то миг подняв глаза и пристально глянув, спросил: а не я ли, пусть случайно, проговорился *тем парням* о фляжке?.. «Что?» — «Нет-нет. Ничего»,— он спохватился, уже пожалел о том, что спросил. Вероятно, столь горькая мысль могла возникнуть в его сознании только в силу полного одиночества: в силу того, что он ни с кем, кроме меня, во время знакомства с молоденькой женщиной в шубке, да и вообще ни с кем кроме не общался.

Стараясь не дать ходу обиде, я сказал спокойно:

— Не знал я. Не мог я знать тех парней. О них и вообще о подмосковной молодой женщине я услышал от вас, Геннадий Павлович...

Он молчал.

— Я их в глаза никого не видел.

Он молчал.

Он так, вероятно, и остался если не с подозрением, то с тенью подозрения или хотя бы с тенью тени, но я не обижался, не оскорблялся, зная изломы его одинокой психики. Тем более что он был хотя и поправляющимся, но ведь больным. В сущности, не меня он подозревал и предъявлял счет не мне: он предъявлял счет окружающим и *людям вообще*, которые понимали его всегда неверно, неправильно. С самой юности.

Он ведь давным-давно молчал: он только читал книги. В глубине души он, вероятно, надеялся, что повзрослевшего и переставшего так много говорить, переставшего быть Хворостенковым люди (не бросят ему теперь упрека) никогда не окрикнут и, более того, непременно его полюбят,— молчаливого, мол, и умного, почему бы им меня теперь не полюбить, однако жизнь, Игорь, потекла иными путями: люди удалялись, уходили все дальше. Конечно, надеяться было глупо! — но ведь надо было это прожить, чтобы это узнать.

Ты ведь *их человек*, хотя и стараешься меня понять. Вы не плохие и не хорошие, не обвиняю я, Игорь, вы просто люди — вы живете своей жизнью, вот и все. Таких, как я, вы не выживаете, нет, нет, много чести, вы нас просто отодвигаете в какой-то дальний ящик, ваше, мол, время давно кончилось, другие теперь времена, и доживайте, мол, жизнь тихонько. Доживайте, мол, жизнь своими воспоминаниями и упавшими вам кой-какими крошками с общего стола — если же цепляются, пытаются ухватиться, то и по рукам, по рукам, по рукам, знай, мол, свое место и поваляйся-ка, мол, какое-то время побитый в снегу. Все правильно. Все верно.

Представь себе: совсем молодые парни, они волокли меня по проходу пустого ночного вагона — волокли прямехонько к тамбуру. А я цеплялся руками за гладкие и светлые спинки скамей. Они ведь сидели неподалеку,

я разглагольствовал, а они только стаканчик-пробку и попросили. И не помню, к какому слову пришлось. Я вообще думал, что так волокут только в кино (думал — ну, мол, статисты, и волокут они тоже своего брата актера, человека известного, волокут не больно и понарошке). Я помню глаза того, кто ударил и схватил меня за плечо первым. Я вообще удивительным образом хорошо запомнил их лица, решительные жесты и короткие крики, которыми они обменивались, согласовывая свои действия, *все было так быстро.*

ПОВЕСТЬ О СТАРОМ ПОСЕЛКЕ

Глава первая

А жизнь идет. И всё дела, и все важные. Ну, скажем, нужные,— оно как-то обязывает, если скажешь «нужные». И обязывает, и оправдывает. То вдруг жена, и что-то у нее там такое и личное, и надо как-то участие принять, потому что, оказывается несчастлива подруга жены. С которой жена когда-то училась вместе. И идешь и принимаешь участие.

А на это «участие» по времени взахлест уже наползает, как тень, муж сестры Анечки, который пьянствовал, и не в шутку. Он пьянствовал и мировые проблемы решал, а ты просто и тупо мучился, потому что сестра и потому что родная. В конце концов решился и сдал его на принудительное лечение, а он грозил: «Вернусь, Витька, убью. Так и запомни!..» И вернулся, и не убил, и даже как-то дружнее стали, но опять не слава богу. Что-то у него там в больнице обнаружили. Заодно. И вот теперь операция предстоит, и ведь тоже на тебе повисло. И никуда не денешься... И главное, что одно за одним. За год промелькнуло этак лиц пятьдесят. И это если считать лишь тех, кто крупным планом. И вдруг подкатывает холодок, и чувствуешь, что все они, в сущности, чужие. Или это они стали чужими оттого, что их пятьдесят. Уже и не разберешь, что первично. Вот именно. Весь мир, говорит, не трудно в душу вместить, ты, говорит, поди вмести моего соседа... Одно за одним. Ритм большого города. И иной раз оглянешься вот так на бегу, окинешь эту громаду домов, толпы людей и толпы собственных забот (это уж внутри себя!) — и вдруг вырвется:

— И как же это меня сюда занесло?

И ведь именно занесло, то есть само получилось. Ведь он, Ключарев, не очень-то и старался.

Приходит к нему, Ключареву, сосед — через два подъезда живут — и жалуется. Дескать, безобразие у них на лестничной клетке. Жильцы, говорит, как собаки. «Вот ме-

няться хочу».— «Куда?» — «Все равно, лишь бы от них подальше. Уже объявление на столбах повесил».— «Винца хочешь выпить?» — «Давай»,— и ведь бесконечный же идет разговор. И Ключарев даже сочувствует: да, дескать, бывает. И даже подскажет, что не на столбах надо, а в обменбюро. И про районы. И еще что-нибудь подобное, копеечное. Подскажет, а сам подумает: нигде ты, братец, лучшего не найдешь, у большого города свои законы. То есть с жильцами тебе, может, и повезет. Но, значит, в чем-то другом таким боком выйдет, что маму вспомнишь, никакая это не мистика — закономерность большого города. И он, Ключарев, это давно понял. И давно махнул рукой.

Или вот. Приятель на работе жаловался. Вчера. Говорит, любовь у него появилась, и, говорит, сразу столько хлопот. И клянет всех и сочувствия просит. И помощи всякого рода. А уж где помочь ему, когда свои-то дела расталкивать не успеваешь. Тут не то что любовь, насморк боишься подхватить... «Ты ж знал, на что шел,— говорит ему Ключарев.— Ведь такая любовь всегда хлопотливая».— «Какая такая?» — «Телефонная».— «Но-но. Ты не очень. У меня не такая любовь, как у других».— «А у других не такая, как у тебя. Верно?» И вот приятель задумался, впал в грусть, эту самую грусть уже и не пряча. Ключареву и жаль его, а что скажешь? Есть, правда, один славный совет. На все случаи жизни. «Не надо было заводить».— «Что значит заводить? Любовь — это не собака!» — «Вот именно,— говорит Ключарев.— Не собака. А на собаку, рассказывают, тоже нервы тратить приходится».— «Я думал, ты мне посочувствуешь».— «Но ты же завтра с моста прыгать не станешь?»... И разговор кончается тем, что приятель торжественно сообщает Ключареву, что он, Ключарев, равнодушный человек. И тут Ключарев решился ответить. Обычно он не отвечает на такое, ведь обратного не докажешь. Да и не мальчик он, чтобы что-то кому-то доказывать. Так что это случайно он взял и ответил:

— Я не равнодушный. Равнодушный никак не реагирует... А я смеюсь над всем этим.

То-то и оно. Поправка. Смеется он и над другими, и над самим собой — так что все чисто. Это лишь суета: суета большого города, и ничего тут иного, объясняющего. И ведь никто нас всех сюда не тащил. Сами ж выбрали. И что ж удивительного, что, скажем, для него, Ключарева,

не родное оно все, не трогающее. А родное для него далеко отсюда. Далеко... В Старом Поселке. В Поселке, в котором он уже не был бог знает сколько.

Или вот. Случай недавний. Живет он, Ключарев, в доме, в кооперативном,— хороший такой дом, благопристойный. И машин вокруг дома много стоит, собственных. И деревья сами в субботник посадили. Ну, не дом, а полная чаша. И друг с другом всегда здороваются, уважают друг друга. И разговоры про микроклимат, про то, что, дескать, сами создаем себе жизнь — истинную жизнь большого города... А как-то Ключарев у лифта, в подъезде, увидел объявление — симпатичное такое объявление: «Товарищи! В нашем доме участились случаи пропажи газет из почтовых ящиков. Если с этим не будет покончено, придется обратиться в органы милиции»... И вот объявление уже три дня висело, и слухи, что кто-то крадет «Советский спорт», и разговоры, и догадки. И на третий-то день Ключарев и внимания бы не обратил на это приевшееся объявление и не глянул бы. Если бы не приписка.

— Ого! — удивился Ключарев. А приписка была такая. Кто-то жирно (и нервно), темным карандашом написал вдоль: «Надо этого подлеца поймать и отрубить ему руки» — даже без восклицательного знака, и это уж ясно было, что честный собственничек оживился и написал. И, так сказать, крик души. Прямо-таки отрубить руки... Ключарев тоже оживился. Вынул карандаш нужного цвета и приписал, как бы продолжая: «...и голову». И теперь надпись, на его, Ключарева, взгляд, стала очень забавной: «Надо этого подлеца поймать и отрубить ему руки и голову».

А на следующий день Майка, жена, сказала Ключареву:

— Знаешь, нашли воришку. Ну, который газеты крал...

— Да? — сказал Ключарев машинально.

— Да. Нашли. В семьдесят четвертой квартире живет... К нему сейчас пошел председатель кооператива и еще кто-то...

— Этот хор надо бы послушать.

— Сходи. Ну сходи же побыстрее!

Ключарев взял сигарету, поколебался и пошел. По

пути к нему пристроился еще один жилец. Из того же подъезда, что и Ключарев. И очень уж он торопился.

— Смотреть идем? — сказал он.— В семьдесят четвертую?

Ключарев кивнул.

Сосед продолжал:

— А хорошо написали: нужно отрубить руки и голову... Это небось сразу подействовало!

— Насчет головы удачно написали,— сказал Ключарев, но тот иронии не чувствовал.

— Да. Такое действует... С ними так и надо.

И добавил:

— Это же безобразие!.. Мы же не в поселке живем!

«Да ты знаешь ли, как живут в поселках?» — подумал Ключарев, но ничего не сказал. Даже не улыбнулся. Привык держать про себя, нечего тут спорить.

Сосед невольно ускорил шаг — подъезд с семьдесят четвертой квартирой был близко. Поднялись. Вошли в квартиру. Дверь там была распахнута, слышались голоса. И тут на симпатичном лице соседа появилось глубочайшее разочарование — он протиснулся первым, а Ключарев за ним, и Ключарев видел сначала лишь лицо соседа — именно разочарование было на его тонком и симпатичном лице. Вором оказалась дряхлая старушка.

— Родные мои,— пела она,— я делала эти поступки очень редко...

Председатель кооператива выговаривал ей, старушка кивала и со всеми плохими словами соглашалась:

— Конечно, нехорошо. Конечно, виновата... Но поймите, это не воровство — это как страсть. Я из очень порядочной семьи.

Старушка оказалась большой поклонницей спорта. И интересовалась новостями со стадионов. Подробностями матчей. Болела. И иногда терпеть неизвестность было выше ее сил. Она конечно же подписалась на «Спорт» — но, увы, только с будущего полугодия.

— Клянусь вам, родные мои, этого больше не будет. Я обещаю.

Старушка держалась великолепно:

— Я с самой молодости увлечена спортом. Вы, возможно, не знаете, а ведь я была одним из первых наших тренеров. Тогда это все только начиналось... Я так болею за наш спорт.

Ключарев получил истинное удовольствие. Он даже послушал весь этот треп — сосед, все-таки протиснувшийся ближе, стал втолковывать старушке, что вот-де живем в доме, что надо создавать в доме общественный микроклимат, нетерпимость к подобным поступкам, опять же не в поселке живем... Ключарев возвращался домой и смеялся. Не над старушкой.

Было воскресенье в Старом Поселке, светлое воскресенье и не жаркое.

— Мужики!.. А мужики!

Этот крик (или зов) как бы висел в бараке. И в коридоре шаркали ноги. Отец поднялся со стула, вышел, за ним тут же шмыгнул в коридор Ключарев-мальчик.

— Что такое? — спросил отец.

— Ничто!.. В баньку надо, орский нос! — рявкнул Сашук Федотов.

Собирались. Галдели.

Появился в коридоре дядька Ваня — стало совсем шумно.

— Пиво будет? Бабы будут? — дядька Ваня играл серыми своими глазами.

Двинулись толпой человек в двадцать. Тон задавал дядька Ваня, похохатывал. Сзади, чуть отставая,— вторая толпа! — тянулись женщины, кое у кого в узелках контрабандная стирка. В бане от грохота и гулкого звука шлепающих шаек Ключарев обалдевал. Баня была для него мифическим существом, живым, единым. А свист пара, который рвался из чуть приоткрытого крана, намекал на сдержанную и скрытую силу... В тот день не баня была, а жара, жарища, пекло, и он потихоньку пил холодную воду из крана — отец ударил его по шее, пить было настрого запрещено, и Ключарев-мальчик, скуля, ходил по скользкому ручьистому полу и высматривал новый кран — от отца подальше. И тут случилось нечто. Дверь женской половины (через внутреннюю перегородку) вдруг распахнулась с пушечным звуком.

—А-а-а-а... А-а-а-а! — повис крик.

У Ключарева открылся рот — из дверей стремительно, одна за одной, выскакивали и мчались прямо на него женщины. Сначала бабки. Вислогрудые и бесцеремон-



ные, они что-то вопили не своими голосами. За ними женщины средних лет. По сравнению с бешеным аллюром голых старух эти тоже напирали, но как-то бочком, с долей стеснительности. И последними — полусогнутые от стыда, смущенные, прикрываясь шаечками, теснились молодые.

— В гости пришли! Во дают!.. Смелей, смелей! — кричали мужики из всех углов. Стоял гогот. Такого оглушительного, ярого и с лопающимися звуками смеха Ключарев в своей жизни больше не слышал. В женской половине прорвалась труба, свистящий, обжигающий пар тремя струями отрезал им выход, а уже через минуту прямо-таки погнал в мужское отделение. Застыдившиеся молодухи очень скоро нашли защиту — бабки! «А ну, поворачивай морды! А ну, убирайтесь!» — покрикивая и тыча сухими кулачками, бабуси загнали мужиков, всех до последнего, в парную. Крики стихли, и лишь из-за двух пацанов (Ключарев и сын Сашука Федотова) продолжали спор.

— Да пусть их остаются, им не стерпеть в парилке! — говорили женщины средних лет, и одна из них гладила Ключарева по голове.— Они еще не понимают...

— Гнать! Гнать! — наседали старухи, и после нескольких подзатыльников Ключарев очутился в парной. Здесь нечем было дышать. Тем более из-за скопившегося народа. Отец подвел его к самой двери, расчистил место на нижней ступеньке, и тут стало полегче.

После бани возвращались в барак уже одной общей толпой. Взбесившиеся, опаленные паром бабуси (им не понравилось в мужском отделении — тесно) кричали, теребили всех и чуть ли не подозревали в случившемся умысел.

— Но, товарищи! Послушайте! — пробовал говорить речь Калабанов, инженер и гроза всех в Поселке, образ его укладывался в емкое словцо — «начальник».

Его перебивали:

— Паразит! Позорник, куда ты смотрел?! — И бабуси кричали и непрощенно грозили крючковатыми пальцами.

Дядька Ваня и его приятели хохотали и били себя по бокам, это еще больше злило бабусь.

— Паразит!.. Вредитель!

Терпение Калабанова лопнуло, и он гаркнул:

— Молчать, ведьмы!.. В другой раз совсем выгоню! — Он и пришел-то в баню за компанию, париться не любил.

Позже, когда он на мотоцикле стал носиться к своей татарочке, он часто и охотно рассказывал, что татарские бани, если б не грязь, значительно лучше и полезнее.

«А сейчас, значит, раз-раз — и за пивом!» — пересиливал всех командный голос дядьки Вани.

Глава вторая

Ключарев бреется. Утро ни то ни се — будто бы солнечное, но поминутно набегает тень. Блики.

— Мы пошли,— говорит жена.

Это значит, что жена и дети уже оделись, готовы и стоят у самых дверей. Дети, цветы нашей жизни,— Дениску в школу, а Тонечку в детский сад. Жена разведет их по местам, как разводят караульных, и (не заходя домой) поедет на работу. Обычное утро Ключаревых. В прошлом году Дениска учился в школе во вторую смену, и во времени получалась чересполосица. Сейчас лучше. Сейчас гораздо лучше. С самого утра день начинается четко и строго: все по местам.

— Ты что-то нервничал вчера? Заснуть не мог?— спрашивает жена.

Она заглядывает на минуту к нему в ванную — она в легком пальто, май месяц, но тепло не балует. Дети топчутся в коридоре.

Ключарев продолжает бриться и видит ее, отражающуюся в зеркале,— в легком клетчатом пальто.

— Не спалось... Весна, может быть, влияет.

— Хорошо же она на тебя влияет!

— Ворочался, что ли? — улыбается Ключарев.

— И даже на пол меня столкнул... Ну, мы пошли.

— Ага.

Дверь хлопнула. И слышно, как гудит лифт. Ключарев бреется — шлифует наиболее трудное место у подбородка. Из зеркала глядит сонное собственное лицо, слишком знакомое, чтобы что-то такое о нем подумать... Финита. Он прошагал в комнату — и теперь продувает электробритву, распахнув окно. И вот тут, накладкой к механическому движению руки (он открывал окно), мелькает мысль, что скоро он увидит Старый Поселок. Даже не мысль, след мысли. Как зализ мелкой речной волны — лизнула, и нет ее, и только холодок по телу.

— А приятно подумать! — говорит Ключарев самому себе в лифте, хотя ясно, что Поселок за тысячу километров и что никак его Ключарев увидеть не может. И что даже на интуицию, на некое предчувствие свалить — тоже натяжка... Но ведь приятно.

Ключарев выходит из метро. Магазин. Витрины. Ключарев идет вдоль громадных стекол, и рядом идет его отражение. Тридцать лет. Ровный шаг. Портфель в руке. Специфика лица... И в общем-то уже ясно: научный работник. Или, скажем, юрист. Нет, все-таки научный, научно-технический — плечи выдают. Они, плечи-то, обтекаемей, да и помягче. Так или иначе, но определенный вес среди людей. Довольно густая, хлесткая речь (это уж обязательно при случае!) и довольно средненькая зарплата. Ключарев подмигивает своему отражению:

— Как дела?..

Эта типичность и похожесть на других любопытна сама по себе (мысль Ключарева начинает понемногу просыпаться)... Похожесть не только обедняет. Она ведь в общем-то и оберегает человека. Страхует его. Так сказать, в генетическом смысле. Как ни верти, в этой неуловимости, неотличимости от других, несомненно, есть что-то защитное. Но додумать Ключарев не успевает. Стоп. Встреча.

— Жду тебя,— говорит человек, слегка пряча глаза, хитрые глаза хитрого зама. Он и действительно зам. Но не в том отделе, где работает Ключарев.— Стою и жду.

— Да уж вижу.

Он лишь немногим старше Ключарева, и церемоний быть не может. И будто бы два знакомых встретились. И говорят будто бы о футболе.

— Ну так как насчет перехода в наш отдел?

— Никак.

— А ты хорошо подумал?

Толпа спешащих на работу оттесняет их с середины тротуара. К какой-то стене. Вот тут... Тут они стоят и курят.

— Ключарев, ты все-таки подумай!.. Ведь хорошей темы вам не дадут. Ты ж не так наивен, как твой начальник.

Ключарев пожимает плечами: дадут, не дадут — кто

знает!.. А знает, между прочим, он сам, Ключарев,— то есть знает, что не дадут. Догадывается. Отдел, где работает Ключарев, только что закончил тему. Шесть лет отдано ей. Отдано трудоемкой и, как говорится, черно-рабочей теме. Они ведь разные. То есть темы. Бывает тема, что не размахнешься (молодые говорят, не проявишься),— это темы, где знай вкалывай для заказчика. И не жди, что оценят. И не почему-то, а потому, что сам заказчик-то цены своей работе пока не знает. А бывает тема — золотая жила. О таких темах трубят и шепчутся. Там сыплются диссертации и открытия, и, уж во всяком случае, для творчества простор.

— Простор — это прекрасно,— говорит Ключарев, на минуту как бы поддаваясь. — Ты хорошо уговариваешь.

— Профессионально.

— Пусть так... Но ведь вашему отделу тоже такую тему не дадут.

— Я не говорю, что дадут. Я лишь утверждаю, что у нас она появится скорее, чем у вас.

Это уже намек на Ивана Серафимовича, начальника Ключарева. У него непоколебимая репутация мямли. Странный народец эти замы. Ну, уйдет Ключарев от мямли. А к кому попадет? К такому же мямле. Да, двадцать пять рублей лишних. И только за то, что он переметнется к ним (уж говорил бы, тридцать — оно понятнее!)... И ведь трогает, ведь не пустяк. Это ведь в разговоре двадцать пять — чепуха, а в жизни — это кое-что иное, оно ведь ежемесячно. «Ключарев? Хороший парень. И работать умеет. Но ты знаешь, он ведь ушел от своих за двадцать пять рублей надбавки».— «Не может быть».— «Ей-богу. Я сам ему это предложил» — вот именно этот хитроватый зам так и скажет однажды. Тот еще народец.

— Зачем так цинично?.. Я же с тобой говорю открыто.

— Да вот ведь и я открыто,— улыбается Ключарев.

— Я ведь тебе и честно, и откровенно...

— ...И за спиной моего начальника,— подхватывает Ключарев ноту.— Это честно?

— Но с тобой-то я честен и откровенен.

Оба замолкают. «Подожди. Не так будем петь, когда ты будешь у нас работать»,— думает зам. Для Ключарева это тоже не секрет. Догадаться не трудно... Двадцать

пять рублей как воздушный шар. То как бы приближаются к Ключареву, то опять возвращаются в гигантский карман хитрого зама.

Тем не менее хитрый зам грустнеет. Насвистывает что-то. Не ждал сопротивления.

— Я не строю из себя какую-то там девственницу,— говорит Ключарев и поглядывает на часы.— Ей-богу, не строю.

— Так в чем же дело?

— Видишь ли. Я человек увлекающийся. Меня увлечь надо.

Мысль нравится, и Ключарев тут же развивает ее:

— Умей твой начальник увлечь. Будь он, так сказать, личностью. Веди он людей как бы на прорыв — я бы, может, и рискнул. Я бы и на черную тему пошел. Я бы и за спиной начальника договорился. Я бы даже обманул его...

— Ты старомодный человек.

— А что делать? — Ключарев улыбается.

Он улыбается, он вспомнил Калабанова из Старого Поселка. (При всех своих глупостях Калабанов увлечь умел. Этого не отнимешь.)

Хитрый зам тоже улыбается. Ясно, что в эту минуту разговор бесполезен. Ключарев во власти какой-то идейки. Это ведь с каждым бывает. Но идейки временны, а двадцать пять рублей постоянны. Более того: ежемесячны. Так что пусть яблочко созревает, и если оно способно созреть, то...

— Но ты все-таки подумай,— и зам протягивает руку: — Пока.

— Пока.

— Немного опаздываем, а?

— Минут пять, не больше...

Ключарев входит в отдел.

— Привет всем.

А все как раз рассаживаются по местам. Шумки и разговоры. Стул да стол с бумагами, боевое место, неотличимость от других. К Ключареву направляется Бусичкин — человек номер один, самый талантливый в отделе. Он спрашивает. Он спрашивает с ходу, сейчас он чем-то похож на шустрого газетчика из старых фильмов:

— Ну?.. Как твое мнение? Дадут нам наконец настоящую тему?

— Откуда мне знать. Скорее всего, не дадут,— говорит Ключарев.

И, видно, он подливает масла в огонь. Все вокруг возмущаются: как это не дадут? как же так?.. Всплеск вчерашних и позавчерашних разговоров. «Но ведь наш отдел закончил свою тему. И блестяще закончил!» — повисает за спиной чей-то выкрик. Страсти с каждым днем разгорались, это было понятно. Неизвестность тяжелее всего. Ключарев не отвечает, не спорит, не вмешивается — он идет к своему столу и лишь привычно кривит губы в улыбке. «Он же у нас такой ироничный. Наш Ключарев — это же сама ирония!» — летит ему в спину голос, а он идет себе в дальнюю комнату. Отдел состоит из двух комнат, проходной и дальней. Место Ключарева в дальней.

— Привет.

Он садится за свой стол. Рядом, как всегда, Галя Южина — жует бутерброд, не успела позавтракать... Подходит неудовлетворенный и гневный Бусичкин. Он опять о том же — почему ты не хочешь поговорить? Обсудить?

— Но ведь от нас не зависит,— отвечает наконец Ключарев.— Министерство без нас решит. Или тебя уже перевели в министерство?

Бусичкин обиделся, а с ним иначе нельзя. Талантливый, но суетливый.

— Неужели тебе все равно? Неужели не волнует? — распаляется Бусичкин.— Да сбрось ты свою ироничную маску!

— А ты свою суетливую маску пробовал сбросить? Хоть на время?

— Ну, тише вы!..— кричат из-за соседних столов.

Бусичкин уходит. Удаляется...

Работы как таковой нет. Тематика действительно исчерпана, и даже отчет уже позади. Но у Ключарева всегда есть кой-какие задачи. Он, Ключарев, из «тягловых», по счастливому выражению Гали Южиной. Из тех, кто тянет и вывозит в любое время и при любой погоде. Потому-то и сманивают его. Сейчас-такие-в-моде, что-при-любой-погоде (и это руки Ключарева уже разложили бумагу, взяли карандаш — ага! не те цифры!). Это и есть внутренний покой. Покой изо дня в день, не так ли?..

Ключарев как бы ловит хвостик утренней мысли. Той, что у магазинной витрины,— вот ведь отчего защищает типичность и похожесть на других. От излишних размышлений. Ну, ясно. Живу как все, типичен в меру и в меру счастлив. Да еще плюс из настоящих «тягловых» — чего же еще о себе думать? Этак ведь задумаешься и незаметно вреда себе наделаешь. А ведь все хорошо. Все отлично. Вот так и живем... И это Ключарев уже слегка поддевает себя, это уже та самая ирония (а формулы и шифры начинают захватывать сознание — рука уже пишет). Мелькает что-то последнее. Что-то совсем уже небольшое. Ах да: грубовато отшил Бусичкина. Оно и не грубовато, а все же зря... Ладно.

Он работает четыре часа без передышки. Как каждый день. Как автомат. Без этого ему нехорошо, и без этого он болеет. Профессионализм высокого класса. Он оглядывается. Кругом кой-какие разговоры. И споры: темы-то нет.

Он сладко потягивается — оплата телу за четыре часа сидения. Галя Южина отворачивается. Это уж как всегда, она сотню раз просила при ней не потягиваться. Он просил ее не жевать бутерброды. Равновесие мелочей. Но когда поработаешь, так сразу мелочиться не тянет:

— Галь, забылся. Ну, говорю же, забылся... Ей-богу, больше не буду.

Ключарев выходит в коридор. Покурить уединенно. И подумать. Так ли уж нужно за него (за своего начальника) держаться?

Эти дни он бегает по министерству. Там, кстати, с ним совершенно не считаются. Мямля. «Унижений-то сколько! — жаловался он как-то Ключареву.—И сердце дергает».— «А не унижайтесь!» — «Не получается, Виктор», — и Иван Серафимович улыбнулся с добродушием выспавшегося ребенка: дескать, такой уж я есть... Мягкий. Деликатный. Оно, разумеется, плюс, и плюс немалый. Но ведь и минусы тут как тут.

Или вот. Тоже черточка. Было. Восьмое марта. Смех, шуточки, то, се, а Иван Серафимович бродил по отделу со странным лицом. Он, разумеется, сроду бы не вылез из своего кабинета, но ведь Восьмое марта — он должен был поздравить женщин. И вот он двигался меж столов,

поздравляя и клоня свою голову чуть набок (сама предупредительность). А напротив уборщица — пришла подмахнуть мусор,— и вот Иван Серафимович вздрогнул, поднял на нее глаза. «Вера Степановна», — тая улыбку, прошептал и подсказал Бусичкин ее имя.

— Вера Степановна, я поздравляю вас... э-э-э... и там, в приказе. Там... э-э-э... скромный денежный подарок.

И, проговорив это, Иван Серафимович смутился вконец, он пунцов и взмок от пота (угадать трудно, но думается, что во всей этой сложности есть та тонкость: он попросту стыдится своей большой зарплаты). И не то чтобы он был от природы неловок. Вовсе нет. В кабинете он говорит, как птица поет. Но тут, в отделе, в нем видели (и это он точно знал) начальника, и это-то его тяготило. Такой человек.

Или, скажем, кино по четвергам. Так сказать, общение с коллективом. Вне работы. Он знает, что общаться нужно,— знает, помнит это, вот ведь как. Обычно Иван Серафимович приглашает с собой Ключарева или Бусичкина, самое большее еще кого-нибудь. Втроем или вчетвером. В конце рабочего дня Ключарев (или Бусичкин) входит к начальнику в кабинет и спрашивает:

— Ну что?.. Отправимся в кино?

— Да, да. Четверг... Традицию нарушать нельзя,— при этом Иван Серафимович улыбается и протягивает Ключареву «Вечернюю Москву», вчерашний номер. Той стороной, где перечень фильмов.

Ключарев, устало зевнув, выбирает — водит пальцем по названиям. И спрашивает:

— На дю-дю пойдем?..

Так они называют детективные фильмы с погонями и слежкой. Маленькая страсть Ивана Серафимовича... Они заходят за Бусичкиным — и втроем через полчаса они уже в кинозале. Иван Серафимович смотрит, как ребенок, чуть приоткрыв рот и не отрывая глаз от мерцающего экрана. Он весь в другом мире. Он там. Конус света, темнота кинозала, вульгарная речь героев и медная музыка — это как бы освобождает душу Ивана Серафимовича. Все его сокровенное, мужское, заторможенное работой и однообразной жизнью, спрятанное вглубь,— всплывает. Это он крадется по следу. Пренебрегает опасностью. Это он стреляет, скачет и грубо (но, разумеется, с оттенком бла-ародства) покрикивает на обнаженную красавицу.

Затем они выходят из кинотеатра. Дю-дю кончился, и теперь ясно, что это был фильм. Только лишь фильм, притом глупый. Ивану Серафимовичу как бы даже совестно — он, как всегда, ни слова не скажет о кино, о только что виденном и слышанном. Они — втроем — будут говорить о работе, о статье Федорюка и о том, что же, в конце концов, соизволит решить министерство... И ни словца о своем, о внутреннем. И уже само собой, что никогда и ни при какой беде Иван Серафимович не примчится в отдел и не скажет, протягивая руки с вывернутыми ладонями: «Братцы... Братцы мои!..» На секунду Ключарев притормаживает иронию (ишь, разбежалась!). Он как бы ловит себя, подкусывает: а нет ли в нем, Ключареве, скрытой и, в сущности, рабской тоски по сильному начальнику,— вроде бы нет...

И в конце штришок. «До свиданья»,— говорит Иван Серафимович, как обычно первый протягивая руку, крепкую при пожатии (подсознательное влияние кинухи).

— До свиданья.

— До свиданья.— И все трое разойдутся. Пообщались.

Вот такой он, Иван Серафимович. Начальник Ключарева. В общем-то Ключарев привык к нему, и давно привык. И если бы не тот хитроватый зам, не двадцать пять рублей в месяц и не щекочущая возможность выбора (впрочем, какой там выбор: шильце на мыльце!) — не стал бы он перемывать его начальницкие белые косточки. Косточку, как говорили в Старом Поселке, перемывать косточку.

Ключарев идет в кабинет начальника. Ивана Серафимовича там нет — в эти неопределенные дни он все больше торчит в министерстве. Забегает на работу на час-два и опять мчит туда. Вымаливает хорошую тему. Вымямливает.

Ключарев сидит за столом — один в кабинете. Мысль о начальнике идет своим ходом, а руки сами собой (он для этого и вошел в кабинет) берутся за телефон. Ключарев набирает номер. Он звонит некоей Лиде, и это он звонит не потому, что он этого хочет. Более того: он совсем не хочет. Но если не позвонит он, то уж точно позвонит она. И это будет хуже, если позвонит она. Надо с ней развязаться немедленно. Она вчера звонила. И позавчера... Три года не виделись, а теперь ей ни

с того ни с сего вдруг вздумалось его, Ключарева, дергать.

— Лида,— говорит он, услышав ее голос,— я зря вчера тебе пообещал. Я не смогу прийти.

— Я так и знала.

— Не сердись, Лида. Не сердись...

Он пытается переломить виноватящийся тон, но поздно. Разговор получается плавающим и неопределенным. Слово за слово. То да се. Ключарев наконец кладет трубку и (он еще вспомнит этот разговор) сидит очень собой недовольный. Мысли были заняты другим, потому и не сумел. Не собрался внутренне. А разговор, он ведь штука такая, самотечная. Как бывает подчас самотечной и сама жизнь.

В кабинет входит Иван Серафимович. Полдня провел в министерстве (судя по виду — зря).

— Никак не могут они принять решение,— подтверждает Иван Серафимович.— Все тянут и тянут!

Обеспокоенный и взволнованный, Иван Серафимович тем не менее замечает кислость в лице Ключарева:

— Вы чем-то расстроены, Виктор?

— Самотечностью жизни,— и Ключарев смеется, отмахиваясь от тех мыслей.

Иван Серафимович тут же истолковывает это как намек на работу отдела:

— Не тяготитесь, Виктор. Не тяготитесь, ради бога... Нам предложат, и, быть может, на днях, интереснейшую тему!

Ключарев отвечает, что он и не думает тяготиться. Если даже велят продолжать старую — тема как тема. Работать можно.

— Нет, Виктор, я не успокаиваю. Будет великолепная тема. Великолепная!

В этом Ключарев как раз не уверен — у него трезвый ум. Но охладить начальника он не успевает. Иван Серафимович уже воспламенился. Вспыхнул. Уже мечтает:

— Представь себе для начала, что нам дают проблематику Н-ского завода!

Иван Серафимович ходит по кабинету взад-вперед. Он не умеет увлечь других, зато он умеет увлечь себя. Всплеск души. Волна за волной. Иван Серафимович уже говорит о смысле работы. Он обобщает. Он вспоминает

Данте. Они — Данте и Вергилий — спускаются в ад. К центру Земли. Все ниже и ниже, помнишь ли, они спускаются круг за кругом? И вот конец пути. Люцифер, застрявший в самом центре Земли. Вергилий и Данте начинают спускаться по огромному мохнатому телу Люцифера. Вот его плечи. Вот, наконец, середина тела (пояс Люцифера, центр центра Земли), и тут... они как бы в невесомости разворачиваются и, продолжая спускаться, спускаются, но одновременно уже идут вверх!.. То есть в другую сторону Земли — как это могло произойти?

— Потрясающе! — всплескивает руками Иван Серафимович.— Чем тебе не мнимая ось?!

И еще, на том же запале:

— Вот тебе и кривизна пространства! И когда? — в тихом средневековье.

И еще (и это, видимо, вершина его мысли):

— Вот так и в работе. Делаешь самую черную работу, спускаешься все ниже и ниже — и вдруг оказываешься уже в ином направлении! В направлении творчества — ты понял?

И, уже понижая голос, уже с лирикой, с мягкостью:

— А главное — незаметно. Работал, корпел, мучился — и вдруг: раз! — и, не меняя направления хода, ты уже творец — понятно ли?

Ключареву понятно. Модель как модель, почему же не понять? — и отчасти даже увлекает, не без того.

— Все так. Но это ж до центра Земли сначала дойти надо,— улыбается Ключарев.

— А мы?.. За столько-то лет на этой каторжной теме?! Разве нельзя сказать, что мы дошли туда?

Ключарев пожимает плечами: может быть, да, а может быть, нет... И тут ведь не о чем спорить. И еще штришок. Маленький. Ключарев угадывает скрытую суть всех этих рассуждений: Иван Серафимович надеется. Он очень надеется, едва ли даже признаваясь самому себе. Он надеется, что на этот раз (пора, пора! ему уже пятьдесят лет!) — на этот раз его отделу дадут некую творческую тему в самом высшем смысле. Золотую жилу. Но одновременно (задним-то числом, ведь вот оно как!) Иван Серафимович готовит себя к министерскому отказу, то есть велят продолжать прежнюю тему, и... и Иван Серафимович будет самому себе объяснять, что еще, значит,

не дошел он до центра Земли, не заслужил. В этом и суть. А ведь это черт знает что: думать ночами, мучиться, подтаскивать себе в помощь потускневшую космогонию Данте, и все лишь для того, чтоб своему родному и любимому «я» не сделать больно, в случае если заставят продолжать прежнюю тему... Ключарев сдерживает иронию. И думает, как бы это (и чтоб не обидя) сбить всплеск пятидесятилетнего романтика.

— Но можно, Иван Серафимович, и по-другому это представить...

И Ключарев говорит, что скорее-то всего Данте, спускаясь все ниже и подходя к Люциферу (центр Земли, предел напряжения читателя, а также предел читательского ожидания — что же дальше?), почувствовал недостаточность художественных средств. Большой художник, почему же не почувствовать. И тогда Данте просто рванулся наугад (и никакой тут кривизны пространства) — рванулся, ну, а полет фантазии доделал дело.

— Мне очень жаль,— суховато чеканит Иван Серафимович.— Мне очень жаль, что вас устраивают такие бедненькие объяснения.

Это он обиделся.

Ключарев встает и делает два шага к Ивану Серафимовичу (тот стоит у окна, смотрит туда).

— Не переживайте, Иван Серафимович...

— Я?

— Не переживайте. Я почти знаю, что новой темы нам не дадут. Отделов много, разве мы лучше других?.. Дадут нам новую документацию по этой же теме и скажут — продолжайте с богом!

И тут Ключарев делает маленькую умышленную уступку:

— Так что будем еще спускаться, круг за кругом... Верно?

Но начальник угадывает, что это уступка, чуть ли не снисхождение,— и вспыхивает:

— Скажите, Виктор. В вашей жизни вообще есть что-нибудь интересное? Ну, хоть что-нибудь?

Ключарев пожимает плечами.

— А где же интересное? Там?.. В вашем Старом Поселке?

— Да. (Да?..)

— А почему вы туда не поедете? Поезжайте. Живите там... Я в каждом молодежном романе читаю, как человеку

надоела Москва, дряблые и развращенные городом люди, и человек взял в конце романа и уехал — кто в поле, кто в поселок. Словом, туда. К тем самым здоровым натурам, где так замечательно...

Ключарев помалкивает. Иван Серафимович обиделся, это ж понятно.

— А что?.. Поезжайте. Устройтесь работать, например, учителем. И живите там себе на здоровье...

Ключарев молчит. Ведь не первый такой разговор. Ключарев улыбается, а затем говорит — правда, не слишком находчиво:

— Может быть, и уеду. Не знаю...

— Чего не знаете?

А тут уж Ключарев говорит, найдя слова. Хорошо говорит:

— Себя не знаю.

Пауза.

Ключарев поворачивается, чтоб уйти,— надо будет еще погонять цифры. Голова посвежела. И сейчас должно поработаться. Хотя б немного.

Иван Серафимович — он идет от окна, он все стоял там, смотрел — быстро нагоняет Ключарева:

— Ты извини, Виктор... Ты ведь понимаешь. Сейчас такое состояние.

Вспышка исчерпалась — Иван Серафимович опять чуткий и деликатный человек:

— Извини, Виктор... Ты уж, пожалуйста... Я ведь в эти дни...

Вот именно. Чуткий и деликатный. Ну, мямля, ну пусть. Да ведь и тот начальник хитроватого зама, Шилов, что ли,— ведь тоже квашня. Мыльце на шильце. Вот именно... Иван хотя бы добр. Интеллигентен. Поболтать при случае можно. Уезжай, говорит, в свой Старый Поселок. Чудак!..

Ключарев приходит домой. Садится с Дениской за уроки. Жена что-то варит или жарит. А четырехлетняя Тоня всем мешает.

— Вот тебе бассейн,— Ключарев быстро черкает карандашом.— Бассейн емкостью... А вот тебе первая труба.

— Да я сам нарисую,— говорит Денис.— Плохо ты рисуешь. Наш школьный бассейн выглядит так...

Дениска рисует бассейн, две трубы и льющуюся воду.

— Мама говорит, что, когда ты учился, при вашей школе не было бассейна. Правда?.. Как же ты научился плавать?

— Я уже не помню.

— И в баскетбол вы не играли?

— Не отвлекайся.

Но внутренне Ключарев сыном доволен. Задача сложна. Ключарев заставляет Дениску решать двумя способами и учит выбирать оптимальный, это значительно выше школьных требований. Денис, как всегда, решает четко, логично и не без изящества. Иной раз Ключарев с настороженным удивлением вглядывается в его ясное лицо, пожалуй, слишком ясное и целенаправленное.

Звонит телефон.

— Не обращай внимания, не отвлекайся... Итак, объем вдвое больше.

— А скорость воды та же?

— Да.

Голос жены. Она у плиты, на кухне:

— Витя!.. Телефон надрывается — неужели не слышишь?

— Слышу. Мы заняты.

Появляется в дверях маленькая Тоня. Повод есть, она тут же врывается туда, где отец занимается с Денисом, и слегка шепеляво объявляет:

— Сисяс мама придет. Она сисяс руки вымоет.

— «Сисяс, сисяс»,— передразнивает Ключарев, изображая строгость.— Сисяс я и сам могу.

Он берет трубку. Он вдруг подумал, что это Лида, с нее станется и сюда позвонить. Но нет — это Бусичкин.

— Виктор, привет.

— Привет.

— Что ты такое сказал сегодня Ивану (то есть Ивану Серафимовичу)? Он в страшной растерянности. Вызвал меня. Стал спрашивать о жизни. Об отношении к работе. И все на этаком чудовищно нервном уровне... И вдруг заговорил о том, какой у нас замечательный отдел. Какие мы все талантливые и дружные. К чему бы это?

— Не знаю.

— А вы-то с ним о чем говорили?

Ключарев улыбается:

— О Данте.

— О чем, о чем?

— Да ни о чем. Просто поговорили.

Ключарев вешает трубку. Дениска к этому времени уже решил задачу, и они с Тоней строят друг другу рожи.

— Майя! — кричит Ключарев жене.— Они ведь ели. Не пора им спать?

— Пора. Давно пора... Укладывай.

Ключарев и жена на кухне. Чай. То есть уже чай, и пьется он неторопливо, и дети уже спят, и тишина. «У самовара я и моя Маша», — как иногда шутит Ключарев, подчеркивая минуту... И верно: этот вечерний чай уж давно нечто большее, чем чай. Это точка спокойствия. Подчеркивая защищенность домашней крепости в минуту, когда дети спят.

— Дали читать схему. Торопят как на пожаре...

Майя рассказывает о своей работе — у них отчетный период. Ключарев понимающе кивает. Затем они говорят о Тоне и о гриппе в детском саду. Затем о деньгах. Три месяца не вносили за кооператив. Надо как-то изловчиться. Правда, детей приодели и обули.

— Идем спать,— говорит Майя, глаза у нее слипаются.

— Идем...

Спать-то спать, но Ключарев еще долго поворачивается в постели с боку на бок.

— Майк, а Майк! — трогает он спящую рядом жену.

— Что такое?

— Иван сегодня сказал мне, что, дескать, поезжай в Старый Поселок.

— Ну и что?

— Нет. Ничего особенного... Чудак!

Жена не отвечает, спит... В книжках, говорит, все в конце концов уезжают. И ведь с болью сказал, болело в нем что-то. Вот именно, Иван Серафимович. В книжках. Там, в книжках-то, драматургия. И идея, и цель, видимо, какая-то есть. Вот герой и уехал из большого города, оскорбленный и непонятый. А здесь ведь эпика. И никакой тебе драматургии. Просто живешь. Свое живешь, свое делаешь. И это ж какие беды и оскорбления должны обрушиться на человека, чтоб человек вдруг принял решение уехать. Если такие-то беды, то ведь и о более важном можно задуматься. Не только взять да уехать...

— Майк.

Жена спит. Ключарев тоже засыпает. Бараки. И белое жаркое лето. Пыль на дороге, выбеленная солнцем. Сон-

ная ноздря водопроводной колонки, прямо посреди улицы... Слышно вдруг, как начинает ворочаться кто-то из детей. Дениска. Его кровати скрип.

За рекой быстро рос город. Там строились этажные дома, жил там и директор завода, и другое начальство. Но и в Старом Поселке, если уж о начальстве, тоже жил кое-кто. А именно он — инженер Калабанов. Их старопоселковская гордость. И жил с ними в бараках. То есть не такие уж заброшенные они были.

История с красными помидорами разыгралась, когда приехал представитель из Москвы. Весь городок слегка залихорадило. И старопоселковцы тоже заволновались — как-никак!.. Но наконец строящийся завод был осмотрен. Представитель из Москвы был доволен. Улыбался. А директор завода отер пот со лба и сказал: «Теперь, может быть, ко мне домой поедем? — И он добавил, как бы пояснил этому влиятельному человеку: — Отдохнете. То есть по-домашнему. В гостинице ведь шумно».

Насчет шума в гостинице он преувеличил, гостиницы просто не существовало. И тут-то их, старопоселковский, Калабанов тоже вошел в разговор. Знай, мол, наших, поселковских. И вроде бы добавил, общего хлебосольства ради:

— Или ко мне поедем. В Поселок... Тоже не пожалеете.

Представитель из Москвы пожал плечами, рассмеялся — целых два предложения! — и, сея небольшую интригу, лукаво спросил:

— А кто что предложит?

Директор сказал про вкусный обед. Сказал про вид из окна на заснеженную степь и на замерзшую реку, когда рядом будет жарко потрескивать алыми чурками печь. Кажется, сказал про самодеятельность. И наверняка про подледную рыбалку — что еще можно предложить на уральской стройке?

И тут их, старопоселковский, Калабанов усмехнулся — не он ведь интриговал представителя, это представитель его. И когда тот, повернув начальственную голову, спросил: «Ну, а вы?..» — Калабанов еще раз усмехнулся и не без эффекта выдал:

— Все то же. Плюс красные помидоры.

— Свежие? — удивился представитель.

— Свежие.

А была зима.

Конечно, Калабанов знал, на что шел, — был у них в Поселке такой Коля Двушкин, их Мичурин. И еще вчера кто-то болтал, что Коля Двушкин как раз снял три ведра красных («уж таких краснющих!») помидоров со своего парника. Это был тот самый Коля Двушкин, жену которого один из чокнутых, помешавшийся от великой своей любви, упорно считал «своей» — понятно, без малейших оснований, только в грезах.

Так что Калабанов выиграл бой легко. Он не поддакивал и особенно не зазывал. Он только стоял сбоку, как и положено инженеру.

И вот представитель из Москвы в Старом Поселке, у Калабанова,— огонь в печке, чурки потрескивают, хозяйка ходит павой и чуточку суетится, чтоб водку, скажем, покрасивее поставить на скатерть. А представитель то ли проголодался, то ли просто озяб во время осмотра — словом, немного нервничает и все спрашивает:

— Откуда же свежие помидоры?

Калабанов на своем:

— Секрет.

И тут появляется (примчался шофер — шепчет) другая интрига, сама сплелась. Коля Двушкин был не просто ревнив, но еще и изобретателен в своем чувстве. Он понял так, что приглашение к Калабанову в гости и помидоры, с которыми он явится к столу, — все это лишь предлог, а суть конечно же в его, Колиной, жене. Дескать, ее-то напоказ и надо представителю из Москвы.

— Да что же он не едет? — шепчет Калабанов шоферу.

Шофер тоже шепотком:

— Мнется что-то, понять не могу.

— Скажи ему, что я приказываю. И чтоб мигом!

— Есть!

Коля Двушкин такой приказ не то чтобы ожидал — предвидел. И потому тут же, еще до прихода шофера, собрал родню (а Двушкиных было немало) и устроил большую пьянку. Помидоры лежали на столе, а родичи уничтожали их под водку. «Щас, щас,— сказал Коля примчавшемуся шоферу,— не могу же я выгнать гостей».— «Каких гостей?» — «Да вот этих. Провожу их и приду».— «Да их вроде не было». Но Коля ему тут же рюмку водки в зубы, шапку в руки, шофер выпил — помчался.

А Калабанов как раз говорит представителю из Москвы:

— А ведь хорошо водочки с морозца? Верно?

— Верно,— говорит тот.— Да ведь с морозца-то уже час прошел. Пора бы и за стол сесть.

— Это сейчас, минуточку...

И Калабанов бросается к примчавшемуся шоферу, шепчет в коридоре: «Ну? Где Двушкин?» — «Гостей провожает».— «Каких гостей?.. Да что ж он, черт, тянет, рожает, что ли?» — «Нет. Пьют и помидоры едят».— «Ах, дьявол парниковый! Подлец! Убийца!»

Двушкин тем временем сидел очень собой и своей интригой довольный — с помидорами в Старом Поселке было покончено. Родичи орали песни, красавица жена подтягивала звонко и пьяненько, шум, гам — своя, так сказать, и родная картинка. Два ведра помидоров съели, третье ведро Коля им не дал — больно было смотреть. Коля хотел хоть какую-то извлечь эмоцию, ведь растил и старался, и вот он кликнул пацанов с улицы, своих и соседских,— они расхватали последнее, и это был уже финал, конец помидоров. И вот Коля сидит гордый и довольный и смотрит на влетевшего в дверь шофера. «Ну?.. Ну?.. Ну?..»

«Что «ну»? — говорит Коля.— Я, может, и пришел бы в гости. Да без помидоров неловко. Вроде обещал». За шофером влетает сам Калабанов. «Как это без помидоров?» — «Родичи поели. Не рассчитал». Калабанов скрежетнул, глядит — родичи один веселее другого, жуют, одно слово, молодцы, поработали. А там и сям помидорные остатки, червоточинки и задки. «Ну хоть один,— взмолился он, — остался? Ну хоть последний?» — «Нет, последний дядя Кузя съел.— И зовет, манит пальцем: — Кузь, поди сюда, подтверди».

Калабанов махнул рукой и выбежал.

Жена Калабанова в эти минуты, почуяв правду, начала готовить отступление. Гость томился. Курил. Ходил вокруг стола. Она дала ему рюмку водки:

— А вот и баранок возьмите. Румяные, а?.. Их у нас по-простому помидорами зовут.

— Баранки?

— Ну да. Так и говорят — красные помидоры.

Она сжалилась (мужа все не было, гость явно голодал) и дала еще рюмку:

— Но вы же не из-за помидоров к нам в дом приехали. Наверно, нашу жизнь посмотреть?

Слегка тускнея, гость подтвердил:

— Ну ясно, не из-за баранок. Жизнь посмотреть — это я и хотел.

А Калабанов бегал по Поселку. И повторял своим работягам и их женам:

— Братцы,— говорил он,— ведь опозоримся, братцы!

Рабочие не знали, чем помочь. Их инженер стоял, протягивая руки, стоял сокрушенный: «Что же делать, братцы? — а что можно было делать?.. Из конца барака вывалились хмельные и орущие песни Двушкины. Подошел дядя Кузя, убивался, но вернуть съеденные помидоры уже никак не мог. И тут кто-то вспомнил, что видел своего пацана с помидором — тот по улице бежал. Кинулись искать, пацанов нигде не было. Выручил дядя Кузя, сообразил, что ребята залезли в уютный колодец отопления: «Они там всегда от холода прячутся».—«А что они там делают?» — «Как что? Курят, подлецы!»... К колодцу побежало человек десять — спешили, понимая, что пацан с помидором долго играть не станет. Калабанов свернул с тропки и, вонзая в снег сапоги, помчался напрямик по целине.

— Я же клялся!.. Я же обещал! — выкрикивал он на бегу, летел, весь расхристанный и без шапки.

За ним бежали другие, человек десять. С крыльца барака наблюдал за этой гонкой Коля Двушкин — счастливый и пьяненький, он думал о том, какой он молодец и как это правильно держаться от начальства подальше. Однажды тоже приехал большой начальник и вроде бы помидоры хвалил, обещал, что про Колю в журнал напишет. А потом окосел, лип к его, Колиной, жене и говорил: «Ах ты, моя рыбочка»...

У колодца отопления получилась заминка. Пацаны (и Ключарев помнит, что он сидел прямо на трубе, у распределительного крана) тут же и заблаговременно подняли крик и рев. Те, что не курили, орали и выли громче других. «Да вылазьте, мы вас не тронем!»— клятвенно кричали взрослые в темноту колодца. Наконец кто-то спустился вниз. Одного мальчишку подняли, и у него — у первого же! — был довольно крупный помидор. «Ура!» — прокатилось над колодцем. Но это было и все, хотя нет, был еще один, маленький,— от ведра помидоров уцелело лишь два плода. И все-таки это были помидоры. Красные и свежие. Зимой. Их торжественно и бережно вручили Калабанову. И Калабанов, очень резкий,

требовательный и временами жестокий человек, повторял и повторял:

— Братцы... Братцы мои,— и заплакал.

Красные помидоры сыграли свою незаметную роль. Представитель из Москвы в свое время припомнил старопоселковского Калабанова. Нужно было выдвинуть кого-то, место, что ли, освободилось, и тут-то о Калабанове вспомнили. И ясно, что это не было какой-то особенной благодарностью за две помидоринки — просто память; помнилось, как томился голодный у стола больше часа, а стол был накрыт, и потрескивали в печке те самые алые чурки, и зима за окном... Так их, старопоселковский, Калабанов пошел в гору.

Выходец Поселка и после выдвижения оказался работягой и умницей — стали ценить. Он уже был крупной фигурой областного масштаба. Но натура подстерегала его. Сначала у него появился мотоцикл, первый мотоцикл в Поселке. «Эй!.. С дор-роги!» — орал он, несся с грохотом и треском, и мотоцикл тоже был под стать — злой и свирепый, как сам Калабанов. Жил-то он по-прежнему в Старом Поселке, но все чаще и чаще — люди это заметили — стал заезжать в недалекую от Поселка татарскую деревушку.

Командировки в Москву, поездки в область и татарская деревушка, и тут же в обратном порядке — деревушка с девушкой-татаркой, область и Москва. Так он и носился туда-сюда. Так и жил. Имя девушки-татарки Ключарев уже не помнит. Но помнит, что дальше все было просто. Жена Калабанова написала в управление жалобу — формулировка тогда была стандартная: моральное разложение. И Калабанову предложили образумиться и жить со своей семьей. «Ладно. Буду жить»,— сказал Калабанов. Он был хитер, он согласился, рассуждая, как рассуждают все удачливые люди. Дескать, согласиться надо на словах, а удача не бросит. Дескать, время идет, страсть когда-нибудь да утихнет, возьму свое — а там, возможно, вернусь в семью. И он по бездорожью носился на мотоцикле к своей татарке и ждал повышения — его вот-вот должны были опять выдвинуть, теперь уже в Москву. Он ждал, а в управлении тоже ждали.

И тут надо сказать, что доносы строчила только жена. В поселке Калабанова любили. Конечно, в нем было раз-

гульное и орал на людей он как зверь, но это было в порядке вещей, да и орал он по делу. Кроме того, он забыл о жене, но о Поселке не забыл. Он улучшил снабжение, организовал строительство дорог, был, построен и мост, связавший Поселок с растущим городом. И дело даже не в этой материальности, ведь не знаешь, за что любишь,— а его любили. И ведь выходец из наших, свой, как ни верти... И вот Москва ему отказала в повышении. Более того: строгий выговор.

— Грохнулся наш Калабанов,— говорили в Поселке, жалели его.

— Занесся, да не удержался,— и вздыхали, как о непутевом, но родном.

И тут он грохнулся еще раз, и уже навсегда. К нему в дом пришли все свои, поселковские, люди, выпили с ним, просили: «Петя, ты ж наша надежда»,— они хотели, может, совет дать, хотели, чтоб образумился,— болели за него, все-таки он был их гордостью,— а он топал ногами, кричал: «Подлецы! Завистники! Это вы строчили доносы!» — в конце концов как-то поладили. Говорят, песни пели, а Калабанов плакал. Но поздним вечером натура взяла свое — хмельной Калабанов вскочил на мотоцикл и помчался к своей татарочке. Может быть, решил в последний раз, как курильщик хочет «последнюю» сигарету. Переезжая речку на предельной скорости по ветхому мостику напротив татарской деревушки, Калабанов свалился и размозжил себе голову.

Понятно, его жалели. (Чокнутые говорили целый месяц о его любви и занесли Калабанова в свои идолы.) Мостик и сейчас зовется Инженерским — так прозвали его татары, а затем чокнутые, а затем все остальные. Это стало маленькой легендой Старого Поселка, и, как всякая легенда, она обросла соответствующими подробностями и тонкостями. Чем не вариант «Кавказского пленника»? Говорят, что молодая татарка нашла косточку головы Калабанова, эту косточку обмыла и вместе с каким-то маленьким винтиком рассыпавшегося мотоцикла захоронила на своем татарском кладбище.

Деревушка называлась Айдырля. Татары принимали Калабанова настороженно, но, видно, тоже полюбили. Он кое-что для них делал, например, устраивал татарских мальчишек в ФЗУ — сам их отвозил, сдавал в надежные руки, чтоб было и есть, и спать. Это, кстати, и оказалось

началом распада деревушки. Сейчас Айдырли уже нет. Старые поумирали, молодые разъехались. Осталось лишь татарское кладбище. Затем и его распахали под хлеб. Где-то там, под волнующимися (ведь это уже в легенде) колосьями, и винтик мотоцикла, и косточка Калабанова.

Глава третья

Тем разговором с Лидой Ключарев был очень недоволен. Начало было правильное, такое, как и хотел.

— Лида,— сказал он,— я пообещал, но прийти не смогу.

— Я так и знала.

— Но ты не сердись.

Он почувствовал ее молчание — напряженное, натянутое. И было ясно, что все это надо обрубить просто, внятно и конечно же единым разом. Оно и рубить-то нечего, ниточка. Но был он несобран. И думал бог знает о чем, о другом. И вот речь пошла вихляться сама собой:

— Лида... Нам ведь и встретиться негде. Товарищ мой никуда не уезжает, а где же нам еще? Я звонил ему, спрашивал (разумеется, Ключарев никому и не думал звонить) — а он говорит: нет, уезжать не собираюсь. Еще и похихикал надо мной.

Лида молчит.

— Конечно, могу приехать к тебе в общежитие, но... Опять эти разговоры. Эта неловкость. Эти пять человек в комнате... Мы даже не поговорим толком, Лида.

— Давно ли ты стал таким щепетильным?

— Во всяком случае, я изменился.

— Поумнел, да?

— И это есть.

Лида на миг примолкла. А затем снова:

— Вот я и закончила институт... Неужели тебе не хочется встретиться со мной? Узнать, как меня распределили. Куда дают направление.

— Расскажи все это по телефону.

— Расскажу, когда увидимся.

— Перестань злиться. А то, ей-богу, повешу трубку.

— Я буду звонить тебе домой.

— Уж не думаешь ли ты меня напугать?

Говорил он и правильно, и жестко, но обрубить не обрубил. Несобран был и потому не нашел момента. А Лида тем более разговора не выдержала — озлобленность не ее черта, не ее свойство. И, конечно, держаться не смогла. Заплакала:

— Витя... прости меня. Но ведь я через несколько дней уезжаю. Совсем уезжаю из Москвы...

Она торопилась сказать, слышно было ее дыхание:

— Мне ничего не надо. Ничегошеньки... Я только хочу тебя увидеть.

Разумеется, он ей не слишком верил. У него достаточно опыта, чтобы уловить всю непростоту этой характерной интонации: «Мне ведь важно. А что тебе стоит?» — и оттенки этого «ничегошеньки не надо» (отчасти именно деловые оттенки!)... Ведь три года прошло, как не виделись. Даже нет, четыре. Лида была студенткой второго курса. Тогда же началось, тогда же и кончилось... Но если слышишь это «ничегошеньки» и сам понимаешь, что решительный момент разговора упустил, не собрался, то ничего не остается сказать, кроме — и Ключарев сказал:

— Я постараюсь, Лида... Что-нибудь придумаем... Да. Да. Да.

А это вечер, после работы. Ключарев дома. О том вчерашнем разговоре с Лидой он и не думал, не вспоминал... Он занимается с Дениской — дает ему дополняющие решения. Ключарев устал, ему не хочется; но не позанимаешься с сыном сейчас,— лишь расслабишься и обленишься на будущее. А заниматься после перерыва всегда вдвое тяжелее. У повседневности свои законы.

Они уже заканчивают первое дополнительное решение, когда раздается звонок Лиды.

— Значит, мы не встретимся?

Ключарев не сразу понял, кто это звонит. Не вспомнил.

— Ну почему же,— он уже понял и вспомнил и отвечает спокойно,— встретимся.

— Когда?

Лида раздражена, это ясно. «Встретиться нам не хитро — прощаться мы не умеем»,— отвечает Ключарев машинально. Он продолжает вглядываться в задачник, по инерции вникая в условие. На секунду он прислушива-

ется к шагам жены — она где-то рядом. Дениска продолжает решать... А Лида взвинчена. Она прекрасно понимает, что домой звонить нельзя, не нужно, неразумно, и это-то взвинчивает ее еще больше.

— Наш Курбасов видел тебя с какой-то мымрой на улице Горького,— звеняще чеканит Лида.— Так это была твоя жена?

— Нет. Это была жена Курбасова.

Ключарев шел по Горького с секретаршей, случайно шел, но не объяснять же. Он сдерживается. Лида на напоре, слова летят. Но едва ли ее хватит надолго, напор быстро истощает говорящего...

— Мне нужно тебя увидеть по делу,— говорит Лида вдруг.— Ты мне не нужен. Ты мне нужен только по делу.

— Я догадывался.

— По делу. Хорошо?

Ключарев морщится, но думать уже поздновато:

— Хорошо.

Слышны шаги жены. Ключарев чувствует, что эти шаги слышит и Лида — она вдруг начинает торопиться.

— На нашем прежнем месте,— говорит она.— На том же самом. Хорошо?

Это у станции метро — и довольно далекой. Ключарев секунду колеблется, но выбирать и обсуждать — в этом уже будет нечто нарочито спокойное и холодное. Он спокоен внутренне, ну и достаточно.

— Договорились,— ставит Ключарев точку.

Но тут же добавляет, и это уже с небольшой укоризной:

— Расставаться, Лида, надо по-хорошему.

— Что? Я не поняла...

Денис уже записал решение и разглядывал отца. Лида — на том конце провода — прощается, торопится и вешает трубку. Ключарев тоже кладет трубку. Он не выпускал из рук задачника, теперь он вглядывается в текст и начинает зачитывать новое условие. Дениска синхронно берет авторучку — уже пишет.

Жена приоткрывает дверь.

— Наташа звонила? — спрашивает она, имея в виду свою подругу (точнее сказать, их общего друга — друга дома).

— Не Наташа... Да так,— машет рукой Ключарев.

Некоторое время он сидит молча, отключенно.

Дениска спрашивает:

— Тебя чем-то расстроили, папа?

— Давай занимайся! — резко говорит Ключарев.

После ужина Ключарев помогает готовиться жене к отчету. Дети спят. Тишина... Наконец чай. У самовара я и моя Маша. Но сегодня чай получается молчаливый, речь вялая — усталость к концу недели.

Ключарев ставит пластинку, послушать что-нибудь мелодичное — это будет, пожалуй, к месту и неплохо и сотрет некоторую нечисть нынешнего дня. Жена рассказывает, что недавно звонила Анечка — сестра Ключарева. Она живет в Химках, но видятся они не часто, хотя родной человек.

— Кажется, мужа Анечки все-таки положат на операцию... Анечка сказала, что очень боится.

Ключарев понимающе кивает. Он любит сестру. А дело уже давно шло к операции.

Утро с солнцем, пестрое... Лида пришла раньше — Ключарев, выйдя из метро, сразу же замечает ее у будочки «Союзпечати». Три года не видел. Время изрядное. Лида стала как-то меньше ростом, маленькая среди толпящихся людей,— но лицо по-прежнему привлекательно, более того: лицо, глаза, фигура, все то, что называется обликом, кольнуло вдруг Ключарева... Лида тоже оглядывает его быстрым, мгновенным движением глаз. Оба они одеты друг для друга непривычно, незнакомая одежда, даже портфели уже новые — и только лица. Старое в новом.

Он и она быстро идут навстречу — Ключарев целует ее. Секундное замешательство. И теперь с полуметра только лицо, то самое. Прежнее.

— Значит, так... В субботу выпускной наш вечер. Ты приди,— говорит она, первая возвращаясь на землю и к настоящему дню. Оно, положим, Ключарев вернулся первым, но ждал, пока вернется она.

— Это и есть дело? — спросил он.

Лида начинает бегло объяснять, фразы, видимо, подготовленные — тема не совсем проста, щекотлива.

— У меня есть возможность остаться в Москве. Меня берут на работу. Но нет прописки... И кое-кто пообещал меня прописать. Не из уважения, конечно, ко мне.

Ну, ты понимаешь... В общем, им надо дать деньги.

Ключарев кивает: понятно.

— Они просят за прописку четыреста рублей. Сто у меня есть.

— Я должен достать триста рублей?

— Да. Я скоро отдам... Как только смогу — отдам. Ты не волнуйся за это.

— Я не волнуюсь.

Ключарев не волнуется. Нечто подобное он предвидел, хотя и не знал, как это будет конкретно. И ясно, ей хотелось сказать ему об этом не у входа в метро, не на бегу, а, скажем, за рюмкой вина, в уединении и в тепле. Но ведь не беда, ведь и на бегу неплохо сказалось... Так и есть. Сначала любовь. Затем перевес постели. А затем — три года спустя — уже деньги, деловые вопросы. Падающая кривая отношений мужчины и женщины. Оно, допустим, ему теперь и грустно, и больно, но зато теперь-то полная ясность. Если уж о деньгах зашла речь.

— Но нужно срочно. Очень срочно. Ты понял?

— Понял, Лида.

— Привезешь в субботу?

— Постараюсь.

— Приезжай. Я жду... Не то чтобы буду ждать, а жду.

Она говорит энергично, вся деловая с ног до головы. Что ж. Помогай тебе бог. Бог как раз деловым и помогает.

— Да-да. В субботу... Привезу... Я же пообещал,— размеренно кивает и отвечает ей Ключарев.

Деловая сторона заканчивается, а с ней и весь разговор. И это первый раз за все время их отношений они говорят о деньгах. Если Лида и не знает об этой самой падающей кривой, то уже наверно чувствует. Женщина. Должна почувствовать к концу встречи. Так и есть: щеки порозовели, глаза напряжены.

— Пока.

— Пока, Лида.

В отделе денег, разумеется, ни у кого не достанешь. Ну трояк, ну пять, но ведь никак не больше. Значит, в обеденный перерыв,— и Ключареву уже как бы подсказывается,— значит, достану в обеденный. Попробую. Через Наташу Гусарову, через друга дома.

Наташа работает в смежном отделе, и в обед Ключаре-

ву ничего не стоит поймать ее у входа в столовую — она, то есть столовая, для отделов общая. И вот он уже поработал, и уже обед, и он ждет у входа.

— Деньги? — и Наташа смеется.— Маленькие мужские тайны, а?

— На маленькие мужские тайны не берут по триста рублей.

— Триста? Ого!.. Замашки у тебя что надо!

Ключарев и Наташа перекусывают стоя — у стола с бутербродами и соком.

— Жене не говорить? — подсмеивается Наташа, доставая из сумочки пятьдесят рублей. Пять ровненьких красных бумажек, у нее всегда есть деньжата на какую-нибудь покупку.— Так что? Не говорить жене? — смеется.

— Как хочешь.

Ключареву безразлично. Не станет он ни сочинять, ни выдумывать. Собирает для старой знакомой деньги по ее, можно сказать, настоятельной просьбе — разве не так?

— Ты сходишь к Володику Зарубину,— разрабатывает Наташа план добывания остальных денег.

— А ты?

— А я сбегаю к Хоттабычу.

— Он разве близко работает?

— Через дорогу — в большом корпусе. Ты не знал?.. А там же рядом и моя Верушка работает. Рублей сто пятьдесят я принесу. Это наверняка.

Она на секунду задумывается:

— А дальше?.. А дальше, если не обойдемся, я слетаю еще к кой-кому...

И уже понятно, что к концу обеденного перерыва, а в крайнем случае к концу дня, сумма будет собрана.

Ключарев дожевывает бутерброд. Наташа допивает из стакана — красивые губы, красный томатный сок,— и опять она смеется. И говорит уже с каким-то восторгом:

— Я все равно Майе донесу, что ты деньги собираешь. Если даже умолять будешь, донесу. Женская дружба — ты этого, Ключик, не поймешь. Ты мужик, что с тебя спрашивать. Не поймешь!

Ключарев слушает ее вполуха. Он ценит Наташу, красивую, находчивую и умелую, ценит ее компанию, но слушать, как она говорит о женской дружбе, это уже что-то лишнее.

— Но ты дослушай. Не спеши. Я и Майя пошли как раз покупать обувь — моему мальчишке и твоему Денису. Очередь была ужасная...

Ключарев кивает. И, между прочим, думает, что, если б не Наташа, пришлось бы занимать деньги у Ивана Серафимовича, у начальника. Три сотни не шутка, зачем вам триста рублей, Виктор?.. И пришлось бы шутить, что приезжает к нему, Ключареву, теща на постоянное жительство, а наемные убийцы в наши дни совершенно зазнались и берут немыслимые суммы. Иван Серафимович обожает шутки о тещах и их мучительных кончинах.

До конца рабочего дня час, что ли. Может, и полчаса. Тут уж как не подумать о чем-то. О том, например, что бегать и собирать деньги Лиде — это как раз оплата прошлых тихоньких радостей. Как же иначе, мы вам, а вы нам. И уж если честно, то он мог наперед знать из опыта, что эту плату когда-то придется платить.

Вот именно. Платить... И уж само собой, очень мы бываем недовольны, когда этак годика через три Лида, или, скажем, Инна, или, наоборот, Петя вспоминают нас, звонят и говорят: собери-ка, дескать, в знак старой дружбы мне рубликов триста взаймы,— ей-богу, позарез нужно. Или достань дубленку. Или устрой в вуз племянничка. Такой дуб растет, ей-богу, не знаю, что будет, если ты в вуз его не устроишь... Или проще: не вспомнить ли, дескать, нам старое, однажды вечером, с винцом,— да нет, без причины, просто хочется все это вспомнить, а несколько позже, когда уже вспомнишь,— про племянничка, триста рублей или дубленку. Как бы между прочим. И все голосом тихим; как говорится, поэтично.

Или вот. Володик Зарубин рассказывал. О том, как со своей первой любовью встретился. Жена с сынишкой как раз на лето уезжала, вот он и встретился, пригласил, вино два дня выбирал. Ключарев спросил: «Что ж ты грустный, Володик? Или не понравилось?» — «Понравилось. Вот только она пластинки все унесла».— «На память, что ли?» — «Говорит — да».— «Неужели все забрала?» — «До единой. Как цыганка. Вместе с коробками. Оставался уже только Робертино».— «Лоретти?» — «Ну да. Говорю ей: он у меня переросток, уже осипший, голос потерял... Ничего, говорит, в этом, говорит, даже особый драматизм есть. Взяла».

Оно Володик и приврать горазд. Шутник. Да ведь и не совсем же шутка... И он, Ключарев, с Лидой ведь тоже почти предвидел. То есть когда только начиналась эта любовь — скрытная, тайная, с телефонным шепотом и оглядкой, с худосочной поэзией четырех чужих стен, постели и двух бутылок вина на столе,— он ведь уже тогда знал, что все это нормально, стандартно, в точности как у других, и что эти-то нормальность и стандартность где-нибудь ему аукнутся. Без особой боли, грубенько, но аукнутся.

Так что тут даже соответствие. Такая плата. Такая и любовь была. Начинаешь и уже наперед знаешь — игра... то есть конечно же оно тоже человеческое, наше, что-то ты получаешь и утоляешь, и даже душой свежеешь, но ведь игра. И ходы наперед. Оно сначала-то ты распахиваешься, рвешься и будто бы даже в море — как же без этого слова! — в море зовешь, и уж конечно, в открытое и, конечно, с волнами. Но проходит некоторое время, и уже держишь лодочку ближе к берегу. Во-первых, аккуратность — «надо нам быть начеку, зачем нам всякий шум и домыслы?» — затем упорядоченность, два раза в неделю, можно и раз, по пятницам. И больше-то всего боишься, что, скажем, не выдержит она игры, влюбится слишком, вспыхнет, и тут уж приходится сдерживать. Не надо, лапочка. Не нужно, лапочка. Ни к чему, лапочка... Да она ведь, лапочка, к счастью, сама настороже, ум на стреме, и сдерживать, в сущности, ее не приходится, потому что озабочена она, как скоро выясняется, одной-единственной и очень трогательной мыслью: как бы ты не влюбился слишком.

И вот. Смеются над командированными — ребятки, приехав в деревню, или на какой-нибудь пляж, или в поселок, с первого же дня смотрят на местных женщин, как голодные средневековые солдаты. А ведь, в сущности, не смеяться, сочувствовать им надо. Ведь бедняги. Ведь намучались они с боязливенькой стандартной любовью, скрученной и сидящей в телефонном шнуре. Оно ведь и воли хочется. Оно ведь и луг зеленый тоже бывает. И камыш колышется. И чтоб оглянуться и лошадей на опушке увидеть.

В Старом Поселке их звали чокнутыми. Жили они в седьмом бараке — в комнатушке их было трое. Трое



работяг, которые говорили исключительно о женщинах. О женщинах, а все остальное в жизни было для них малость и глупость. После работы они пили пиво, играли в карты (домино Ключарев не видел ни разу), курили без передышки и говорили о неземной своей любви.

Был среди них Баев, приехавший сюда на стройку следом за «своей». Он любил ее «сызмальства» — она приехала сюда с мужем, а Баев за ними. Он почти следом ходил за ней, был чаще других бит, предупреждаем — все напрасно.

— Как увижу я, братцы, глазки ее голубенькие! — говорил Баев, шлепая туза козырем, говорил молодцевато и одновременно со слезой.— Как увижу, и ничего мне больше не надо!

А напротив него сидел почти совсем облысевший Бахматов — этот был другого сорта, сорокалетний, хищный, ненасытный и себе на уме. Он уже сменил трех жен, но все было «не то». Не везло ему. Бахматов ничуть не отчаивался и свято верил в свою звезду:

— Найду я ее, ребята. Найду... Любовь искать надо. Она одна-единственная. И только твоя, как твоя судьба.

И он улыбался острыми глазками:

— Она, моя козочка, еще где-то прыгает... Она ж еще не знает, что я ее судьба.

Третьим, и самым интересным из чокнутых, был Челомбитько, нежный, мягкий, задумчивый, влюбленный в «свою», как сраженный наповал,— она была замужем и была удивительная красавица... Как-то Ключарев-мальчик шлялся всю ночь на реке и вернулся под утро. Небо только-только светлело. Метрах в ста от барака, на бревне, сидел Челомбитько, посасывал папироски и смотрел на окно «своей возлюбленной». Видно, всю ночь сидел. Он сидел, как вырезанный из дерева, неподвижный, худой, с ввалившимися щеками — и Ключарев дико присвистнул ему. Тот молчал. Ключарев еще свистнул.

И как раз проснулся барак.

— Сашук!.. Федотов! Эй, Сашук!— тоненьким фальцетом раздались женские голоса в бараке. Две-три женщины, как обычно, забывали, когда им на работу — утром ли, в обед ли... На их крики, как всегда, вышел Сашук Федотов, сорок пять лет, грузный, рослый. Старший механик.

— Ну вы, чертовы ведьмы! — ворчал он, протирая заспанные глаза.

Женщины гомонили вокруг, а он стоял, как спящая копна, огромный.

— Ну чего разбудили? Расписание вам сказать?

Он всегда и все знал о сменах. И вот вынул записную книжку, засаленную, большую и пухлую, как сам Сашук. Затем столь же медленно вынул очки.

— Та-ак. Второй цех... Утренние и вечерние смены. Та-ак...

Барак проснулся, и Челомбитько встал, поднялся с бревна. Ключарев-мальчик не успел среагировать, и Челомбитько наткнулся на него. Ясное дело, он понял, кто подсвистывал ему из кустов.

— Опять шляешься? Чем у тебя только голова заполнена,— сказал Челомбитько.

Ключарев загнал щепу в ладонь, вынул ее и теперь отсасывал из ранки кровь.

— Как там Клава? — по-деловому и не без мстительной нотки спросил Ключарев-мальчик.

Челомбитько промолчал... Клава, вышедшая замуж за Двушкина, за того ревнивого краснопомидорника, не померкла в глазах Челомбитьки, даже когда родила и вроде бы надежд оставалось мало. Не померкла. Может быть, даже новым светом засияла, кто знает?.. Но затем Клава опять родила, и на этот раз двойню. И почему-то именно то, что двойня, угнетало Челомбитьку. Тут был комический элемент, что-то излишне реальное и здоровое, а это так не шло к его грустной и, как он говорил, вечной любви. Раньше Двушкины — несколько родичей — не раз грозили Челомбитьке, бывало, и колотили. А теперь нет. Теперь в Поселке с восторгом говорили о двойне и о том, какой все-таки Двушкин молодец мужик. А Челомбитько с его печальными глазами был просто забыт. Или — при случае — высмеян.

И вот Челомбитько погасил папироску, вздохнул и сказал сам себе:

— Мотать отсюда надо.

Ключарев спросил, все еще отсасывая кровь из ладони:

— Куда?

— Да мало ли... Сейчас в любом городе строят.

И добавил, прошептал еле слышно:

— Мотать надо...

Но не уехал. Так и жил. Лишь много лет спустя Ключарев узнал, что Челомбитько сделался психически болен.

И вот суббота. С утра Ключарев протирает окна. Он добросовестно трет, развинчивает рамы и затем трет стекла изнутри. С высоты пятого этажа он замечает Аникина, жильца из второго подъезда,— это интересно, а протирать окна становится уже скучно, и Ключарев кричит жене:

— Майк!.. Аникин в гости идет — поставь кофе.

Майя готовится к отчету, и ей, само собой, лень.

— А тебе жалко?

Но Аникин, возможно, и не зайдет — он стоит около длинной вереницы собственных «Москвичей» и «Волг», там обычно играют дети, и что-то объясняет своей Любочке. Хроменькую Любочку — она в возрасте Дениски — дети не желали принимать в игры. А почувствовав в этом сюжет и вкусив интерес, больно поддразнивали. И однажды бедняга Аникин с рвущимся сердцем выбежал из квартиры и раза два шлепнул хорошенькую Олю Бажанову. Благопристойный кооперативный дом взбурлил. Одни видели в Аникине злодея, другие, понятно, защищали. Было и собрание. Ключарев не пошел. «Но душой ты, конечно, Аникина защищал? — спросила Ключарева жена.— Я угадала?»—«Угадала». — «Ну ясно. В любимом твоем Старом Поселке, вероятно, порка была как баня. Не реже раза в неделю, да?» И он даже не стал ей тогда отвечать, промолчал.

— Майк!.. Ну поставь кофе.

— Поставила, поставила... О господи.

— А спиртное что-нибудь есть? — Ключарев заканчивает протирать раму.

— Откуда?

С того дня Аникин и стал иногда заходить к Ключареву. Оказалось, что у него в прошлом тоже есть свой Старый Поселок — назывался он по-другому, «Пятый километр», но суть та же. И такая же ностальгия, такая же тяга туда, несбыточная, разумеется. Усядутся оба, пьют кофе, пьют вино, и до чего ж приятно поговорить.

— Привет! — Ключарев, высовываясь из окна, машет рукой приближающемуся Аникину.

— ...Входи... Входи! — Ключарев впускает его. И тут же моментально бросает тряпку и моет руки.

Аникин, как всегда, несколько смущен:

— Я вот с Любочкой ходил в театр... «Синяя птица»... Как это, ей-богу, замечательно. Хлеб, Огонь, Вода — и так верно нацелено на простые человеческие отношения. Замечательно!

Аникин говорит и улыбается, теплеет:

— Мне очень понравилось. И я подумал, что вам с Дениской тоже понравится. Я даже купил вам два билета.

— Купили? Это очень хорошо!

— Рискну, думаю... И купил. Это на завтра.

Ключарев усаживает Аникина — кофе на подходе. Ключарев не сразу начинает о Поселке, разговор придет сам собой. Да, Синяя птица — это полезно. Ключарев рассказывает, что как-то Дениска пришел с улицы несправедливо обиженный. Так сказать, проигравший и побежденный, и не важно, какая была игра. Тогда Ключарев стал объяснять сыну, что если победители несправедливы были, нечестны, нехороши, то все ясно. И переживать не стоит. Но Дениску это не устроило. «Вовсе нет, папа... Ты не о том, папа. Ты ничего не понимаешь. Ты брось-ка эти отжившие глупости, а лучше научи-ка меня выигрывать. Мне не слова объясняющие нужны, мне, папа, выигрывать нужно» — примерно так он и сказал, в переводе с детского.

— Жизнь — это жизнь,— задумчиво говорит Аникин.

Разговор приближается к своей вершине. Вот она. Ключарев и Аникин прихлебывают из чашек и неторопливо говорят о том, как хорошо сейчас в Старом Поселке и на Пятом километре.

— А какие люди... А какая там любовь!

А ближе к вечеру Ключарев собирается ехать — передать деньги Лиде,— он объясняет жене:

— Да так. Одному человеку... Старый знакомый.

— Или старая знакомая?

— Или знакомая,— соглашается Ключарев.

И поясняет:

— Я занял для этого человека. И этот человек им вер-

нет. Я только передаточное звено — так что нас денежный вопрос не касается.

— Я поняла,— говорит Майя.

И призадумывается. Деньги напомнили о деньгах, это естественно.

— Сходил бы ты к Рюрику, а?

— Схожу. Как-нибудь.

Ключарев почти готов — он уже оделся.

— Но ты не поздно сегодня вернешься?

— Когда я возвращался поздно?

— Смотри, а то я тоже заведу,— и Майя смеется веселым смехом верной жены.— Тоже заведу кого-нибудь...

У дверей она опять говорит:

— Попроси у него статью завтра. Не откладывай, а?

Ключарев время от времени подрабатывает рецензированием научных статей. «У него» — это у Рюрика. Не у того, конечно, Рюрика, который воинственный варяг с багровым мечом, а, наоборот, у того, который (как бы в насмешку) скучнейший и мертвейший человечек. Просить у него статью для рецензирования — унижение. То есть Рюрик делает огромное благо, давая Ключареву статью. Мог бы и не дать. А дать, скажем, эту статью другому.

— Так ты сходишь завтра к нему? Обещаешь?

— Да, да! — быстро и бездумно соглашается Ключарев. Он уходит. В метро оказывается какая-то группка людей с гитарой. И кто-то поет. И даже с голосом, не только с сердцем. И тут Ключареву становится не по себе от их лирики. Он машинально ощупывает в кармане пачку приготовленных денег, плату за эту самую лирику, и лицо его делается кислым, желчным.

Ключарев вошел в институт, где учится Лида, точнее сказать, где училась. Он бывал здесь раньше. Когда-то. Сейчас здесь нарядно. В фойе висят разноцветные шары, гирлянды флажков и тому подобное — похоже на Новый год, но без елки в центре. Лето за окнами.

— А где же это, как ее... торжественная часть?

— Опоздал. Кончилась! — отвечали ему радостные голоса.

В просторном фойе уже танцы, гремит музыка. Клю-

чарев неторопливо заглядывает и туда, и сюда, и к буфету, и понятно, что не так уж ему весело,— прошло мое время, уже другое время, другие песни,— и тут на него налетела стайка из пяти девушек, среди них Лида.

Они как бы сталкиваются, и Лида бросается к нему:

— Вот ты и пришел, я же знала, знала!

Она радостно бросается к нему, целует. От нее слегка пахнет шампанским. Подруги некоторое время наблюдают, затем отходят в сторону.

— Вот и пришел, вот и пришел! Мне еще бабка говорила, что я счастливая!

Счастливая или нет, но уж точно, что она и нарядна, и свежа, и красива. И очень восторженна. И ничего общего с тем телефонным существом, раздражающимся и надоедливым одновременно.

Тут она встрепенулась:

— Ой! Нам надо встретить ребят из Института стали...

— Подожди минутку. Я как-никак по делу.

— Я сейчас... Ну, Витя, пожалуйста. Я быстро.

И она, и подруги — они нетерпеливо уже манили ее пальцами — той же быстрой и блестящей рыбьей стайкой спешат куда-то к выходу.

Ключарев слегка удивлен. Разумеется, он и не думал, что она вцепится в эти деньги, но, уж во всяком случае, она должна была спросить: принес ли?.. Гремит музыка. Ключарев ждет. Он замечает ребят и девушек из той толпы, что и Лида. Да, это они. Лица знакомы, хотя и очень отдаленно, смутно. Он подходит.

— Лиду распределили вместе с нами... В Орловскую область! — охотно рассказывает Ключареву один из парней. Когда-то, когда любовь гудела, как паровой котел, а ночевать у Лиды вдруг оказалось невозможным (и уже была ночь, не уедешь), Ключарев ночевал у этого парня. Тот привел Ключарева в свою пахнущую книгами и носками студенческую комнатушку, и там уже спали трое: все было просто, в меру заботливо, и никто ни о чем не спрашивал.

— Хочешь выпить? — предлагает сейчас этот парень, и Ключарев идет с ним к буфету, где они пьют шампанское из бумажных стаканчиков.

— Нас четверо в Орловщину едет... А Лидка ждала тебя сегодня. Очень ждала.

— Что-то она не слишком ко мне спешит?

— Придет... Она ждала,— и парень называет число, поезд, даже вагон, в котором они поедут. И Ключарев переспрашивает, хотя прекрасно знает, что провожать не пойдет и даже не вспомнит о проводах.

— А не пытался остаться в Москве? — спрашивает Ключарев.

Тут подбегает Лида, запыхавшаяся, порозовевшая. «Пойдем! Ну, пойдем же!» — она тянет его за руку, и Ключарев не успевает даже кивнуть парню. Танцы! — Лида втягивает его в пеструю толчею танцующих, кладет руки ему на плечи и возбужденно повторяет: «Это о любви, Витя. Эта пластинка как раз о любви!» И Ключарев танцует машинально, несколько сбитый с толку, и шум, и музыка, и кто-то говорит: «Слушайте, вы не толкайтесь».— «Я не толкаюсь».—«Значит, я сам себя толкнул?» — и смех, и танец за танцем, и Лида сияет, радуется, счастливее ее нет. И тут наступает минута, когда Ключарев не выдерживает этого избытка, этой неожиданной перенасыщенности. И говорит: «Ты помнишь, о чем ты меня просила. Я принес».

— Деньги?

— Да.

И Лида — она потупилась, говорит смущенно:

— Витя. Ты только не сердись... Я ведь обманула.

— Не понял.

— Я хотела, чтоб ты пришел сегодня. Ты ведь не пришел бы, не придумай я насчет прописки и насчет этих денег. А ты правда их собрал? — и она боязливо, в ожидании правого гнева, который сейчас на нее обрушится, и в то же время с некоторой крохотной надеждой поднимает на Ключарева глаза.

Первую минуту Ключарев чувствует себя дураком. Одураченным. Хороши шуточки!.. Но вспышки не происходит. Кругом танцуют, смеются. Кто-то в танце, прямо на ходу шумно и гулко вскрывает шампанское, тянутся руки с бумажными стаканчиками и требовательные голоса: «Налей!.. Ну, налей же!» А Лида тем временем рассказывает, что эти года она без него по-разному жила. Тяжело жила. Плохо жила. Иногда — весело, но это не значит хорошо. И только в конце, совсем недавно, поняла.

«Только ты и я. Только это и было правдой»,— говорит она, и тут уж как не помягчеешь.

— Ты не жалей, Витя, ну что тебе один вечер... А я запомню.

Ключарев молчит. Танцы на время прерываются, и Лида предлагает, не дает состоянию прерваться:

— Идем к аттракционам. Это ведь интересно!

Ключарев идет. Он играет и даже выигрывает какую-то безделушку. Лида рада, смеется... Ключарев помягчел, вспышки уже не будет. Но теперь другое: он чувствует себя как бы неодушевленной частичкой ее вечера. Чем-то вроде цветного шара или флажка на гирлянде. Шар, чтобы радовать глаз яркостью, а Ключарев, чтобы вспоминать прошлое.

— А хочешь, пойдем бродить по нашим этажам?.. Вот здорово!

— Только не делай из этого поминок,— вырывается у Ключарева.

Лида не понимает:

— Что?

—Это я так... Глупость сказал.

Но она уже поняла. Или почувствовала.

— Я только побродить хотела... Только это... Я думала, интересно...

Она замолкает. Она с полуиспугом всматривается в лицо Ключарева, словно боится, что его образ, созданный ею, сейчас вдруг распадется на какие-то составные части... И где-то тут пробивает искра. Ключарев понимает, что для нее все это действительно значаще и никакая не прихоть. И, отступая перед чем-то более сильным, чем его собственная ирония, Ключарев говорит. И ровный голос не выдает его:

— Я думал, что лучше послушать песни. Разве нет?.. Смотри, круг собрался.

— Конечно! И ведь ты хорошо поешь,— тут же хватается Лида за соломинку, улыбается, счастливая.— Пойдем! — и она тянет его за руку, за собой, к поющим. Они садятся рядом. Ключарев обнимает Лиду за плечи, здесь все так тесно сидят. Гитара у Ключарева где-то под самым ухом. Поют хором во все горло. О том, как они уедут в далекие края, прощай, столица. Им видятся сейчас глухие деревни и непролазные дороги, хотя вернее, что они будут жить в чистеньких и сытых домиках районного центра. Но Ключареву не до иронии — это ж ясно,

что для них происходит сейчас нечто нерядовое и особенное. Он, Ключарев, уже никуда не уедет. Грустно. В чужом пиру похмелье. Но он еще посидит, попоет с ними. Еще немного.

Одну остановку он решил пройти пешком, по времени еще не так поздно. И теперь его тяготит, что обманулся, что слишком уж просто и ясно построил он модель деловой женщины, телефонной любви, или как там еще это назвать. И само собой, что возникает попытка обобщить: не много ли ты, дружок, настроил моделей, которые не оправдываются?.. Но Ключарев не успевает додумать. Не та еще минута. Да и сильный чувственный удар подстерег вдруг и парализует мысль — Лида, Лида, Лида... Ключарев идет пешком несколько остановок. И будто целый год он идет. Он не вспоминает давнее, ни ее слова, ни какие-то там особенные минутки, что вспоминаются иной раз по дороге с работы,— он не вспоминает. Он чувствует, что его любили. Вот это он чувствует. Он шагает привычно, с некоторой даже моторностью, а все нутро расслаблено и как бы плывет. И понятно, что в этот час ему кажется, что лучше Лиды у него никого не было и нет, прощай, моя радость.

Глава четвертая

С утра Ключарев думает о детях. Род. Сладость корней. Куда, говорит, ведешь ты свой род, человече?.. Да так, говорит, без особого направления. Но в основном, говорит, вверх. Куда же еще, если там мягче... Воскресенье — жена отсыпается. Изо дня в день она встает на час раньше Ключарева, чтоб кормить детей и разводить их. И теперь отсыпается.

— Идите в эту комнату. И давайте потише,— говорит Ключарев Дениске и Тоне.

Он забирает их и прикрывает плотнее дверь.

— А мамочка пусть себе поспит,— с готовностью делает вывод Тоня; только что с той же готовностью она собиралась стянуть с матери одеяло.

Ключарев по-воскресному вял, к тому же вчерашний эмоциональный перерасход. Дети играют. Ключарев смотрит на них. Тепло и уют семьи. И самотечность жизни

изо дня в день. И, в сущности, как далек этот самый Старый Поселок. И может быть, в эту вот минуту — ну вот сейчас — он смотрит на детей и вдруг моргнул глазами: в этот миг происходит окончательный отрыв... Вот именно. Дети этой связи уже и вовсе чувствовать не будут. Отрыв станет фактом — факт во втором поколении. И, пожалуй, неплохо, не без красоты и не без мысли, будет сказать, что основную перегрузку этого отрыва Ключарев принял на себя. А детки уже — топ-топ! — научные работники во втором поколении. И ни в какой Поселок, пожалуй, ты уже не поедешь и даже думать об этом, пожалуй, не станешь. Почему? А все потому же — вверх, детки, вверх! Там, говорят, помягче!

Вот именно. Веселенький топ-топ. И ведь верно — детям Ключарева уже и не видно, и не слышно своих корней. И, значит, не больно. И вполне будет им хватать походов, туризма-альпинизма и прочих заменителей и суррогатов живой жизни. Двадцатый век, ничего не попишешь. Ха-ха, век... Нда. Прадед был священником, деревенским попиком. Отец — прораб. А он, Ключарев-правнук, научный работник — классическая кривая, выбрасывающая, выносящая наверх забитые и темные деревенские души. И неужели же он, Ключарев, живет и радуется и даже мучается, чтобы лишь отыскать роль в этой скучной поступательной теории? Формальную, в сущности, роль... Оно понятно, есть в этом и кое-что греющее. Дескать, я — только начало. Первая ступень выносящей ракеты, не к воскресенью будь помянута. А вот, дескать, детки мои и внуки мои — вот уж они-то сумеют жить, творить и не мучаться мыслью, где их корни. А я только чернозем для них. Чернозем под тополь, куда как красиво.

Мысль не из плохих, но уж очень его, Ключарева, обезличивающая,— и он поскорее отмахивается.

— Эй, детвора!

И он добавляет с грубоватой лаской в голосе:

— Что скажете, научные работники во втором поколении? Как дела?

— Хорошо! — отзываются криком Дениска и Тоня.

— Ну-ну... Мать спит.

Он оглядывает детей, как оглядывают потомство,— вялость воскресенья.

— Ну? Рассказать вам что-то поинтереснее, да?

Тоня (в свои четыре года она быстренько разделалась с периодом сказок) выразительно смотрит: ждет.

— Папа,— спешит спросить Дениска на подхвате свободного отцовского времени,— кто первый придумал принцип дополнительности? Это ж гениальная штука.

— Это, Дениска, древний принцип. Старый. Он все время развивался.

— Ну, а кто первый? Ну, а все-таки?.. Кто этим принципом,—Дениска запинается, но лишь на секунду; отцовские речевые обороты уже прочно в его сознании,— кто этим принципом уже вполне владел?

— Ну, например, Декарт... Рене Декарт. Был такой хитроумнейший француз.

— Но, значит, он гений, папа!

— Так и есть.

Интересы детей разделяются. Дениска просит рассказать о Декарте. Четырехлетняя Тоня топчется на пройденном и старомодном. нудит, чтобы отец еще раз рассказал о космических кораблях и состоянии невесомости. Ключарев потягивается. Он не спешит и рассказывает детям и то и другое.

К обеду приходит Наташа Гусарова. Она и Майя, а Майя в халатике, выспавшаяся и веселая, начинают болтать — обе рады, женская дружба. Синее небо. Мелкие облачка. Но никогда никаких туч.

Наташа просит отпустить Майю к ней сегодня на вечерок — пусть Майя отдохнет в воскресенье, а Ключарев пусть посидит с детьми.

— С удовольствием,— говорит Ключарев,— но у меня «а» — Рюрик и «б» — театр с Дениской.

И Ключарев смеется:

— Берите все это на себя и заодно отдыхайте. Идет?

— Деспот!.. Домостроевец!.. Старопоселковский тиран! — сыплют словами и Наташа и Майя одновременно, им весело, обе хорошенькие и выспавшиеся, воскресенье их день.

— А к Рюрикову нельзя в другое время?.. И не зови ты его Рюриком, это ужасно,— говорит Наташа.— А нельзя ли к нему, например, завтра?

— Пожалуйста!

Но тут уж Майя спешит сказать сама:

— Нет, нет. Пусть идет... Я еле уломала его, в другой раз его не упросишь.

Ключарев поясняет:

— Деньги, Наташенька.. Тоненький, маленький, дохленький, но непрекращающийся денежный ручеек от Рюрика — для нас это важно.

Он глядит на часы:

— Кстати, мне надо поторапливаться. И хватит о Рюрике — не то мне станет так отвратительно, что я передумаю.

Он уходит в комнату переодеться. Женщины там, за стенкой, смеются, хохочут — и голоса у них в одной тональности, особенно при смехе, будто специально голос к голосу подбирались... Когда-то, лет пять назад, все началось с романа меж Ключаревым и Наташей Гусаровой. Скорее, романчик, а не роман, этакий коротенький, молниеносный и ни к чему не обязывающий. И забылось. Да и не знал никто. Зато они подружились семьями. А Майя и Наташа стали почти как сестры. И появился круг общих знакомых. Жизнь, она посильнее всяких там мелочишек. И правильно... Чертов Рюрик! Уже как зубная боль. Надеть белую рубашку, к нему иначе нельзя. И подумать только, что надеваешь свежайшую рубашку не ради сына, с которым идешь в театр, а ради какого-то полутрупа, мумии (или все-таки ради сына, в конечном-то счете? в денежном?).

— Прости, прости! — в дверь заглядывает Наташа, видит голого по пояс Ключарева и не входит.

Говорит через дверь:

— Если не сегодня, то давай мы завтра сходим с Майей в кино. На японские фильмы, а?.. Отпусти нас, Ключик!

— Да пожалуйста... О господи!

— Чего ты такой злой?

— А чего мне не быть злым?

— Ну ладно, ладно... Так ты смотри: ничем завтрашний день не занимай.

Наташа идет к Майе, и слышно, как Майя ей говорит:

— Достанем мы билеты?.. Там уже четыре дня аншлаг.

— Достанем,— и Наташа садится к телефону, слышно, как затарахтел диск. Она звонит знакомым, по кругу —

одному — другому — третьему... Эти достанут. Наташа даже в рай достанет билеты, если только он есть и если по цене они будут хоть мало-мальски доступны. Наташа звонит, и кажется, что от ее легкого голоса трогаются с места люди-колесики и — шестеренка за шестеренкой — приводится в движение некий невидимый, но хорошо отлаженный механизм, который конечно же достанет любые билеты.

А настроение Ключарева портится. Чем ближе минута общения с Рюриком, тем он становится мрачнее. Он уходит из дому молча, чтобы случайно не сказать грубость Майе или Наташе.

Он пересекает проспект — сворачивает налево... Самое неприятное — это, конечно, беседа с Рюриком, затяжная и прямо-таки парализующая Ключарева своей пустяковостью. Например, о любимом цвете. Или о том, что кофе действует мгновенно, а чай в течение часа. И без беседы нельзя. Рюрик не может без беседы. А в конце Ключарев, потея и пряча глаза, скажет:

— Коллега (Ключарев ненавидит это обращение, но Рюрику оно нравится)... Скажите, коллега (надо повторить!), как там у нас в журналах!

— А что? — спросит Рюрик раздумчиво.

— Нет ли статей интересных?.. Понимаете, у меня вдруг оказалось много свободного времени. И, разумеется, если статьи будут достаточно интересны, я могу их взять на себя.

Рюрик выслушивает и задумывается. Обладай он юмором, ну хоть в зачаточном состоянии, Ключареву вполовину было бы легче. Еще только встречая Ключарева в дверях, Рюрик мог бы, смеясь, пожать руку и спросить:

— Что?.. Опять на мели? За статьей небось явился?

Или:

— Что, Витя, не можешь наскрести на подарок учительнице?

И Ключарев бы тоже в шутку сказал:

— Да. Конец учебного года... Не отправишь же Дениску с пустыми руками. Хотя бы цветы...

Но всего этого не будет. Рюрик встретит Ключарева в дверях сухо и чопорно. Как учитель ученика. Как благотворитель просителя, потертого и обшарпанного. А за рецензию, за эту ночную или вечернюю нелегкую работу,

отдел Рюрика заплатит — смешно сказать — треть цены. Треть, потому что выполняет внештатный работник, и весь сыр-бор вот за эти-то гроши и идет. Ключарев побеседует, отмучается и наконец принесет статью домой. Жена встретит ласково, это верно. Майя знает, что ему у Рюрика было несладко, но глаза ее тем не менее радуются, сияют,— и надо сказать, по-своему она права, и у Ключарева иногда хватает духу понять эту ее правоту и не злиться. Но чаще он швыряет выпрошенную статью на стол, вытаскивает курево и, постанывая, двумя-тремя сигаретами подряд глушит только что пережитый стыд.

Ключарев звонит — Рюрик открывает дверь.

— Ах, это вы... Здравствуйте,— Рюрик всматривается, он всегда узнает Ключарева с трудом.

— Как ваши дела? Как здоровье? — бодренько спрашивает Ключарев... И все начинается. Ключарев проходит в комнату, думая про себя, что, если бы Рюрик хоть однажды предложил чаю, было бы все-таки не так мучительно.

А это уже театр, «Синяя птица». В антракте Ключарев и Дениска прохаживаются в фойе. Тут же с родителями и другие подростки. Дениска слегка форсит. Он моментально схватил смысл и дух этого неторопливого разлядывания портретов и прогуливания в фойе. И рассуждает. Негромко. Спокойно.

— Понимаешь, папа, если уж честно, то и Хлеб, и Огонь — это как-то притянуто.

— Почему?.. Это же образы.

—Я понимаю, что образы. Я даже понимаю, зачем они... Но ведь не плюс пьесе, если я угадываю цель сразу.

— Ну-ну. Только не форси.

— Но, папа, ведь это в точности как... как в школе. Как наглядные пособия.

Ключарев смеется:

— Ничего, ничего. Посмотрим, что ты запоешь в финале пьесы!.. Иди-ка пирожное купи. А то не успеешь.

Теперь Ключарев вышагивает один. И наблюдает за Дениской. Дениска стоит в очереди — вдруг вытирает лоб платком, мальчишке жарко. И еще раз вытирает, а это уже как бы для вида. Для естественности. Для сгла-

живания первого движения, которое было слишком натуралистичным и резким. Как, в сущности, рано вырабатывается жест...

Отец Ключарева был десятником на стройке. Затем прорабом. Затем на должности инженера, но чтобы расти в профессиональном смысле, нужно было учить новое. Делать это он мог только ночами. И вот на столе прикнопленный ватман, рейсшина, рейсфедеры всех мастей — дети засыпают, а отец чертит. Всё, разумеется, в одной и той же комнате барака. И курит отец здесь же... Надо полагать, отец был способный человек, но пошли беды. Время было послевоенное, голодное. Сначала попал в больницу брат Ключарева — Юрочка. И гас там, в больнице. Затем что-то случилось с матерью. С ее психикой. Тоже — в больницу. А отец все чертил ночами.

Однажды ночью маленький Ключарев проснулся — пришла тетка Маруся (тетка со стороны матери). И о чем-то говорила с отцом. Свет был крохотный, от лампы, обернутой в асбестовую бумагу. Ключарев с сестренкой Анечкой спали в одной кровати, головами в разные стороны,— и вот сестренка спала, а он прислушивался.

— С утра похороним... Я уж ходила. И место нашла,— говорила шепотом тетка Маруся.

Речь шла о Юрочке, Ключарев еще не знал, что брат умер.

— А ей уж и не знаю, как сказать,— шептала тетка, «ей» — значило матери, мать была в больнице.

— Скажи. Но только поосторожней,— проговорил отец.

— Ой, боязно!

Затем Ключарев видел, как отец вертел в руках бумагу — это был вызов из области, чтобы продолжать учение. Он вертел бумагу в руках, а тетка Маруся косилась на нее и шептала: «Брось, Брось... Порви ее». Фанатичное и жуткое было в ее шепоте:

— Порви. Прямо сейчас и порви... Увидишь, она выздоровеет. Сразу выздоровеет.

Тетка схватила руку отца и прижала к губам — лампа в асбестовой обертке еле-еле светила — на стене их громадные тени, и вот, прижимая его руки к губам, вся как-то припав к отцу, тетка Маруся шептала: «Рано... Нашему роду еще рано к пирогам лезть» —

было слышно ее дыхание из-под пальцев отцовской руки.

— Рано, ты понял?.. За нас свое дети возьмут. Понял ли — не лезь, оставь это детям.

Отец, видимо, порвал бумагу, потому что разговор их стал спокойнее. Они поговорили о том, нужен ли после смерти Юрочки еще ребенок или хватит этих двоих — то есть Ключарева и его сестренки. Тетка Маруся шептала, что теперь, когда бумага порвана и, стало быть, с дальнейшим учением кончено, не пройдет и пяти дней, как мать Ключарева поправится и выйдет из больницы. Мать вышла из больницы через неделю. К этому времени отец уже выбросил ватман, а рейсфедеры растаскали пацаны. Нет, он сначала припрятал, он еще надеялся — прошел год, и только тогда пацаны начали растаскивать.

Глава пятая

Ключарев помнит и другую ночь. И там уж вовсю участвовал дядька Ваня, бывший фронтовик, солдат, сам по себе целая поэма, в мажорном ключе.

Была ночь, и так же они спали головами в разные стороны — пяти и шести лет — Ключарев и его сестра Анечка. На другой кровати мать и отец. Тишина ночного барака. Лишь отдаленно негромкое тарахтенье швейной машинки... Вдруг громкий стук в дверь. И голос дядьки Вани: «Га-га-га-га»,— таким вот смехом он смеялся.

Отец встал, скинул дверной крючок.

Ввалился дядька Ваня и с ним какой-то застенчивый незнакомый парень (это был Челомбитько). Оказалось, что дядька Ваня подцепил его где-то в деревне и по широте своей натуры пообещал женить — и не на ком-нибудь, а на Клаве, первой красавице Старого Поселка. Весь сегодняшний вечер они просидели у нее. Сидели и ни в какую не уходили. «Отличный муж, Клавка... Отличный!» — уговаривал дядька Ваня. Но Клава отказала.

— И весь вечер ты ей надоедал? — спросил отец Ключарева, сочувствуя Клаве.

— До самой тьмы... И все равно отказала. Она говорит: он какой-то сморщенный. Г-га-га-га, — рассказывал дядька Ваня и хохотал, нимало не стесняясь сидящего здесь же Челомбитько.

— Может, спать будем. Ночь ведь,— ворчливо сказала мать с кровати. Она чувствовала, что дядька Ваня ждет закуску на стол, и сказала, что ни за что не встанет, детей не побудить бы,— а маленький конус света пересекал ночную комнату пополам.

Но дядька Ваня уже разошелся:

— Она говорит: сморщенный. А душа?.. У него душа, может, золотая! — он широко развел руками.— Клавка — дура. Не понимает. А я его слесарем сделаю. Я его в деревне подобрал, и теперь он мне друг...

И тут же он потребовал перекусить своему другу. И говорил:

— Ясное дело, в общем-то он заморыш... Но ведь и душа есть!

Сам Челомбитько сидел с печальным видом неудачника. Клава ему понравилась, на этих смотринах он прямо-таки обомлел — не ожидал увидеть такую красавицу,— обомлел, по его собственному выражению, на всю жизнь.

Дядька Ваня угомониться не мог — он стал щекотать мать Ключарева, она не выдержала, вскочила. Стесняясь, кое-как наскоро оделась. Так же наскоро и кляня дядьку, поставила на стол еды и водки. Отец Ключарева, человек мягкий, утешал Челомбитьку. А дядька Ваня ходил по комнате и бил кулаком в барачную стену — выдержит ли?

— Где же ему, бедному, спать? — мать Ключарева недоумевала.

— Да я... да я уж куда-нибудь... Может быть, в деревню уеду,— мялся Челомбитько.

— Никуда ты не уедешь! — отрезал дядька Ваня. После смотрин он собирался привести Челомбитьку к себе, но жена дядьки Вани резко воспротивилась, а спорить с ней было бесполезно. И вот дядька Ваня привел его к своим — к Ключаревым. Выпить выпили, но где же действительно его положить спать?

Собрали по углам старья и устроили его на полу. Дядька Ваня, чтоб жена не пилила, тоже заночевал здесь. Ключарев-мальчик уже засыпал, но в дверь опять застучали. Это была жена дядьки Вани, сам он уже мертвецки спал.

Отец Ключарева пробовал его разбудить:

— Жена зовет... Вань, жена твоя стучится.

— Кто?

— Жена твоя, Ваня.

— Да ну ее... Га-га-га-га! — И он опять заснул.

Утром дядька Ваня привел своего нового друга к чокнутым. Было их двое таких, стало трое. В их комнате — в самом конце барака — в мареве их бесконечных разговоров о «настоящей» любви Челомбитько прижился. «Красавица... Ведь какая она красавица!» — рассказывал он о Клаве и мог видеть «свою» Клаву теперь каждый день. И было уже не так важно, что Клава вышла замуж за Двушкина, за ревнивого и мрачного сварщика, увлекавшегося выращиванием помидоров круглый год.

На следующее лето дядька Ваня сделался «вольным казаком». Ключаревы уезжали в отпуск в деревню к бабке. Дядька Ваня изловчился и вместе с ними, то есть с родней, отправил на лето свою жену и дочек — хотелось отдохнуть от жены. Жена любила «изображать». При малейшей ссоре с дядькой Ваней она вопила на весь барак и падала в обморок. Однажды, не на шутку перепугавшись, кто-то из соседей окатил ее водой из ведра — она поднялась и долго охала, благодарила избавителя. А дядька Ваня сделал открытие. Как только жена падала в обморок и лежала с закатившимися глазами, он хватал ведро, начинал позвенькивать дужкой, и — чудо! — жена тут же поднималась на ноги. Ей вовсе не хотелось, чтоб кто-то опять влетел с ведром холодной воды.

— Подлец!.. Паразит! — кричала она. «Га-га-га-га!» — смеялся своим неповторимым смехом дядька Ваня. И так он позвенькивал каждый раз. И жена уже понимала, что ее разыгрывают, но все-таки «оживала» и поднималась на ноги: риск был слишком велик.

Оставшись летом один, дядя Ваня как-то возвращался с реки — он поставил на ночь перемет. Вечерело, лес дышал сыростью, и дядька Ваня бормотал себе под нос: «Летят утки... летят утки-и...» Вдали светились огоньками завод и Поселок.

«Черт! Человек это все же или дерево?» — думал дядька Ваня, вглядываясь в темноту леса.

Ветка хрустнула — и уже ясно было, что это не дерево. Но и не человек. А два человека. Дядьке Ване показалось неудобным пройти стороной: гуляешь — гуляй, а все же люди — и он шел так, чтобы пройти рядом с ними.

— Закурить дашь? — спросил один.

— А чего же.

Дядька Ваня вынул портсигар, еще военного времени, раскрыл. В темноте лица не проглядывались. Только брови чернели. И неуверенность рук, когда они потянулись за «беломоринами».

— А по две дашь?

Дядька Ваня пожал плечами:

— Берите.

И тогда один из них засмеялся, будто бы весело стало:

— А все?

— Ну-ну-ну! — сердито сказал дядька Ваня, отодвинул портсигар.— А мне что останется?

Второй шагнул ближе.

— А ну, не балуй! — крикнул дядька Ваня.

И тогда тот схватил его за руку, выворачивая кисть с портсигаром. Дядька Ваня оттолкнул его и стоял теперь чуть в стороне, всматриваясь в темноту вокруг. Нет, их было только двое, пустяки для солдата.

— А ведь собаки вы,— укоризненно выговорил он, а они подступали все ближе. Как по сигналу, один бросился ему в ноги, а другой сбоку ухватил за шею. Дядька Ваня затоптался, стараясь не упасть. Тот, который внизу, заплетал ему ноги, и дядька Ваня вдруг присел и с маху опустил свой страшный кулак на его спину. «Ы-ы-ых»,— как-то необычно выдохнул тот, затем закричал слабо и с болью в голосе:

— А-а-а... А-а-а...— как плачущий ребенок.

Второй, что пытался свернуть шею, понял, что он теперь один и что ему с дядькой Ваней не справиться,— он отскочил, вытащил финку, и та белой полоской — он размахивал рукой — мелькала над темной землей и травой. «Боится»,— подумал дядька Ваня и побежал на него, не так уж стараясь набежать, но звучно топоча ногами, чтоб напугать больше. Тот метнулся в сторону — исчез в лесу.

Тяжело дыша, дядька Ваня вернулся к лежачему. Он еще постанывал, но скоро затих. «Мать честная! Да я ему позвоночник перешиб»,— подумал дядька Ваня и присел над ним, трогая и легонько тормоша:

— Эй... Эй, очнись!

Лежачий был мертв. Ощупывая его, дядька Ваня наткнулся рукой на две папиросы, выпавшие из нагрудного кармана.

— Из-за дерьма-то какого? А? — сказал дядька Ваня, покачивая головой. И вот тут (вдруг осознав, что и точно из-за дерьма) он испугался. «Ну его к чертям. Иначе не миновать мне тюри»,— мелькнуло в голове, и дядька Ваня быстро зашагал к далеким огням Поселка, домой. На всякий случай он дал крюк. Свернул к реке и уже оттуда — к дому. С ровно и четко постукивающим сердцем вошел в барак. При свете оглядел себя — ничего, никаких следов. Он постучал к Сашуку Федотову. Как всегда заспанный, Сашук вышел с пухлой записной книжицей и начал вычитывать:

— Вторая смена... Крекинг-завод...

— Да не нужно мне это,— сказал дядька Ваня.

Сашук зевнул. Его обычно вызывали, чтоб узнать о своей смене.

— Я ведь не пошел перемет ставить,— сказал дядька Ваня.— Не захотел. Зябко что-то.

— Где ж зябко. Теплынь.

Дядька Ваня пошел спать. «Было, да прошло!» — думал он. И уснул довольно быстро и бездумно... Но не прошло. Он уже спал, как что-то вдруг толкнуло его. «Кто тут?» — спросил он со сна. И сел на постели. Никого не было. И тут он услышал за окном шорохи. Он встал и на цыпочках подошел. Окно было распахнуто — он на ночь не закрывал его, теплынь. Он увидел три силуэта. У одного была за спиной берданка. «Ах, собаки!» — чуть не вскрикнул дядька Ваня. Но молчал.

С бухающим сердцем дядька Ваня подкрался к окну со стороны. Приник к стене. Теперь он видел лицо в профиль, плечо, руку человека и небольшой нож в этой руке... В эту минуту человек встал на завалинку. И всматривался в темь комнаты. Больше всего дядьку Ваню поразило это его лисье спокойствие — дядька не выдержал и крикнул:

— Я вам покажу!.. Марья, дай топора! я вот сейчас...

Тот человек спрыгнул с завалинки на землю, и не спеша — не спеша! — они ушли. Дядька Ваня стоял, оглушенный собственным криком, и вглядывался в темноту. Ушли?.. И опять била та нехорошая дрожь. Тяжело ступая, он прошел к шкапчику и выпил водки — он не закусывал, он опаленно отдыхивался и трясущейся рукой вытирал губы. «Да что ж это я дрожу?»— удивился он самому себе. Раза два под окном слышался свист. Надо было бы

одеться, но сил не было. Так он и просидел с одеялом на плечах, пока не забрезжило.

Наутро ему стало стыдно своего страха.

— Ну что? Были? — спросил Сашук Федотов, когда шли на работу.

— Были.

Сашук покачал головой:

— Надо, может, мужичков кликнуть?.. Или, может, милицию позвать?

— Да будет тебе.

— Ну хоть давай я племяшу скажу. Он в милиции, при оружии, а придет просто как родич.

И тут дядька Ваня не выдержал:

— Не надо, Сашук. Ни мильтонов и никого других. Надо, чтоб все тихо. Я, понимаешь, убил... Из-за дерьма человека убил.

— Как убил?

— Да уж случилось...

Сашук Федотов внимательно выслушал и глубокомысленно сказал:

— Я ведь чувствовал, что ты где-то хвост им прижал. Я, правда, сначала на Зинку Тюрину думал... Ты ведь у нас хитер в этих делах...

— Какая, к черту, Зинка! — вспылил дядька Ваня.— При чем здесь она и они?

— И верно,— вздохнул Сашук.— Я как-то не подумал об этом.

Сашук устроил на работе так, что дядька Ваня смог поспать — за него подежурят часа два или три. Тут же, на ватнике, постеленном на широкую доску, прижавшись к стене и дыша соляркой, дядька Ваня лежал с полчаса. Но уснуть не уснул. Сел, поджал ноги и смотрел перед собой. «Бу-бу-бу»,— стучали компрессоры. А он смотрел перед собой и все обдумывал вдруг пришедшую мысль. Мысль была и проста, и хороша.

Но в завкоме ему сказали четко:

— Отпуск?.. Ты с ума сошел. Надо было раньше об этом думать.

— Раньше не раньше, а я уезжаю.

— Я те уеду! — закричал вошедший Калабанов.— Мы народ на лето распустили, планировали — ты понял? Работать кто будет?

— А ты поменьше на мотоцикле своем гоняй — вот и найдется кому работать! — И дядька Ваня хлопнул

дверью. Вышел. Ответить-то он ответил, и неплохо, но и уехать не уедешь, это тоже было ясно. Да и злость появилась — неужели испугался? Плевать он хотел. Не испугался их в лесу, не испугается и еще раз. Тут главное выдержка. И для начала дядька Ваня спокойно доработал свою смену.

Главное, было чем-то заняться до ночи. И не думать. Он оглядел удочки, но идти к реке на вечернюю зорьку и, значит, возвращаться ночью — нет, этого как-то не хотелось. И тогда он вспомнил Зинку Тюрину. А что? — тоже дело. Дома он хорошенько выпил водки и двинул к ее бараку. В груди разливалось тепло, дядька Ваня улыбался.

Он дошел к тому бараку, где жила Зинка с мужем. Надо было как-то ее вызвать, а березнячок — у речки — это ж совсем рядом. Бабенка это дело любила. Стоило мужику быть покрепче и лицом поглаже, глаза ее тут же выдавали ему всю правду.

Дядька Ваня прошелся мимо их окон и призадумался — как зайти, под каким видом? Муж Зинки, голубоглазый гигант слесарь, был человек доверчивый, с сердцем ребенка. И, понятно, ей верил. Однажды, когда Зинку накрыли с Дубининым, голубоглазый силач спросил, заплакал:

— Он изнасиловал, что ль, тебя?

— Ага. Ага. Так и было,— что еще могла сказать Зинка?

— Эх, горе горькое. А стыда-то сколько... Ладно, подавай заявление.

— Куда?

— В милицию... Или не надо? — удивился силач и снова заплакал.

Заявление подали, и Дубинин залетел на пять лет, не больше и не меньше — ровно на пятерку... Дядька Ваня еще раз прошелся под окнами. Немного поколебался. Но затем решил: «Небось второй раз ей в этом деле не поверят!» — и он вошел в барак, а затем стукнул в дверь.

— Здорово, слесарь,— сказал он.— Ты за грибами не ходил?

— Не,— сказал тот, выпучивая от неожиданности свои голубые очи.

Зинка молчала — чистила рыбу.

— А мне сказали, ты ходил. Брешут же люди. Ну, извини,— и дядька Ваня ушел.

Через три минуты выскочила Зинка.

— Мой все удивлялся,— заулыбалась она дядьке Ване.— Никогда, говорит, Ванюха ко мне не заглядывал, даже в праздники... А за грибами, между прочим, мой не ходил ни разу в жизни.

— Может, с тобой сходим? — набрав воздуху в грудь, решительно сказал дядька Ваня.

— Я?

— А чего ж. Сходим да наберем!

И дядька Ваня заиграл серыми глазами. И захохотал: «Га-га-га-га...»

— Какие там сейчас грибы! — фыркнула Зинка.

Это уж ее дело было такое — отказываться.

— Да тут они. В этом березнячке.

— Какие еще грибы... Скажешь тоже! — смеялась она.

— Да нам много их и не надо,— улыбался дядька Ваня.— Штучки три найдем и по домам. Если подряд, это ведь быстро. Часа не займет.

Она еще помялась и поломалась. «Ну только не сейчас. Завтра. Ближе к обеду... И чтоб не опаздывать. Раз уж уговор — значит, не опаздывать»,— сказала и повернулась. Ушла. Дядька Ваня, чувствуя в теле выпитое, провожал ее глазами. Эх, баба. Не понимает момента!.. До завтра еще дожить надо!

Но настроение было ничего себе — славное настроение. Он еще прикупил водки, набрал в запас еды, позвал к себе Сашука Федотова, и они вдвоем сели за обильный стол.

— Вот прямо тут к окну и подходили? — спрашивал Сашук.

— Прямо тут. Думают, у меня выдержки нет...

— Выпьем?

— Давай!

Выпили, и Сашук стал высказывать любимые свои мысли:

—Я всегда говорил, Ваня,— с семьей разлучаться нельзя. Вот не останься ты один, ничего бы не случилось. Верно?

Сашук продолжал:

— Семья — это как пашня. Тут надо пахать и пахать. Жена и семья — это все. Это в жизни самое-самое, Ваня!

Сашук всплакнул и протер глаза. Жена была от него

через три стенки барака, в пятнадцати, можно сказать, шагах, но ему казалось, что он сейчас один, а жена далеко, и потому он как-то особенно любил и жалел ее. Выпили за жену Сашука и вообще — за семью. Запели песню.

Через стенку им постучали — ночь уже.

—Цыц вы! — крикнул дядька Ваня.

Они стали петь потише, но зато уж пели вволю. Сашук сказал:

— Ладно. Я с тобой, Ваня, останусь... Встретим их как надо.

— А знаешь, какая у меня мысль, Сашук?

— Ну?

— Вот жду я их. Знаю, что придут... И смелости тоже хватает. А нет-нет и мысль приходит: им-то терять уже нечего, а у меня дети.

— Это правильно, Ваня. Это очень правильно. Семья — это самое-самое.

— А с другой стороны: сколько ж их можно бояться?

— Тоже верно, Ваня. Очень верно.

— Вот то-то и оно!.. Ну, еще песню?

Первым захрапел Сашук. Он как сидел на кровати, привалившись к стене, так и заснул — только голову свесил и такие рулады выдавал сдавленным горлом, что дядька Ваня несколько раз просыпался. И опять засыпал, сидя и мало-помалу со стула сползая... Голос среди ночи был очень ясный и все тот же — лисий:

— Или спишь, родненький?

Дядька Ваня тут же открыл глаза. Сашук похрапывал. В окне был виден темноватый силуэт человека.

— Не боишься, родненький?

— Давай, давай, собаки. Что случится, то случится,— и дядька Ваня встал.

Он двинулся прямо к окну, заводя кулак в сторону для удара. Тот не стал дожидаться — спрыгнул с завалинки. И теперь они маячили там, в темноте.

— Га-га-га-га! — захохотал дядька Ваня.— Что, собаки? Или боязно?

— А может, выйдешь к нам, родненький?— ядовито, но уже не так уверенно произнес голос.

Дядька Ваня схватил топор из угла и прыгнул прямо в окно. Те побежали в близкие кусты, он за ними. Он уже настигал и, сжимая топорище, замахивался для удара — и тут бахнул выстрел. Почти в упор.

Те убежали. Была тихая и звездная ночь. Дядька Ваня, придерживая живот, полный самодельной крупной дроби, постоял, как бы подумал, затем поднял топор, который он выронил после выстрела,— и вот так, прижимая топор к животу, согнувшись почти вдвое и скрипя зубами от боли, вернулся домой.

Он сел на стул и позвал:

— Сашук.

Тот спал, похрапывал.

Дядька Ваня посидел молча, затем стал бранить себя:

— А еще солдат называется. Выдержки не хватило. Дурак...

В бараке первой от выстрела проснулась жена Сашука Федотова. Ища мужа, она вбежала к дядьке Ване и, мало что поняв заголосила:

— Ой, убили... Ой, добрые люди, убили!

Тут только проснулся и Сашук. В комнату входили заспанные и наскоро одетые мужчины барака. Калабанов на своем ревучем мотоцикле помчался в город за хирургом. Дядька Ваня поднялся со стула и, все так же прижимая топор плашмя к окровавленному животу, медленно перешел к кровати и осторожно лег на спину. Он опять бранил себя: «Выдержки не хватило. Детей сиротами оставил. Дур-рак!..» К утру он умер.

Ключарев сидит у себя дома. Ночь. Он читает статьи, которые взял у Рюрика,— дело скучнейшее, утомительное... Глаза устали, и Ключарев начинает ходить по комнате взад-вперед.

— Майк, а Майк! — вдруг зовет он жену.— Может, поедем в Старый Поселок?

— Витя, как решишь, так и будет... Ты же прекрасно знаешь — я не сторонник и не противник.

Майя ответила и продолжает лежа читать книгу.

Ключарев продолжает ходить:

— Я не говорю, что здесь плохо. Здесь хорошо. Но, Майка, ведь жизнь проходит, и умирать все равно придется. И ведь не хочется в конце пожалеть, что ты чего-то не сделал...

Ключарев умолкает. Ночная коротенькая вспышка прошла, и он опять садится за стол. Он уже работает, когда жена вдруг поднимает глаза от книги:

— Витя... Ты серьезно все это?



— Где уж мне серьезно! — машет рукой Ключарев. Он и сам хотел бы знать, серьезно ли. Выкрепнет ли хоть чуть или так и останется разновидностью ностальгии, тоской по родимому месту.

Глава шестая

Ключарев идет с работы — солнышко! хорошо! — и не всегда же быть той мысли, что домашние заботы —это, мол, как пашня и что пахать надо. Сейчас это не волнует, не та струна. А вдуматься, при таком вот греющем солнце, то ведь и в домашней пахоте удовольствие есть. Оно, конечно, тяжело и напряжение, и денег все нет, и все спешишь, затыкаешь дыры, но ведь отчасти в душе уже понял, что конца этому не настанет. Так было, так будет. И в общем-то не ропщешь. И уже не фантазируешь, что вот-де вырастут дети и квартиру оплатим и что не жизнь будет, а мед.

Ключарев как раз вошел в гастроном — он придирчиво выбирает вино. Это уж как-то само собой, что к Наташе Гусаровой приходить с «хорошим» вином. И апельсины. И торт. Это, конечно, минимум, то есть вино и апельсины, но все же (и это подтвердит даже Майя) прийти к Наташе уже не стыдно. Ключарев думает о «сверх»— не купить ли шпрот?.. Денег, вообще говоря, мало. Ключарев колеблется, прохаживается по магазину, сталкивается с людьми — наконец решается. Шпроты куплены и, громыхнув банкой о банку, улеглись в портфель. Но теперь у щедрости отрастают крылья. И вот на этих, пусть небольших (весьма небольших),— крылышках щедрости Ключарев летит — влетает! — еще и в книжный. Неплохой этот книжный. Конечно, немного пустовато, но жизнь есть жизнь, и, переплатив знакомой девушке за прилавком рублик (глаза у нее большие, иконные, и, о господи, до чего голубые!), Ключарев покупает Эдгара По в серии «Литературные памятники».

— Свой экземпляр вам отдала,— вздыхает о книге продавщица с голубыми и юными глазами.

«Да ведь я тоже свои деньги отдал»,— хочется сказать Ключареву, но, ясное дело, он молчит. И еще ясней, что ответ этот, шуточка, «бон-мо» — для других, и сегодня же вечером в веселой компании Наташи Гусаровой все это будет повторено и оценено. Ключарев выходит из книжного магазина совершенно счастливым. Эдгар По в

отличном издании — это уже не подарок, а дар. И Ключарев это понимает.

Запоздалая скупость делает свой последний (из самой глубины нутра) и уже смешной наскок — хочется оставить книгу себе. Но Ключарев справляется с этим. Справляется и утешает самого себя: дарить — это ж прекрасно, это ж не комплимент говорить.

И к этому времени Ключарев уже пришел домой.

— Ну, накупил! — объявляет он громко с порога.

И добавляет, как когда-то говаривала полузабытая и мрачная тетка Маруся:

— Скупился полностью! — Что значит — потратился, а еще точнее — растратился вконец.

Из кухни в ответ несется радостный клик. В этом отношении жена Ключарева истинная женщина, с большой буквы,— покупки ее не угнетают. Когда вдруг и с размахом тратятся деньги, она это любит.

— Что? Что купил? — она кричит с кухни, она не видит.

— Да вот. Кое-что.

Майя выглядывает, смотрит. Она уже видит вино. И апельсины из темноты прихожей брызжут светом и бьют Майе в глаза. И в ее глазах, ответно и как бы отраженно, вспыхивает радость:

— Что?.. К Наташе идем?

Наташа как раз звонила Ключареву, сказала, что сегодня организуется ее день рождения, хотя число и не совсем то. Так что все ясно. Но от внезапности этого «К Наташе идем?», от избыточного счастья жены Ключарев чувствует малую толику обиды. И будто бы колеблется:

— Почему к Наташе?.. Можно к сестре Анечке.

— Нет уж. Давай к Наташе, а?

Майя подходит к нему как бы умоляя, руки у нее белые от муки и творожной массы — она не может прикоснуться, лишь заглядывает в глаза:

— Ну пожалуйста, ну не спорь... А к сестре Анечке сходим на днях. Я тебе обещаю.

Этот тон устраивает Ключарева гораздо больше. Поломавшись для вида, он соглашается идти к Наташе — более того, сообщает, что она специально звонила насчет сегодняшнего вечера.

— Ах, такой-сякой... Что ж ты меня разыгрываешь?! — И Майя бросается мыть руки.

Затем бросается к соседям. Чтоб они часов в десять заглянули к Ключаревым и уложили Дениску и Тоню спать. У Ключаревых это дело с соседями давно взаимное и давно безотказное.

И вот, уже что-то напевая — с соседями решено, все ясно, точки расставлены,— Майя начинает одеваться. Она хочет выглядеть хорошо и лучше, чем хорошо. Все-таки общество. Нечто остренькое. И уж точно, что здесь есть разница: сестра Анечка — это сестра, а Наташа Гусарова — это другое... Ключарев снисходительно смотрит, как она одевается,— женщина!

Понятно, что за Наташей жене не угнаться, да она и не очень пытается. Но пытается, это тоже понятно. Когда иной раз они с Наташей секретничают и что-то такое обсуждают шепотком, Ключарев смотрит на них, как на хорошеньких близняшек. Наташа, само собой, первая скрипка. Наташе явно доставляет удовольствие общаться, шептаться с Майей и быть при этом чуточку лучше ее — но, разумеется, Наташа никогда и ничем не подчеркивает это, знает свою слабость. Умница.

И вот Ключаревы выходят из дому (дети, оставшись одни, безмерно счастливы). Ключарев отмечает между прочим:

— К нашему возвращению что-нибудь расколотят.

Но думает он уже не о детях — вечер есть вечер. У Наташи хорошо. Посидеть. И выпить. И с Володиком Зарубиным сцепиться. Когда-то давно (года четыре назад, самое начало!) он считал Володика своим антиподом. Ну, то есть тем самым человеком, кто жить тебе вроде бы мешает и почему-то всегда отыщется и колет глаза своим существованием. И, как обычно в таких случаях, человек этот кажется нам более удачливым, бог весть каким остроумным, и легко-то ему живется, и любят его, и все такое. И разумеется, Ключарев считал себя зато более глубоким. А Володика более легковесным. Считать своего антипода существом легковесным — это даже как-то в природе всякого человека. Самозащита... В разговорах Ключарев называл его мотыльком (а Володик в свой черед Ключарева как-нибудь «дубком», а может, и без уменьшительного суффикса). Молодые были! Все прошло. Сейчас Ключарев, пожалуй, даже живее Володика в речи. Отшлифовался. Точнее сказать, друг друга отшлифовали. И теперь они с неподдельной радостью встречают друг

друга — вот Ключарев придет, и Володик, подмигивая, тут же подойдет и скажет:

— Ну что? Поспорим сегодня?.. Потешим публику. Кто будет нынче агрессивным — ты?

— Мне все равно,— засмеялся Ключарев.

— Давай сегодня ты. Играй белыми... Я в последние дни ни книжки не прочел, ни слухов не слышал.

А Наташа Гусарова, тут же, в прихожей, помогая Майе переобуться, погрозит им пальцем:

— Ну-ну! Не договаривайтесь!.. Какие, ей-богу, циники. А мы-то их, Майя, всерьез принимаем...

Но Володик уже обнимает Ключарева за плечо и ведет к выпивке — а там уже стол, голоса компании, шум,— и Володик смеется:

— Значит, ты сегодня белыми? Только ты уж не дави меня очень. Когда Анна Павловна (то есть Шерер из «Войны и мира», то есть в данном случае Наташа Гусарова) хвалит тебя за победу в споре, у меня прямо сердце кровью исходит...

— Нет уж. Буду давить, — смеется Ключарев.— У меня, может, тоже кровью исходит, когда хвалят тебя.

— Выпьем?

— Ага... Смотри, винцо-то какое приволокли. Кто это от щедрот выделил? Небось муж Наташи. Ишь, гурман!..

Придут, разумеется, Логиновы. Они не пропускают у Наташи ни вечера — занятная пара. Симбиоз мечтателя мужа и ловкачки жены. Муж трудяга и мечтатель, утоп в мистике, что-то вроде Ивана Серафимовича. А жена реалистка — дальше некуда. В ее глазах беспрестанно что-то мелькает, будто бы цифры, будто бы рубли.

К этой минуте Ключаревы (они идут к Наташе) как раз переходят дорогу — машины мчат одна за другой. Вечер тепл и благодатен. Истинно лето... А перехода пока нет. Красный глаз. И в ожидании Майя вдруг спохватывается:

— Знаешь, получается, что я Наташе ничего не подарю.

Молчаливый выразительный жест Ключарева (он потряхивает портфелем с покупками) не успокаивает Майю. Она говорит:

— Это ведь ты купил... А нужно было бы нечто. От меня лично.

— А Эдгар По?

— Наташа не поверит, что я купила.

— Ну почему же? — и Ключарев рассказывает ей тайну переплаченного рубля, нехитрую технологию книжного прилавка.

Майя смеется:

— Никто не поверит, что я сумела это проделать!

Она задумывается и быстро находит женский ход:

— Скажем, что купил ты... Но, дескать, целых два дня я заставляла и гнала тебя из дома, чтоб ты это сделал.

— Давай скажем, что гнала неделю.

— Нет-нет. Ты или шутишь, или просто не чувствуешь правдоподобия. Именно два дня. Ты запомнил?

Ее шаг становится упругим, она частит и чуть забегает вперед Ключарёва. Она замолкает, опять уносясь в какую-то облачную высь, где она мысленно общается сейчас с Наташей.

А еще Ключарев думает о том, как бы кто-нибудь тоже не купил Эдгара По. Но маловероятно. Разве что Логинов, разговор-то был, а у Логиновой память кассы. А как она бранила своего мужа за мягкость, за «комплекс неполноценности». Володик Зарубин возьми и ляпни:

— Неполнотельности?

Худощавая Логинова вспыхнула — что и говорить, неловкий выпад, у Володика оно само ляпнулось. И все примолкли. Ясно было, что словцо хлесткое, а еще яснее, что оно запоминающееся, притом надолго,— и все примолкли и как бы глядели на них с укором: «Как же ты так, Володик, можешь?.. О своих ведь. О наших. Так, брат, нельзя, нельзя».

Усольцевы. Вот кто тоже придут. Усольцев — известный антрополог. Но рта не раскроет, молчун. И очень переживает за Ключарева, когда тот спорит с «атакующим» Володиком. Усольцев не всегда понимает, что это лишь спор, словесная, в сущности, игра,— сидит он весь красный, чуть ли не оскорбленный, если Ключареву не далась контратака.

— А вот в древности... — изредка Усольцев все же заведет речь о своих любимых шумерах, речь его с запинкой, нежная. И с такой же вот запинкой, такими же секундными прерывистыми волнами на слушающих начинает

накатывать дыхание древней цивилизации. Тут тебе всё: и письменность, и черепки посуды с привкусом быта. И порядки. И личность. И яркие всплески человеческой мысли, затем перешедшие в тупые и обязательные обряды. Легенды и факты. Левые и правые. И то странное, невымученное счастье побега, которое хотел найти Гильгамеш.

— Тсс... Не мешайте!

Володик Зарубин или он, Ключарев, по инерции нет-нет и пытаются вставить граненую шутку, но даже на Володика, на общего любимца, Наташа Гусарова цыкает и (безобидно, разумеется) грозит пальцем:

— Тсс...

Часто — но не каждый раз — приходит Хоттабыч. Он Потапыч, Павел Потапыч. Хоттабычем его стала звать Наташа, за ней все остальные. Ему за пятьдесят, седой, маленький телом и желчный доктор наук. Он обычно приходит позже других, входит с улыбкой милого, но желчного старца и произносит негромко:

— А-а... Молодые якобинцы.

Это он так подсмеивается над спорящими. Он довольно умен и начитан, но умного не скажет (свойство всех желчных — он не успевает вглядеться, а желчь уже торопит его отреагировать). Не придирается он только к мужу Наташи Гусаровой, поговаривают, что он платонически в Наташу влюблен. Впрочем, чего не поговаривают.

— Вот и пришли! — радостно говорит жена Ключареву.

И верно — пришли. И Майя шепчет:

— Только, Витя... не давай языку воли. Ты же знаешь свою слабость. К тому же в последнее время ты что-то нервничаешь.

Звук открываемой двери поторапливает ее слова и глушит их.

День рождения Наташи похож на все другие вечера, не хуже и не лучше. Ну, может, чуть только поярче за счет процедуры подарков. Да еще сама Наташа хороша, как никогда.

И невольно, на порыве Ключарев шагнул к ней с поздравленьями и объятьями. И Логинов тоже.

— А ну, притушите глаза,— прикрикивает на них Наташа, подмигивая Майе.— Бессовестные, нельзя так смотреть!

— При мне можно,— смеется Майя.

Веселье за столом идет вовсю. И рюмки хороши. И вино тоже. А в самом конце вечера Ключареву дают научную работу на отзыв. Статью какого-то милого молодого человека.

— Да ты помнишь его, помнишь! — кричит через стол Наташа. — Он был у нас раза два...

— Я запоминаю только с третьего, — смеясь, упрямится Ключарев.

Наташа протягивает статью Володику, а он — через стол — Ключареву. Володик при этом сокрушается и заявляет, что не переживет. Возможно, он и в самом деле слегка завидует тому, что именно Ключарев окажет какую-то услугу, а не он, не Володик. Что делать, у каждого, кроме личных качеств, есть, так сказать, свой вес. Ключаревский «вес» как раз в том, что он кандидат наук и работает в достаточно известном и звучном НИИ.

— А я-то, идиот, с самой юности связался с этими тупицами историками. Жизнь им отдал. И вот теперь никому не нужен!— нарочито убивается Володик, веселя окружающих.

Володик вдруг заводит речь о теории Пиаже (воспитание ребенка — и потому к теме равнодушных нет), и уже через пять минут они с Ключаревым схватываются, как на ринге. Володик явно в форме. Ключарев, выложив локти на стол и слегка сбычившись, обороняется, пропуская один удар за другим. И уж слишком тема трепещуща. Ну хоть бы кто-нибудь тост предложил — передышка, а там, глядишь, случайная обмолвка Володика, а там контратака. Ключарев внимательно следит за речью и пока отступает на коротких тычковых фразах.

Приходит Хоттабыч, как всегда припозднившись. Он садится к столу, прислушивается и улыбается:

— А-а... Юные Макаренки.

А через неделю — и это тоже вечер после работы — Ключарев звонит Наташе Гусаровой и сообщает, что статья милого молодого человека оказалась никудышной.

— Как?.. Совсем плохая?

— Кое-что, Наташа, там есть. Но мизер.

Наташа обижена. Ключарев спешит сказать, что он, ясное дело, попытается еще что-нибудь в этой самой

статье выискать. Но едва ли найдет. Найти он не обещает — нет там ничего.

— Понимаешь, Витя,— голос у нее подавленный.— Я не представляю, как мы с тобой оправдаемся... Ну, вообще. Перед нашими... Неловко.

— А я не знал, что перед кем-то надо оправдываться,— говорит Ключарев и зевает, он утомлен работой, вечер.

Он собирается смягчить и сказать, что ладно, посмотрим, пораскинем мозгами. Но вот тут-то и сказалась та самая фраза:

— Не перед кем мне оправдываться, Наташа,— говорит Ключарев неожиданно для самого себя и довольно размашистым тоном.

То есть он тут же и почувствовал, что и фраза не его, во всяком случае не вполне его, и этакий тон. Но кто ж знает, как иной раз залетают в речь интонации и обороты. Это ж неведомое и, в сущности, не всегда нами управляемое.

А он еще и повторил ей:

— Не перед кем мне оправдываться,— и побыстрее закончил разговор, не желая пикироваться. Так что фраза случайной была. От усталости, видимо.

Четыре грузовика натужно вывозили грунт. А больше других бегал и суетился Сысоев, по прозвищу Хромой Кирщик.

— Дров мало! — кричал он.

И опять:

— Дров будет мало!

Его время еще не пришло. Он готовил пар — заливать и обмазывать подходы труб, которые закладывались вместе с фундаментом. Но пока от него отмахивались — куча дров, неужели мало?.. Медленно, как лоснящийся крупный зверь, прохаживался Калабанов в своей кожанке. Он поигрывал скулами или вдруг часто гонял желваки и, расставляя людей, говорил негромко, властно:

— А ты стань сюда... Не надо толпиться.

Отец Ключарева уже копал. Он влез в какую-то ячейку и ровно, моторно бросал землю — и Ключарев-мальчик помнит, как отец уже из углубления, снизу вверх, подмигнул ему.

Работали самые разные люди — нервничали, меняли

лопаты и не сразу находили место. Зинка Тюрина была в ватнике, вся со спины в глине, и в белой кокетливой косыночке: бойко швыряла землю, поминутно оглядываясь, и все поправляла свою белую косыночку. Был еще пяток солдат, выпрошенных Калабановым из недалекого гарнизона. Плюс пяток татар из татарской деревушки. А в основном работяги Поселка и их жены — это довольно большое, мощное скопище людей, и сам Калабанов тоже был уже в грязи, в глине. Шел мелкий моросящий дождь.

Был тут и Джордж Миша Аблеухов. Штамп американского инженера тех времен: расхаживал в клетчатых брюках, подобранных у ботинок, и курил сигару. Он неплохо знал по-русски (кровь бабушки) и что-то говорил Калабанову, а тот вежливо выслушивал, но махал рукой:

— Не беда.

Земля — уже с большой частотой — комьями взлетала из углублений, как бы гроздьями черного жирного салюта. «Эй-раз! Эй-два!» — начал выкрикивать дядька Ваня, скаля зубы. И тут случилось то самое «вдруг» среди суматохи и суеты: работа пошла. Это как тайна. Хаотичные и случайные взмахи превратились в ритм. Все ускорилось. Грязь. Глина. Взмахи рук. Эй-раз, эй-два!.. Косыночка Зинки Тюриной съехала на спину, и дождь тут же мелко ее припечатал. Американец (то ли кровь бабушки, то ли азарт работы) схватил лопату — он швырял и швырял землю и, если в нем осталась жилка сентиментальности, мог сейчас думать: «Это тебе, бабушка, мой долг. Это тебе. Это для твоих, бабушка, скифов».

И тут раздался крик Хромого Кирщика: «Даю огня! Даю огня!» — о Кирщике как-то забыли. А вар уже был нужен. В то примитивно-строительное время «кирщик» — это была не совсем профессия, а как бы искусство. И вот артист своего дела, колченогий и ярый, метался, прихрамывая, из стороны в сторону и кричал:

Даю огня!.. Да что же вы, дьяволы! Дров мало!

Под огромным чаном с глыбами застывшей смолы и точно поплыл дым. Затем огонь. Пламя усилилось, стало метаться, дрова прогорали в одну минуту. Спешно несли заготовленные доски и чурбаки. Дядька Ваня, хрипло кликая на помощь, в одиночку волок рассохшиеся сани, брошенные здесь еще зимой. Кто-то нес кадушку. На-



конец, как выход, прибыл грузовик со старыми шпалами. Огонь гудел. В сумраке пламя металось и приковывало глаза. И действительно (как предел работы, дошли до центра Земли, огонь, оперенье красно-яркого Люцифера) — что-то будто бы случилось со всеми. Люди столпились у огня. Грязные, не меняя одежды, но уже изменившиеся в отблесках — другие люди. Они молчали. Багровые. Яркие. И лица были в той самой вековечной торжественно-трагической окраске. Хромой Кирщик, как трудяга черт, то спрыгивал, то опять влезал и, помешивая варево, колдовал в своем чану. Все остальные стояли завороженные. И маленький Ключарев беспричинно притих, смотрел на это язычество. И не важно, что люди не пели.

И вот — второй разговор. И опять же по телефону. И друг друга в эти дни они не видели.

— Понимаешь, Наташа,— говорит Ключарев.— Это ведь даже не статья, а...

— Понимаю,— подхватывает она с иронией.— Статеечка.

— Именно так,— объясняет Ключарев.— Это могло бы сойти в качестве, например, дипломной работы. Не больше. Скажем, статья студента пятого курса.

— Да,— говорит она.— Может быть, четвертого?

— Нет,— Ключарев слышит ее скрытую злость и тут же слышит свою злость: — Нет. Пожалуй, все-таки пятого.

И он повторяет, что написать хороший отзыв он никак не может.

— Наташа, работа у него слишком слабенькая. Я могу подсказать ему, что и как доработать. Могу дать совет. Могу даже позаниматься с ним. Хотя времени у меня...— Ключарев вдруг закашливается, такого обязывающего «позаниматься» он сам боялся, и вот оно уже сказалось.

Наташа молчит.

— Чего ты молчишь? — спрашивает он, ощущение отвратительное: сейчас ему на шею посадят какого-то милого болвана, и Ключарев будет писать за него работу.— Чего ты молчишь?

— Я чувствую — ты не хочешь написать отзыв.

А это уже делает промах Наташа — ей бы ловить

минуту, хватать момент, когда Ключарев согласился «позаниматься». Но она ведь тоже нервничает, торопится в словах и... упускает мгновенье. И упрямо настаивает:

— Я чувствую — ты не хочешь написать отзыв.

— Ты чувствуешь правильно.

— Если ты не помогаешь нам, то ведь ты нам тоже не нужен.

— А-а,— говорит Ключарев.— А я-то, грешным делом, думал, что тебе интересно, когда мы с Майей в гости приходим. Я думал, что тебе это приятно. Мне казалось...— и Ключарев уже умышленно откашливается, отчасти давя и отчасти пряча волнение.— Мне казалось, что, приходя к вам, я иной раз рассказываю остроумные вещи.

— Ты преувеличивал. Ты думаешь, мы приглашали тебя и твою жену из-за твоих умненьких высказываний?

— Вот именно,— говорит Ключарев.— Надо ж было мне так ошибиться.

— В следующий раз не ошибайся.

— Наташа, тебе не кажется, что ты сейчас похожа на старушку сектантку?

— Не кажется! — говорит Наташа, ставя точку.

Гудки. И это даже как-то невероятно, что вот так разом все кончилось. Тем не менее факт — и Ключарев тоже вешает трубку.

И вот вечер. И ужин... Ключарев укладывает злополучную статью в конверт, чтоб отослать Наташе (не везти же к ней домой, это значило б начинать разговор заново),— он укладывает в конверт, заклеивает и надписывает адрес.

Майя рядом, она вертит в руках тюбик с клеем. Она спрашивает, и это она спрашивает уже в третий раз за сегодня:

— Ты правда не можешь ему написать хороший отзыв?

— Не могу. Ей-богу, полнейшая чушь.

— А что Наташа сказала?

— Тоже чушь городила.

— А я уверена, что ты, кроме всего, еще какую-то гадость ей сказал.

— Я?

И тут уж Ключарев (он поначалу не хотел этого делать) выкладывает жене разговор со всеми оттенками. «Приглашали тебя и твою жену» — и тому подобное.

Майя молчит, губы поджаты, признак глубокой обиды. Наконец она тихо произносит:

— Мы... мы не пойдем к ней больше.

— Это уж само собой. Особенно если учесть, что нас больше не пригласят.

После ужина Ключаревы купают детей. Пока раздевали — ничего. Но в ванной младое племя, чуя какое-то скрытое нервное напряжение, разгулялось и будто обезумело, визг, крик, от всплесков вода заливала пол. Жена шлепнула Тоню, а Ключарев (независимо от жены, так уж получилось) вдруг дает подзатыльник Дениске. Дети ревут от мыла, от шлепков, от непонимания. Майя быстро обтирает их, она молчит, ни звука. А Ключарев тащит их одного за другим в постель.

Обида на Наташу (женщина задела женщину) не проходит, Майя не может заснуть. Майя лежит в постели, свернувшись в комочек, отдалившаяся, чужая.

— А чему, интересно, ты радуешься? — спрашивает она, а темнота комнаты как бы подчеркивает и повторяет вопрос.

— Я вовсе не радуюсь,— отвечает Ключарев.

Ночь. И дети уже спят. Тишина.

На следующий день деликатный и мягкий Иван Серафимович входит в отдел (уже в который раз) и все тем же ровным голосом говорит:

— Виктор, вас к телефону.

Ключарев идет в кабинет начальника; вообще говоря, занимать телефон — это не порядок. Тем более что Иван Серафимович всегда тут же выходит, чтоб дать поговорить. Ключарева больше бы устроило, если б начальник раздражался, а не выходил из кабинета с этой подчеркнутой ровностью. А звонит Володик Зарубин. «И ты никак не можешь дать отзыв?» — «Нет». — «Зря ты уперся, какого черта пускать пузыри!» — «Оно как-то само получилось».— «А вот я бы дал отзыв, дурак все равно дураком останется. Я бы ему дал отзыв. Жаль, я не математик».— «Я тебе сочувствую».

А это уже звонит Логинова:

— Витя... Говорят, на тебя какой-то бзик напал?

— Да,— соглашается Ключарев.

— А ведь ты злишься. Если злишься — не прав. Хочешь расскажу, что в тебе сейчас происходит? Я разложу

тебя по полочкам. И ты сразу поймешь, какой ты есть. В тебе, Витя, есть черточка...

— Ладно, ладно,— грубо обрывает Ключарев.— Я знаю, какой я.

Ключарев сидит минуту и другую, трубка положена,— в кабинете начальника пусто и тихо, Ключарев дослушивает как бы повисший в воздухе свой голос. Знаю, какой я. Тут-то и неправда. Или не вся правда. И ясно, что оно подтачивает. То есть ведь чушь, ведь наплевать, и это уж точно, что Ключарев проживет без Наташи и ее приятелей,— ан все же задело. Подтачивает. То есть начинаешь понимать, что когда-нибудь захочется же к ним пойти. Не сейчас, это понятно, что не сейчас. А как-нибудь после...

— Ключарев!..— раздается голос Бусичкина, он просовывает голову в дверь кабинета.

— Иду, иду.

А это уже на неделе. Строгая хронология тут не существенна, но дня три или четыре прошло. Вечером. Дома. Жена Ключарева: «Я все-таки не могу поверить, не верю!» — решается позвонить Наташе Гусаровой. Сердечко Майи уже помягчело и отошло. Ключарев не вмешивается: звони... Майя начинает исподволь. Она спрашивает, не помнит ли Наташа, где, в каком месте был куплен когда-то Дениске костюмчик. «Мы с тобой вместе покупали, Наташа. Не помнишь ли, в каком это было магазине?» — «Не помню»,— и Наташа Гусарова, едва извинившись, бросает трубку, как раз когда Майя открыла рот для следующей фразы.

Ключарев смеется:

— Разрыв стал фактом, уже подтвержденным. Ссора на много лет. Повесть об Иване Ивановиче с Иваном Никифоровичем.

И еще, добавляя в голос нежности:

—Бедненькая. И как же она не вспомнила, где находится ваш любимый магазин?.. Ай-яй-яй.

— Не юродствуй.

— Бедняжки. Получается, что теперь вы обе не помните, где продают детские костюмы.

Ключарев смеется, но то, что подтачивало,— подтачивает. И как ни верти, а с каждым часом и с каждым днем становится понятнее, что чего-то своего и близкого ли-

шился. По всей воле или по чужой — не о том речь. Лишился. Привычек лишился. Новогодних и других вечеров в компании. Телефонных звонков. Тех самых, и, конечно, лучших, разговоров по телефону, когда просто треплешься с человеком давно знакомым, болтаешь, не подбирая слов,— и тем отдыхаешь. И, конечно, Володик Зарубин. И Логиновы. Все это незаметно стало частью жизни. Лишился, а, собственно, ради чего — чего ради?

То есть надо бы объяснение. Себе самому ответ. Вот именно. Он, Ключарев, не какой-то там глобальный мыслитель, ему вполне хватило бы простенького, пусть даже старомодного ответа, дескать, претерпел ради Справедливости. То есть на этом слове он бы вполне сам с собой примирился. И даже не нужно пышности и заглавной буквы. Он бы примирился на простой, на скромненькой — просто справедливости.

Да ведь и тут натяжка. Ведь и простая-то справедливость тут не стреляет. Ведь еще в том телефонном разговоре с Наташей Гусаровой среди прочего Ключарев, и он это хорошо помнит, сказал:

— Наташа,— сказал он ей,— ну что толку в моем положительном отзыве? Ну, допустим, дам я отзыв (я не дам, но допустим). А что дальше?

— А дальше пусть тебя не волнует.

— Да оно, разумеется, не волнует, а все же интересно.

Наташа усмехнулась:

— А дальше кто-то представит к публикации. А дальше опубликуем. А дальше подберем хорошего оппонента.— И она уже с открытой злостью бросила: — Что еще беспокоит твою совесть?

— И он защитит диссертацию?

— Можешь в этом не сомневаться.

Оно, конечно, не так просто, но ведь верно и вне сомнений то, что вместо Ключарева найдут кого-нибудь еще. Он тут же вспомнил двух людей, которые тоже (по профилю работы) могли бы дать отзыв,— они не так сильно дружили с Наташей, но все же дружили, бывали у нее. Вот любому из них и дадут на отзыв. И все равно однажды это дерьмо защитится хоть так, хоть этак. И при чем здесь справедливость? Пусть даже с самой маленькой буквы — в чем она? Уж ради нее, ради этой-то, которая с самой маленькой буквы, куда полезнее под-

нять пьянчугу на улице. Или отдать часть зарплаты какой-нибудь бедной старухе. Но Ключарев хорошо знает, что не поднимает он пьяных на улице, да и бедные старушки могут излишне не обольщаться. Ответа нет. Еще немного, и мысль Ключарева тонет и гаснет в слишком общей постановке старинных вопросов о Добре и Зле.

И уже другой вечер, но тоже на этой неделе... Ссора с женой. Ссора на ровном месте, из ничего. Вот, дескать, и вечер выдался свободным, а пойти некуда — и все почему? — потому что он, Ключарев, поссорился с Наташей Гусаровой. Ну хорошо, пусть не поссорился, но поладить не сумел, это ведь факт.

— Действительно,— говорит Ключарев.— Действительно, маху я дал. Не захотел дерьмо выдать за прекрасную работу.

— Не впадай в геройство,— говорит жена.— Слышишь. Ненавижу впадающих в геройство. Особенно геройствующих уже задним числом, когда им крыть нечем.

— Почему же нечем.

— Потому что это дерьмо, как ты сам сказал, все равно защитится.

— Но, может быть, существует инстинктивная справедливость. Есть я, человек по фамилии Ключарев,— и, соответственно моему инстинкту, есть моя справедливость...

— Ах, личная? твоя?.. А я не знала, что бывает личная справедливость.

— Ну, если ее и нет, то ее не хитро выдумать.

Наконец оба обессиленно замолкают. Теорией не придешь к миру. Выдохлись, но не помирились.

— Ладно,— говорит Ключарев, улыбаясь и добрея.— Ладно тебе, старушка.

И после паузы добавляет:

— А мы к сестре Анечке сходим. Не убивайся.

— Опять к сестре? Надоело! — взрывается Майя. И уж тут Ключарев на время не слушает (отключиться — как уши заткнуть), потому что в эту минуту Майя говорит о его, Ключарева, сестре бог знает что. Бранится и наговаривает. Женская нелогичность, в сущности, и есть такие вот вспышки. В раскате эмоции Майя выдает фразу за фразой, прямо чеканка, блистательные перлы озлобленности (разумеется, о сестре Анечке она всего этого

не думает и, напомни ей завтра,— удивится). Раньше Ключарев не умел такое выслушивать. Не понимал, даже спорил. Но теперь — дудки! Дыханье глубины. Многолетний опыт брака. Заслуженный опыт. При случае передать молодым... Но иронию он, понятно, сдерживает, он выжидает.

— Ладно тебе,— говорит Ключарев и мягко, и тонко, и вовремя.— Ладно, старушка.

У Майи слезы, разрядка. И понятное ж дело: пашет и пашет — и дома, и на работе — и конечно же хочется временами куда-то пойти. Самой показаться, других посмотреть. Другие люди, другие глаза и другие слова — оно ведь ей как зеркало, женщина как-никак. Успокоившись, Майя говорит, что, разумеется, Ключарев поступил правильно и честно и что никогда больше они, Ключаревы, в тот дом ни ногой. Даже если их просить станут — ни за что.

— Ни за что!.. Ты понял?

Она остывает и уже расслабляется:

— А я-то думала, что мы с ней очень дружны. Я думала, что на нашей-то женской дружбе все и держится.

— А я,— улыбается Ключарев,— был уверен, что все держится на моем личном обаянии.

— Ну ты-то преувеличивал — это понятно. А вот я не ожидала.

Ключарев закуривает, тут уж надо промолчать, преувеличивал он или не преувеличивал.

— Знаешь,— говорит Майя,— для меня все как-то разом обрисовалось. Все по-другому увиделось.

— Я тоже об этом думаю... Это у них как клан. Как не писаные правила клана.

Но жена не об этом — она о другом:

— Нет. Я о Наташе... Какая она вдруг стала вся понятная.

— Деловая женщина.

— Нет. Какая она в себе уверенная.

Домашняя тишь и плюс условный рефлекс вечернего чая делают речь Ключаревых взаимопонятной и взаимоуступчивой. Жена рассказывает о своей работе, прошел отчет. А Ключарев вспоминает, что надо закончить статью Рюрика. Он сейчас же, в ночь, ее закончит, а Майя пусть-ка сделает ему кофе.

— По-турецки кофе,— добавляет он с этаким остаточным смешком (предварительное поджаривание, рецепт На-

таши Гусаровой,— даже в житейских мелочах Наташа стала частью их жизни). Ключарев зевает. Затем идет к своему столу, а запах кофе с кухни уже саднит и пьянит ему ноздри.

А это уже поздний вечер — Ключарев отрывается от статьи. Сидит. И мысль о том, что вот ведь он, Ключарев, один остался. Без друзей. Без приятелей даже. А ведь люди, и это понятно, группой живут. Помогают друг другу. Пьют и то вместе. Развлекаются, или дело делают, или, скажем, просто языками чешут. Один защитил диссертацию, другой с женой развелся — и все равно это с кем-то обговаривается. И главное, конечно, помощь друг другу, жизнь не мед.

Так и есть. Этакое взаимное существование. То есть, разумеется, никто и никому клятв не дает и договором не скрепляет, но, видимо, как-то само собой понималось, что если он, Ключарев, приходит к Наташе Гусаровой в дом,— «дружим домами, сейчас только так, мой милый!» — то однажды ему придется что-то такое для нее или для них сделать. И не просто любезность, не Эдгара По подарить. А нечто побольше. Н-да. Группа Наташи Гусаровой. Группочки. И не обязательно они со знаком минус или со знаком плюс. Группочки как люди — разные. У Ивана Серафимовича его «стариканы», человек пять или шесть. Он без «стариканов» не может и не умеет. Так и живут в большом городе.

У Игорька Ясенева своя группа. Смешно получилось. Встретил он, Ключарев, Игоря Ясенева. Разговорились и покурили. То да се. «Я,— говорит Игорек Ясенев,— в гости иду. К знакомым».— «Сейчас идешь?» — «Нет, вечером. Интересные люди. Мы с женой частенько к ним ходим»,— и начал он, Игорь Ясенев, рассказывать. А Ключарев слушал. И получалось: люди действительно интересные. И работы у них любопытные. И биографии с вехами. И как-то даже на слово верится, что там интересно. И он, Ключарев, не очень стал вдумываться, а может, жалобы жены вспомнил, а может, просто поплыл по разговору,— бывает.

— Сводил бы ты меня к ним,— сказал вдруг Ключарев. Сказал, оживляясь и про себя соображая, что ведь и без Наташи Гусаровой обойтись можно. Не клином же свет.

Сказал и видит, что потускнел как-то Игорь Ясенев. «Да можно,— говорит.— Вообще-то можно». И мнется. И

глаза отводит. И тут Ключарев сам сменил тему разговора. Не навязываться же. Что ж ты мне это самое «можно» цедишь, ведь ты идешь к ним сегодня. Ведь вечером. Ведь сам только что сказал об этом... И, разойдясь с Игорем, Ключарев все думал: чего это он постеснялся меня пригласить? Застыдился? Да уж не на столько я глупее тех интересных людей. И уж точно, что первый-то вечер я просидел бы у них мирно и чинно. Это уж само собой. Может, что-то скромненько и сказал бы, но ведь скромненько.

Так оно и было. Игорек свое право входа в группу оберегал. Дорожил им, правом-то. Потому и не поспешил пригласить. Может быть, и можно было привести в тот вечер Ключаревых, но нужно ли? От добра добра не ищут. А ему, Игорьку, и без Ключаревых там, видимо, хорошо... И тут Ключарев — он уже встал и ходит по комнате — как бы обрывает мысль и решает, что наплевать и что он проживет без этих группок. Не умрет. Они, видите ли, не хотят его, не желают. Ах ты, господи. Прямо-таки зачахнет он без них. И это он уже чувствует себя личностью, индивидуальностью, которая выживет сама по себе. Шаг Ключарева становится твердым. А в голове под знакомый шум проносящихся ночных автобусов оседает новое, приобретенное в жизни понятие. Уже ясное, прозрачное и звонкое, как упавшая капля воды:

— Клан.

Слово неточное, «группа» лучше. Да и не в названии дело,— может, его еще пока не существует, не придумали. И эта самая как бы расширенная семья, группа, клан, объединение друзей, или как там ни назови,— оно ж в общем-то естественное дело. Жили же когда-то люди родами и племенами. Были охотники. Купцы. Или рыбаки. Или, скажем, жили деревней, хутором, поселком. И в большом городе, в супербольшом, в огромном, потеряв уже прежний смысл и приобретя новые оттенки, конструкция не пропала и не погибла. Она сохранилась, она живуча и, видно, нужна людям. Да и что ж удивительного в том, что в огромном городе, оказывается, существуют свои хуторки, деревни и поселки. Человек знает, что делает.

В этой общей мысли Ключарев понемногу растворяет свою личную досаду и боль. Жаль только, что один остался. Не в струе... Ну да ладно. Поживем. Посмотрим.

Глава седьмая

Ключарев приходит на работу, а там — событие. В верхах наконец приняли решение. Отделу дали такую же трудоемкую чернорабочую тему — фактически продолжение прежней темы, как и предполагал Ключарев в свое время.

— Вот и дождались! — И вокруг слышатся соответствующие разговоры.

Даже Галя Южина растеряна, не жует свои бутерброды, на лице тень. Необходимость черной работы в науке не нуждается в особой защите. Дело нужное, и все понятно. Все ясно. Но обидно. И чувствуется витающая в воздухе коллективная грусть. Состояние небольших похорон. Иллюзии ведь тоже хоронят. Во всяком случае, веселиться нечего — это ясно.

— Н-да, брат,— вздыхает Бусичкин.— Такие-то кораблики!

Бусичкин даже обнимает за плечо Ключарева. Вздыхает. Ключарев соглашается: кораблики действительно скромные, не океанские.

— Зайди к Ивану,— говорит Бусичкин.— Я уже был у него. Он в ужасном состоянии...

Ключарев заходит к начотдела. Он еще на пороге, а Иван Серафимович уже машет рукой: не надо. Только без иронии. Без соболезнований, но и без твоей иронии, ради бога... И вот по этому жесту начальника (и еще он бледен, прозрачно бледен — это будет держаться на лице весь день) Ключарев понимает, как глубоко тот задет и уязвлен. Точнее: как глубоко и сильно он надеялся. Ключареву тоже не безразлично. Но плакать, пусть даже духовными слезами, он не будет.

— В следующий раз, Иван Серафимович, повезет нам, а не другим...

Начальник горько усмехается:

— Тема на шесть лет.

— И что же?

— Мне не тридцать. Мне пятьдесят два.

Значит, к концу темы ему будет пятьдесят восемь, вот в чем дело.

— В шестьдесят люди еще, бывает, женятся,— говорит Ключарев.

— Ну хватит, ну перестань же!

Он всплеснул рукой, как женщина: он слаб и размаг-

ничен ударом. И ясно, что Ивану Серафимовичу больно не от самого удара, перестраиваться — вот что больно. Больно мечтать заново о том, что, дескать, через шесть лет появится новая тема, золотая жила, и только тогда уж я сумею во весь голос, во всю силу... и так далее. Тут-то и беда мечтателей, думает Ключарев. После каждого жизненного щелчка нужно перестраиваться и заново создавать условия для мечтаний — Ключарев любит эту породу людей, это прекрасные люди, быть может, лучшие, но... И ясно, что его привело к Данте. Жизнь шлепнула? — значит, новый круг. Еще шлепнула — еще круг. Объясненное, оно не так горько глотается.

— Говорят, что в каждой беде есть свое открытие,— продолжает Ключарев вслух, он выдумывает копеечные афоризмы, утешает Ивана Серафимовича — а мысль идет и по своим путям. (Командировка! — вот что должно утешить его, Ключарева. А что? Все равно кого-то нужно посылать в связи с новой темой. Как раз в ту сторону. А он, Ключарев, заодно сможет заехать в Старый Поселок.)

— Иван Серафимович.

— Да, Виктор.

— У меня ведь к вам разговор есть. Конкретный.

Ключарев просится в командировку и получает согласие. (И понятно, что с этой минуты ему хочется быть проще, человечнее, чище.)

Он дома. Он говорит жене, что завтра уедет и что там до Старого Поселка — рукой подать. Ну пусть не рукой. Но ведь близко. И если не сейчас, когда он еще сможет туда съездить?..

Жена согласно кивает: тебе видней.

— Ну что ж.— И вдруг с характерным женским «проламыванием» сквозь все и всех она добавляет:— Ты ведь давно чувствовал, что туда поедешь.

— Я?

— Конечно. Ты знал, что поедешь... Потому ты и психовал последнее время. У тебя с языка не сходило.

Ключарев улыбается:

— Любопытно. В этом что-то есть!

И тут же — первая ласточка уже осознанного волнения — он не знает, что делать в такую минуту, куда деть руки.

— Что ли, позвонить?

Живут и стареют родители Ключарева, в сущности, недалеко. С тех самых пор, как Ключарев и его сестра Анечка поступили в институты, родители перебрались из Старого Поселка, чтоб жить поближе к детям, поближе к Москве. Ключарев заказывает разговор — звонит — говорит, что дома у него все хорошо и у Ани хорошо и что вот командировка и так получилось, что он, Ключарев, быть может, заглянет в Поселок. Да, там недалеко... Ключарев нервничает и лишь в самом конце догадывается спросить об их здоровье. Как ты, мама, и как, папа, ты?

Отец не отвечает, он о чем-то шепчется с матерью, а затем, откашлявшись, говорит:

— Понимаешь, сын... Заглянуть бы тебе туда надо. А мы с матерью старые и уже не сможем.

— Не понимаю.

— Конечно, у тебя есть много всяких дел, а я, сын, это хорошо знаю. Но он все-таки твой родной брат...

Ключарев едва улавливает смысл: отец просит во время командировки заглянуть в Поселок и поправить могилку Юрочки, умершего двадцать пять лет назад. Отец говорит с какой-то боязнью напороться на отказ. Текут и скользят витиевато-осторожные фразы:

— ...Как-никак твой родной брат. И к тому же уважение к умершему. И ты не подумай, что тут какая-то религиозность. Не в боге дело. И современная мораль тоже за это. Я это точно знаю, читал.

Берет трубку мать. Голос тоненький, а ее всегдашняя, пахнущая травой и мятой скороговорка сливается в единый распев:

— Сынок, мы уж, видно, никогда не выберемся, съезди ты, кто же еще — двадцать пять лет исполняется — съезди, две рябинки над могилой — написали, что одной уже нет,— не следит никто...

Мать спешит — она, как всегда, побаивается телефона, то есть того, что разговор вдруг прервут.

И Ключарев ей — тихо и успокаивающе:

— Да, мама... Да, мама... Конечно, мама...

Он говорит жене о просьбе родителей, о дороге и о том, что надо уже сегодня собраться.

— Не увидишь ты Поселка,— заключает он.— А жаль. А давай на будущее лето вместе поедем?

Идея Ключареву уже нравится. Он закуривает, обволакивается дымом. Майя ставит чайник. «Спите, а ну спите. Не переговаривайтесь!» — заглядывает она к детям... Ключарев сидит, упершись локтями в стол, дымит и неторопливо выкладывает хорошие, набегающие к вечеру мысли:

— А почему бы нам не поехать? Деньги?.. Возьму лишнюю статейку у Рюрика — вот дорога уже оплачена!

Он счастливо вздыхает:

— Сейчас я как бы на разведку поеду... А уж будущим летом — все вместе катанем.

— Он тебе письмо прислал.

— Рюрик?

— Да.

— Непохоже на него. Наверное, не дозвонился... Слушай. И поедем мы — я, ты, дети — все вместе и на весь отпуск, а?

Майя уже тоже увлеклась:

— Мне кажется, я ничему не удивлюсь, когда туда приеду. Как в знакомое место. Ты столько рассказывал, и сестра Анечка рассказывала — я уже вполне представляю...

— Поселок представляешь?

— Ну да.

— Э, нет... Нет, друг мой. Поселок — это надо видеть. Есть, например, там перелесок, а за ним Лысая горка. О, господи!

Ключарев замолкает от невозможности высказать. Он переполнен. Он только покачивает головой... И вот так, покачивая головой и улыбаясь, идет с кухни — подходит к своему столу и вскрывает письмо. «Уважаемый тов. Ключарев. Ввиду специфики работы... та-та-та-та... и в силу ряда обстоятельств в нашем институте... та-та-та-та... мы вынуждены в дальнейшем отказаться от Ваших услуг внештатного работника. С уважением. Рюриков»... А, черт!

— Что такое?— спрашивает Майя оттуда, с кухни.

— Да ничего. Но маленький денежный ручеек кончился.

Майя подходит, пробегает глазами письмо:

— Плохо... Я ведь привыкла на ручеек рассчитывать.

Ключарев минуту молчит — думает.

— Я чувствовала, что что-то неладное. Видимо, Рюрик тебе звонил. А когда не дозвонился, решил написать...

— Не звонил он. Письмом отказать удобнее.

Майя сникла — так всегда, если неприятность случается на ночь глядя. Она вертит в руках письмо. Ключарев же решает, что наплевать. И слава богу, унижения кончились. Будет он еще расстраиваться в такие минуты!..

— И поедем мы туда все вместе. Главное, я хочу, чтоб дети — понимаешь! — чтоб дети увидели.

Он продолжает говорить и достает чемодан — щелчок замка, первый звук дороги.

— Ты все-таки позвони Рюрику,— говорит Майя тихо.

— Ладно. (И не подумаю.)

— Ты ему как бы между прочим. Ведь не может быть, чтоб он отказал тебе без объяснения...

А Ключарев опять о своем, о Поселке — и начинается как бы дуэт. А руки укладывают в чемодан необходимое (руки Ключарева) или вынимают из шкафа, молчаливо предлагая: «А это возьмешь?» (руки жены)... Неужели они не помнят, как рабски, буквально за копейки, работал ты для них ночами?.. Ничего они, Майя, не помнят. Это мы помним, а они не помнят... Руки (жены) хлопочут, из отобранной горы тряпок руки выбирают самое необходимое и укладывают на дно в нужном порядке, а затем руки (это уже руки Ключарева) застегивают чемоданчик, сдавливая его так, что немеют пальцы.

Наконец Рюрик забыт. Проводы — вещь святая. И вот те самые тихие минуты, когда все готово и собрано, а стука колес еще нет. И Ключареву опять хочется быть лучше и проще.

— Жена,— говорит Ключарев нарочито торжественно, как на сцене,— я хочу помыться перед дорогой!

— Слушаюсь, полковник.

— Жена.

— Что такое?

— Люби мужа. Помни его. Не дерзи.

Майя в конце концов вспылила:

— Болтун! Ей-богу, надоело.

А Ключареву не надоело ничуть. Он балагурит, открывает кран и наполняет ванну. Горячо. Пар. Он обожает этот водяной жар и блаженную расслабленность тела. И когда уже вылезает, раскрасневшийся и чистый, басит:

— Ах, хорошо!

Он босо шлепает к постели — перед этим открывает окна настежь,— лежит не укрываясь, дышит.

— И ведь не простынет! — говорит Майя с оставшейся укоризной в голосе.

И верно: он не простынет. Это похоже на некий внутренний механизм (последняя ниточка Старого Поселка, добротность ген и естественного отбора), и этот механизм сам собой через полчаса-час как бы нашептывает Ключареву на ухо — даже если Ключарев спит, пьян, болен, в любом случае,— он вдруг нашептывает: «Хватит. А вот теперь встань и прикрой окна»,— и тут Ключарев послушно выполняет, даже если он спит, пьян или болен. Но пока сигнала нет, можно лежать и лежать, хотя сегодня и холодно, и ветер.

— И надо ж быть таким здоровым! — продолжает Майя, оглядывая его не без зависти.

И рассуждает уже деловито:

— В нашей суматошной московской жизни для тебя это как подарок...

Ключарев с наслаждением вдыхает холодный воздух и говорит любимое словцо:

— Дар.

На минуту он грустнеет, думая о том, чей это дар. И откуда он. Последняя ниточка.

Ночь. Ключарев пока не спит. Он лежит, и вокруг темнота комнаты, и уже подступает сон. (Завтра дорога!) Хочется закурить, затянуться,— не надо бы, ночь уже... И вдруг думается. О письме Рюрика. Ключарев еще тогда понял суть письма, но жене не сказал: лишняя обида. То дерьмо, которому Ключарев не написал отзыв, вроде бы в стороне, но — за него просила Наташа, а к Наташе вхож некто Шикин. Свой человек. Свой, а не просто так. А Шикин и Рюрик приятели (как можно быть приятелем Рюрику — да, говорит, дружу с мумией, а что?)... Так что круг легко и понятно замкнулся. Свои люди.

Или — и тоже ненавязчиво, спокойно — представляется вся эта компания, застолье и шум, и руки всех тянутся к тем замечательным фужерам с поразительно тонкими ножками. О Ключареве они уже поговорили. Мельком, конечно. И вот Наташа (и это она уже острит, пошучивает) бросает фразу: «Ключарев не помог нам с отзывом — зато поможет в другом!» В переводе с юмора это означает, что внештатную работу заберут у Ключарева и передадут кому-то. Может быть, тому же дерьму, который без отзыва, а может, и другому или третьему — не суть важно. Важно, что деньги будут там, среди них, в их группе. Были у них, у них и останутся.

— Как это Ключарев поможет? Я не понял,— скажет кто-нибудь среди застолья.

И этому недотепе, лишенному чувства юмора, пояснят, что у Ключарева забирается его побочный заработок, и тем самым (вот она, тонкость мысли!) Ключарев будет как бы отдавать им свои деньги. А это уже можно считать помощью. В шуточном, разумеется, смысле. В утонченно-шуточном.

— Не помог в одном — поможет в другом! — повторяет Володик Зарубин слова Наташи в неописуемом восторге: сшибка мыслей, а ведь вершиной сшибки всегда истинное «бон-мо»».

И лишь Хоттабыч, щуря умные глаза, вздохнет:

— Ну и язычок у тебя, Наташа.

И уже в последний раз они поговорят о том, каким нехорошим оказался этот Ключарев. Работа, мол, да, не блестящая. Но, господи, сколько ж делается не блестящих диссертаций, и уж он-то, Ключарев, об этом знал... Ладно, мол. Хватит о нем.

И вся компания представляется просто, ясно, понятно. И нет озлобления против них. Ночь. И завтра ехать. И бог с ними. Пройденное. Уже пройденное... И в общем, это даже занятно, что их кольнуло. Задело, значит.

Завтра — дорога. Ключарев засыпает, и даже во сне счастливая улыбка нет-нет и ползет по его лицу.

С утра совещание. Начальник подтянут, нарочито бодр.

Он выступает:

— Мы было расслабились. Хватит! Начинается новый

цикл работы... Тема дается нам на шесть лет, прошу всех иметь это в виду...

И, бросив настороженный взгляд на Ключарева,— ему ехать:

— Новая документация подступит в ближайшие дни.

Один за другим вспыхивают бледные комнатные огоньки — все закуривают.

В перерыве небольшой разговор. К Ключареву подходит Бусичкин:

— Послушай. Чего Иван (то есть Иван Серафимович) на тебя дуется?

— Он не хотел, чтобы в командировку ехал я.

— Почему?

Ключарев поясняет:

— Иван — чудак. Я за эти годы так много наговорил всем о Старом Поселке, что он всерьез вообразил, что я могу навсегда там остаться.

Оба смеются... И вдруг удивительное. Бусичкин что-то мнется, а затем, пряча глаза, произносит:

— Ты... ты в самом деле. Не задерживайся там долго.

— Да перестань, вы все с ума сошли,— говорит Ключарев.— Перестань, ей-богу!

И последнее. С глазу на глаз с начальником. После совещания. Иван Серафимович объясняет Ключареву, что в командировке надо будет держаться строже. Дело придется иметь с Назаровым. И тут важно не растаять, взять нужный тон — ведь оттенок отношений наложится на все наши шесть лет...

— Назаров — инженер интересный. Но льстив... И хитер, как бес.

— Я слышал о нем,— говорит Ключарев.

— Так что смотри. Не дай им диктовать, как и в какой последовательности нам работать...

— Понял.

Иван Серафимович трогает пальцами свой новый галстук.

— Нравится? — спрашивает он, смеясь.

— Заметный.

Они оба смеются.

— От дублирующего второго отдела,— говорит Иван Серафимович,— поедет Бубин-Ярцев. Знаешь его?

— Нет... А как он?

— Новичок. Но, говорят, толковый... Вот вдвоем и поедете. Он сейчас придет — обещал быть с минуты на минуту.

И верно: стук в дверь, входит Бубин-Ярцев. Ключарев вспоминает, что все-таки знает его — как-то виделись в столовой, а как-то даже поговорили, вроде бы о шахматах. Он одних лет с Ключаревым, а зовут его вроде бы Алексеем, так и есть: Алешей.

— Едем, да? — спрашивает Бубин-Ярцев весело и энергично.

Сияние лица выдает его неопытность. Иван Серафимович делает Ключареву незаметный знак: дескать, видишь и, дескать, волей-неволей возьмешь на себя роль опытного командировочного волка. Ключарев кивает: хорошо... А Иван Серафимович продолжает:

— Назаров и другие — они, конечно, наши заказчики. Но заказчики — это еще не хозяева. Так что, ребята, советую вам быть начеку...

Они в поезде. Поигрывая с Бубиным-Ярцевым в шахматы или просто посматривая в вагонное окно, Ключарев нет-нет и прикидывает дни. Ага. Три дня подряд там работа, а дальше суббота и воскресенье — и, значит, он свободен. Что ж: в пятницу вечером он уже может оттуда смотаться. Еще полдня пути. В субботу он уже будет в Поселке. Н-да. Всего на один день. Не густо.

Вот именно. Не густо. Он собирался — ну, пусть не собирался, а хотел, мечтал, не в слове дело,— он хотел бы пожить там, не считая времени. Ну, пять, ну, шесть дней, главное, чтоб не считая, пока оно само не кончится, пока чувство не исчерпает себя само, незаметно и неторопливо. Но это ж ясно, что не бывает так, как хочешь. Значит, один день. Да боже ты мой. Да ведь и за час один благодарен будешь.

В пятницу, когда все они — человек десять — вышли из светлого дюралевого помещения подышать воздухом, Ключарев говорит. Нет, сначала он смотрит на ровную степь с ковылем — видит фигурку суслика, который у своей норки делает стойку,— и вот, уставив взгляд на эту

неподвижную фигурку-колышек, Ключарев говорит, что он собирается отлучиться на время. Да, на субботу и воскресенье.

— Хочешь кое-куда съездить?

— Да... Это недалеко.

— Ну ты подумай! — всплескивает руками Назаров.— Вот что значит командировочный волк. Уже знакомых завел!.. И представьте себе — куда этот Ключарев ни приедет, хоть на Камчатку, хоть в голую степь, ему тотчас надо кое-куда съездить!

Все смеются. Сказанное не обязано быть ни правдивым, ни даже правдоподобным — это шутка, разрядка. Так всеми и понимается.

— А я ведь собирался тебя на охоту пригласить в эти дни. На уток,— продолжает Назаров; выглянуло солнце, и Назаров тоже светится; в его голосе и размашистость добродушного хозяина, и сознание своей значительности.— А то постреляли бы, а? В Москве ведь такого не будет.

Он прибыл туда вечером.

Городок — тот, что был на другой стороне реки,— стал уже немаленьким городом. Разросся. Подъезжая, Ключарев видел огни и оценил. Тут же на станции Ключарев заказал разговор.

— Я уже в городе, батя. Я на вокзале.

— В каком городе?

Отец, видимо, со сна. Заспанный голос. И понимает с трудом.

— В нашем. В нашем городе... Мне перейти реку, и я уже в Старом Поселке.

— Из Москвы приехал?

— Ну, а откуда же?.. Конечно, из Москвы. Ты что, батя, спал?

— Это хорошо.

— Что хорошо? — раздражается Ключарев.

— Приехал, это хорошо. И давно ты там, сынок?

— Батя, дай-ка мне маму.

Берет трубку мать, и теперь все проще и быстрее.

— Я-то что просила, сделал, сынок?

— Еще нет. Я только с поезда... Ты подскажи мне. Я помню и, ясное дело, найду. Но все-таки подскажи.

— От третьего барака тропкой кверху,— быстро заговорила, заторопилась она.

— Это я помню.

— И дубок помнишь?.. Ну, ты его сразу найдешь. Там дядька Ваня лежит. От него ровно десять шагов до Юрочки.

— Так...

— А мерить эти десять шагов — прямо как будто вдоль реки идти.

— Так...

— И еще тебе, сынок, примета. Если с Юрочкиной могилки смотреть, дуб тот стоит разворотом... Ну, как будто он раскрылся — веток с твоей стороны совсем мало.

Вновь берет трубку отец. Он уже не сонный, и они спокойно говорят — отец жалуется на здоровье.

Ключарев платит за дополнительные минуты разговора. В вокзальном буфетике он пьет кофе — руки непривычно свободны, ни чемодана, ни портфеля, легко и освобожденно. Он еще выкуривает сигарету у вокзального входа — скромный ритуал, теперь можно идти.

Как скоро здесь темнеет!

Он переходит реку и уже с моста — ни огонька — чувствует настораживающую пустоту. Ноги ведут дальше сами собой, и все оказывается так просто, что проще и не бывает. Старый Поселок мертв. Пуст. Ни бараков, ни котельной, а дорожки превратились в тропки.

Он не заметил, как сошел с тропы,— как скоро темнеет,— он идет по грудь в бурьяне, долго идет и выходит к остаткам двух бараков. Бараки, как искрошившиеся и сработавшиеся зубы, — остатки стен, развалины. Или совсем ничего. Остатки остатков... А это кто? Ключарев замечает в полутьме какого-то старика: тот собирает возле развалин доски, сидя на корточках.

— Нет,— хрипло отвечает ему старик, даже головы не повернув.— Никто не живет.

— Переехали?

— Ага. Переехали. Или поумирали.

Ключарев растерянно усмехается, в мыслях непонимание и несоответствие минуте — вот ведь приехал. В горле что-то схватило и держит. Ком в горле. И Ключарев говорит с ненужным, нервным смешком:

— А хоть кладбище за горкой осталось?

— Кладбище осталось. Куда оно денется.

— Всякое бывает...

— Осталось, осталось! — угрюмо подтверждает старик, показывая, что уже поговорили, хватит.

Ключарев шагает, так себе, без направления — и все улыбается застывшей улыбкой, и ясно, что как-нибудь и боль будет, и печаль тоже, а сейчас нет — пустота. Вот его, Ключарева, барак. Предположительно, конечно. Тут уже вовсе развалины: тропка, бурьян и темные поросшие камни. А глянуть назад, перед глазами в обратном порядке — камни, бурьян и еле видная тропа. Ключарев бродит и каждую минуту ловит себя на том, что никак не может совместиться с этим вымершим местом.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Семенович
Маканин

ОДИН И ОДНА

Повести

Редактор **В. Козаченко**
Художник **А. Антонов**
Художественный редактор **А. Дианов**
Технический редактор **В. Тушева**
Корректоры **В. Лыкова, И. Попова**

ИБ № 4763

Сдано в набор 06.07.87. Подписано к печати 25.02.88 А 10026. Формат 84Х108/32. Гарнитура академ. Печать офсетная. Бумага офсет. № 2. Усл. п. л. 16,8. Усл. кр.-от. 52,08. Уч.-изд. л. 17,32. Тираж 200 000 экз. Заказ 550. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Маканин В. С.

М15 Один и одна: Повести /Худож. А. Антонов.— М.: Современник, 1988.— 317 с.: ил.— (Новинки «Современника»).

В сборник известного московского прозаика Владимира Маканина вошли две повести.

Геннадий Павлович и Нинель Николаевна («Один и одна») —двое пожилых людей. Неудовлетворенные своей сегодняшней жизнью. они постоянно вспоминают счастливые дни прошлого, когда были молоды, талантливы, незаурядны.

Яркой, колоритной жизни уральского поселка посвящена «Повесть о старом поселке». Автор прослеживает нравственные перемены Ключарева. родившегося и выросшего на Урале. но сейчас живущего в Москве.

Владимир Маканин — автор книг «Прямая линия», «Портрет и вокруг», «Голоса», «Предтеча», которые переведены на многие языки мира.

М $\frac{4702010200—030}{М106(03)—88}$ 70—88 **ББК 84Р7**

ISBN—5—270—00061—Х